

Иван Иванович
СКВОРЦОВ-СТЕПАНОВ

СКОНЧАЛСЯ 8 ОКТЯБРЯ 1928 г.

Н О В Ы Й

М И Р

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ

Ж У Р Н А Л

К Н И Г А

Д Е С Я Т А Я

О К Т Я Б Р Ъ

М О С К В А
1 . 9 . 2 . 8

СОДЕРЖАНИЕ

| | <i>Стр.</i> |
|---|-------------|
| 1. Артем ВЕСЕЛЫЙ. — Жар-птица, <i>из романа «Россия, кровью умытая»</i> | 5 |
| 2. Леонид ЗАВАДОВСКИЙ.—Фантастические мечты, <i>рассказ</i> | 43 |
| 3. В. САЯНОВ.—О литературном герое, <i>стихотворение</i> | 76 |
| 4. Мих. ГЕРАСИМОВ.—На покосе, <i>стихотворение</i> | 78 |
| 5. Б. ЛИПАТОВ.—Письмо в Америку, <i>рассказ</i> | 79 |
| 6. Евсей ЭРКИН. — Поэт, <i>стихотворение</i> | 96 |
| 7. Вл. ЛИДИН.—Ледники, <i>рассказ</i> | 97 |
| 8. Н. ОГНЕВ.—Дневник Кости Рябцева, <i>повесть</i> , продолжение. | 104 |
| 9. Н. УШАКОВ.—Легкая погода хороша, <i>стихотворение</i> | 132 |
| 10. П. ДРУЖИНИН.—Ветер, <i>стихотворение</i> | 133 |
| | |
| 11. А. ВОРОНСКИЙ.—За живой и мертвой водой, продолжение. | 134 |
| 12. OUTSIDER.—Пакт Келлога | 166 |
| 13. Н. ВОЛКОВ.—30 лет Художественного театра. | 192 |
| 14. А. ВИШНЕВСКИЙ.—Как начинался МХАТ, <i>из воспоминаний</i> | 200 |
| | |
| ДОМА И ЗА ГРАНИЦЕЙ | |
| 15. Д. ГОРБОВ.—Леонид Леонов. | 212 |
| 16. И. МАШБИЦ-ВЕРОВ. Михаил Шолохов. | 225 |
| 17. Я. ТУГЕНДХОЛЬД.—Парижская школа. | 236 |
| 18. Я. ФРИД.—Романизированные биографии. | 249 |
| 19. Фрол СКОБЕЕВ.—Литературный ларек | 251 |
| 20. Г. САНДОМИРСКИЙ.—Неугомонный Радич. | 254 |

КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

| | |
|--|-----|
| Б. ГОРЕВ.—Ник. Морозов «Как я стал революционером» | 266 |
| П. КИТАЙГОРОДСКИЙ.—А. Н. Гуковский «Французская интер- венция на юге России». | 267 |
| А. ДИВИЛЬКОВСКИЙ.—А. Н. Вознесенский «Москва в 1917 г.» | 267 |
| Р. КОВНАТОР.—З. Боярская «Женщина под гнетом капитала». | 268 |
| Д. ГОРБОВ.—«Печать и Революция», № 6 за 1928 г. | 269 |
| Б. АНИБАЛ.—Н. Баршев «Большие Пузырьки» | 270 |
| А. ШАФИР.—Д. Стонов «Люди и вещи». | 271 |
| В. ГОЛЬЦЕВ.—Л. Пасынков «Атаман Серьга». | 272 |
| М. РУДЕРМАН.—Дм. Четвериков «Заиграй овражки». | 272 |

Жар-птица

(Из романа „Россия, кровью умытая“)

АРТЕМ ВЕСЕЛЫЙ

В России революция, вся - то Расеюшка
огнем да кровью подплыла.

Офицер Корниловского полка Николай Кулагин вторую неделю лежал, точно прикованный к больничному матрацу, сквозь дыры которого сыпалась соломенная труха. Под головой — вещевой мешок с наганом и бельем, под боком — винтовка, к которой он успел так привыкнуть, что мигом отыскивал ее в темноте среди десятка чужих. Укрыт он был тяжелой, волглой еще после фронта кавалерийской шинелью. Греться приходилось кипятком и — привитая армией иллюзия — куревом.

Грязная, плохо отапливаемая палата была переполнена ранеными и обмороженными в последних боях за Новочеркасском.

Койка Николая помещалась около окна. Из щелей непромазанных рам тянуло гнилой февральской сыростью. Приподнявшись на локтях, он подолгу смотрел на улицу. Там, размахивая связками книг, бежали ученики; плелись сутулые извозчики; иногда, сотрясая стены домов, прокатывал полный вооруженных людей грузовик. Утомившись глядеть в окно, Николай откидывался на сбитую в блин соломенную подушку и в полузабытье закрывал глаза. Вялые, в черных облупинах уши его обвисали, как тряпки, а обмороженные, мокнувшие под бинтом, ноги воняли тошнотной вонью. Ломота в костях не давала покоя ни днем, ни ночью.

Ростов доплясывал последние пляски. В городской думе кадеты, демократы и казацьи генералы договаривали громовые речи. Вечерние улицы кишели хохочущими офицерами, беззаботными чистяками и породистыми, благородных кровей, щеголихами. В источающих сияние ресторанах гуляли денежные тузы и столичная знать. Меж ними озабоченно шныряли, вынюхивая, где жареным пахнет, политические делеги. Вертелись тут, козыряя громкими именами, и члены госу-

дарственной думы, и разжалованные министры, и заправилы временного правительства, и прославленные террористы в роде Савинкова, и сиятельные владыки разгромленных департаментов, и мелкопоместные дворяне, и сановное духовенство, и шулера закрытых игорных притонов. Все они набежали на Дон после октябрьского поворота, намереваясь отсидеться за пиками казаков. Знатоки смрадных тайн охранки, и провидцы чудес господних, и умудренные в науках профессора, и, наконец, социалисты, до тонкости изучившие теории всяческих движений и брожений, наперебой предсказывали близкую и неизбежную гибель большевиков. На залитых вином столах писались декларации будущих правительств, вырабатывались смелые планы восстановления России, распределялись министерские портфели, заслуженные генералы получали назначения губернаторов в области, которые только еще намечались к очищению от мятежников. Пройдохи и себялюбцы паутиной плутовства оплетали глубоко преданных своим замыслам вождей—Алексеева и Корнилова... Тем временем неоправдавшие надежд казачьи полки расходились по хуторам и станицам, в донских степях истекла кровью и вымерзала белая Добровольческая армия и с севера—в грохоте пушек, в митинговых криках, с плясками и свистом—накатывались отряды фронтовиков, матросов и рабочие дружины.

На веселящийся город напускалась гроза грозная.

Лазарет охраняли гимназисты под начальством дряхлого полковника, которому больные дали прозвище «Это Самое». Старик, сменяя караулы, как добрый дух, обходил палаты и разносил утешительные вести. Ему хотя и не верили, но приходило его ждали с нетерпением.

Ранним утром лазаретники были разбужены раскатами недалеких пушечных выстрелов. Всех охватила тревога. Кто поздоровее, собрался было уже задавать лататы, когда в дверях появился полковник. Обдернув ветхий мундир, он раздельно и торжественно произнес:

— Господа, это самое, поздравляю.

Головы повернулись в его сторону. Тяжело раненые перестали стонать. Сосед Николая, усатый фельдфебель Крылов, замер с недочищенным сапогом на одной руке и со щеткой в другой. Старик, выждав томительную минуту, с важностью проговорил:

— Свежие новости... На Таганрогском и Черкасском участках фронта красные разбиты, это самое, вдребезги. Захвачены в плен четыре полка в полном составе, множество снаряжения...

— Ура! — слабым детским голосом крикнул стонавший ночи напролет семнадцатилетний кадет Юрий Чернянский.

Все поддались радостному настроению. Одни сели в постелях, другие спрыгнули с коек.

— Точны ли сведения, господин полковник?

— Почему молчат газеты?

— Что за стрельба слышалась на рассвете?

— Экое дело стрельба, — хитро улыбнулся полковник. — Восстали, батенька мой, станицы нижних округов. Казачки, это самое, за ум взялись, громят большевиков и пробиваются на соединение с нашими частями... По городу дезертиров ловим, бандитов бьем, вот вам и стрельба, хе-хе... Верьте мне, старику, я, это самое, приукрашивать не стану. — Шаркая стоптанными сапогами, он прошел в соседнюю палату.

— Ага! — заговорил, прыгая на костылях, подпоручик Лебедев, — а я что вчера говорил?

— Умерьте пыл, подпоручик, — угрюмо сказал нагонявший на всех уныние своей мрачностью жандармский ротмистр Топтыгин: — вполне разделяя ваш патриотический восторг, я все же должен сказать, что ликовать нам, по меньшей мере, преждевременно.

— Почему, позвольте узнать?

— Анархия, не забывайте, молодой человек, вовлекла в свой дьявольский круговорот миллионы потерявших человеческий образ, осатаневших людей, а идея национального освобождения, как бы она ни была прекрасна, вряд ли найдет в наше подлое время много сторонников, готовых рискнуть головами... Вешать супостатов без милости.

Лебедев, подхватив костыли, подсел к ротмистру и с пылом принялся развивать перед ним свои взгляды на спасение родины. Топтыгин слушал его, покручивая пушистый ус. Изредка он ввертывал полные житейской мудрости замечания, от которых палата покатывалась с хохоту.

За общим столом, отодвинув игральную доску, спорили заядлые шахматисты — пехотный прапорщик Сагайдаров и завитой, надутый корнет Поплавский. Все уже знали, что прапорщик убежденный эсер. Его проповеди и сам он всем давно надоел. Поплавский и играл-то с ним только потому, что не было другого партнера. Кроме того, ущемляя прапорщицье самолюбие, корнет развлекался. За неделю непрерывных сражений Сагайдаров не взял ни одной партии, хотя победа, как ему казалось, не раз клонилась на его сторону, но в последний момент ускользала из-за какого-нибудь досадного промаха.

Оба они отличались отменным красноречием.

Поплавский, не поднимая глаз от носка лакированного сапога и будучи уверенным, что его слушает вся благомыслящая Россия, говорил:

— ...Наша революция, заметьте, глубоко национальна, хотя бы по одному тому, что ко всему мы приходим задним умом, да-с, задним умом... Большевизм необходимо было задушить в зародыше, и теперь русские корпуса маршировали бы через Германию, но момент был упущен.

— Кем упущен? — спросил Сагайдаров, подаваясь вперед.

— Вами, разумеется. Пока ваш социалистический Бонапарт декламировал, большевизм распространился, как зараза, фронт рухнул, мы дожили до позора, когда всякий трус и негодяй, прикрываясь дема-

гогическими лозунгами, считает законным свое шкурничество... Да-с, драгоценный момент упущен.

Прапорщик, считая нестоящим занятием агитировать одного корнета, обращался ко всей палате:

— Поверьте, господа, оздоровление близко! Даю честное слово. Я знаю, я верю в мудрую душу русского народа и в его светлый ум. Лучший отбор солдат будет с нами. Казачество, в силу своих вековых традиций, тоже пойдет за нами. Рабочий класс и трудовое крестьянство, рано или поздно, но непременно, я подчеркиваю, непременно откачнутся от большевиков. И, наконец, не следует забывать носительницу лучших идеалов человечества, самоотверженную русскую интеллигенцию.

— Ох, уж эти мне ваши интеллигенты, — ввязался в разговор ротмистр, — мало я их вешал.

— То-есть, позвольте, как это вешал?

— Очень просто, сударь, за шею веревкой.—Он поднялся с койки и скрестил на увешанной медалями груди пухлые белые руки. — Где ваши земские деятели, защитники порядка и отечества? Куда подевались вольнодумствующие юристы и чиновники разных рангов? Стервецы! Вчера еще одни из них пресмыкались перед престолом, другие шептали под нос крамольщину, и все в два горла жрали куски правительственного пирога.

— Позвольте...

— Нет, уж вы, молодой человек, позвольте... Плохой у нас был император или хороший, — история рассудит, но ни один сукин сын не поднял руки в его защиту, ровно все они родились революционерами.

— Извиняюсь, — сказал прапорщик, — это вопрос принципиальный. Всенародное учредительное собрание, когда оно...

— Очень хорошо, — перебил его ротмистр, — миллионы своих голосов вы подали за учредительное собрание? Оно разогнано! Почему же ваша самоотверженная интеллигенция и светлоумный народ безмолвствуют? Разве родина не в пасти сатаны? Разве не грозит нам большевистское иго, еще более мрачное, чем татарщина, ежели вы, молодой человек, изволили изучать русскую историю? Не вы ли писали книги и целые десятилетия болтали о принципах? Грош цена и вам и принципам вашим! Вы — пыль!

— Странные, однако, у вас понятия, честное благородное слово.

— Все надоело, — сказал, зевая, Поплавский, — продолжать войну невыносимо. Россию может спасти или чудо, или хороший кнут, способный восстановить правопорядок. Вашей, прапорщик, народной мудрости пока хватает лишь на поджоги, разбой и разорение культурных очагов... Взять, к примеру, моего отца, — оживляясь, заговорил корнет. — Полный генерал, после японской войны вышел в отставку, никуда не выезжал, никого не задевал, спокойно доживал век в своем имении, и ничто, решительно ничто, кроме цветов, не

интересовало старика... Но, голубчик, какие он разводил розы, скажу я вам, уму непостижимо! Шотландские махровые, мускусные светло-голубые, белые, как пена кипящего молока, черные, как черт знает что, и всех возможных и невозможных цветов. О нашей оранжерее даже в заграничных журналах писали...

Усатый гимназист Петрикеев, обрадовавшись случаю блеснуть познаниями, крикнул из угла:

— Древний греческий поэт Анакреон сказал: «Розы — это радость и наслаждение богов и людей».

— Совершенно верно, — повернулся к гимназисту Поплавский, и, не обращая внимания на то, что многие засмеялись, он продолжал рассказывать, как мужики вырубил парк, разорили оранжерею и выгнали из родных палестин отца. — Скажите, кому мешали цветы? Я согласен с вами, ротмистр, лишь кнут и петля способны унять разывавшиеся страсти черни... Пусть с этим кнутом придут немцы, зуавы, кто угодно... Да-с, кто угодно.

— О, нет, — подскочил Сагайдаров, заливаясь румянцем, — русский народ выстрадал свою свободу и никому ее не отдаст. На позоре военных неудач России не возродить. Немцы питают к нам не только культурное, но и расовое отвращение. К тому же, в случае бесславной сдачи, мы лишимся поддержки европейской и американской демократии. Кайзер заставит нас чистить свои сапоги, честное слово. Нет и нет! Во имя всего святого мы должны поднять меч, может быть, в последний раз!

— Чушь, — ответил корнет, — России нужна, в крайнем случае, конституционная монархия, а всю вашу азиатскую свободу смести к чорту огнем и мечом.

— Ах, так? Вы — русский офицер? Стыдитесь!

— Не кричите, прапорщик, это показывает ваше дурное воспитание. — Корнет повернулся и, насвистывая, отошел к окну.

— Перестаньте, господа, довольно политики, — крикнул Лебедев, — скоро всем нам придется не здесь, а там, в чистом поле, разрешать более непосредственные задачи.

Поплавский среди разношерстной лазаретной публики чувствовал себя одиноким. Войну он прослужил в Персии при штабе экспедиционного корпуса генерала Баратова. Революция забросила его в чужой город, где не было ни связей, ни пристанища. Не торопясь попасть на фронт гражданской войны, жалуясь на головные боли и на старые где-то и когда-то полученные контузии, он кочевал из лазарета в лазарет.

С кем был Николай Кулагин?

Барбосистый ротмистр в счет не шел. Некоторые мысли Сагайдарова казались Николаю здоровыми, но он не мог перебороть в себе неприязни к прапорщику, дубоватое лицо которого было полно скрытого лукавства, а мигающие, в белых ресницах, глаза не смотрели на человека прямо. Возмущали и наглый тон, и беспринципность Поплавского. Николай вообще недолго любил штабных ловчил. Разве можно

было забыть Могилев?.. Пятнадцатый год, патриотический под'ем всей великой страны, стоверстные позиции под Варшавой, окопы, доверху заваленные изуродованными трупами... Лучшие кадровые корпуса безропотно гибнут в Августовских лесах и своими костями мостят болота... В полку весь низший и командный состав выбит на 90 процентов. («Вечная память», — шепчет Николай, и поблекшие образы соратников, как в дыму, проплывают перед ним.) С жалкими остатками полка, оборванный и очумевший от потрясений, Николай пробирается в тыл на переформирование, и вот, в Могилеве впервые довелось увидеть штабных офицеров большого штаба, — они были затянуты в корсеты, накрашены и завиты, как проститутки. И сейчас, взглядывая на румяное, холеное лицо корнета, он улавливал в нем какое-то сходство с могилевскими фазанами.

Николай, как и большинство кадровых офицеров, плохо разбирался в политике и гордился тем, что в свое время его учили воевать, а не рассуждать. Тяготы позиционной жизни он переносил мужественно: в голову была крепко вколочена мысль о необходимости страшной войны, успешное завершение которой выводило Россию на блистательный путь могущества, цивилизации и культуры. Революция «прокинула все понятия об отечестве и долге. Из подброшенной ему в землянку газетки Николай вычитал, что солдатам война не нужна, а начальники являются врагами народа и защитниками интересов буржуазии и отрекшегося царя. Первая весна революции пролетела в угаре митинговщины и все возрастающего озлобления. Вколоченная палками в спину безответного русского солдата дисциплина рухнула сразу. Командир со страхом и омерзением наблюдал своих солдат и не узнавал полка. После провала июльского наступления армия начала распыляться. Николай бежит в тыл и по дороге — вновь надежды воспрянули — пристаёт к корпусу генерала Крымова, который двигался на Петроград свергать временное правительство. Но... «в силу создавшихся обстоятельств» корпусной застрелился, а офицеры, прибыв в Петроград, встали на защиту временного правительства от большевиков. Дни, прожитые Николаем в семье, промелькнули, как хороший сон: слезы, поцелуи, бесконечные расспросы, ватрушки с любимым клубничным вареньем, опять слезы и расспросы. Буря — с грозой и ливнем — разворачивалась во-всю. Увлеченный товарищами по службе, Николай с жаром бросается в битву, участвует в защите юнкерского Владимирского училища, потом мчится в Москву, дерется на кремлевских баррикадах и, после поражения, с пушечным гулом в ушах, скатывается на Дон...

— Чорт побери, — сияя глазами, говорит кадет Чернявский, — как я хотел бы сегодня же выздороветь, быть в походе со своим отрядом, а то проваляешься тут, ничего не увидишь, тем временем и война может окончиться... Господин капитан,—обратился он к Николаю, прерывая его раздумье, — как, по-вашему, пасху встречать будем у себя?

— Да, да, Юрик, разговляться будем дома... Куличи свяченые, пасха... С барышнями христоваться пойдем, яиц крашенных нам с тобой надарят.

— Каникулы, — мечтательно прошептал кадет, перебирая в памяти былые радости, — на каникулы я уезжал к тете на пчельник в Смоленскую губернию... Там такие чудесные леса... Иногда старший брат водил меня с собою на охоту.

— У тебя и брат есть?

— Был брат... И папа был... В Киеве убили, — глухо ответил кадет и отвернулся к стене.

Около двери на койке, подобрав под себя ноги, сидел студент Васильченко. Точно кудахтая, он истерически выкрикивал:

— Немо лево... фланг... фланг... фланг...

Васильченко был ранен в голову шрапнельной пулей. Он никого не узнавал, забыл все слова. Иногда на него находило оцепенение, целыми часами сидел без движения и молчал, как бы что-то обдумывая... Иногда начинал иступленно кружиться на месте...

— Немо лево... лево... лево... фланг!.. — это были обрывки последней команды, слышанной им перед ранением. Боясь испугать, его осторожно валили в постель и держали, пока не кончался припадок.

Санитары внесли в палату и уложили на свободную койку молодого добровольца с университетским значком на гимнастерке.

Его мгновенно обступили.

— Откуда? Какой части?

— Не знаете ли случайно, где находится 2-й батальон?

— Далеко ли фронт?

— Тише, тише, господа.

— Я — чернецовец, — через силу ответил прибывший, — наш отряд разгромлен, командир зарублен, все гибнет.

— Боже, правда ли?

— А казаки?

— Слухи...

— Конечно, неправда, — крикнул Поплавский, — вздорные слухи!

— Слухи распространяют бабы и мерзавцы, — вполголоса, чтоб не слышал раненый, сказал Поплавскому Топтыгин. — Стрелять их всех поголовно, вешать, не жалея веревок.

— Помилуйте, ротмистр, я допускаю возможность перестрелять и перевешать всех мерзавцев, но... баб, баб?

— Вы меня не поняли, я — ха-ха-ха! — сам не против баб!

— Нет, не слухи, — с трудом проговорил чернецовец, — красные наступают по всему фронту... Кутеповым оставлен Матвеев курган... Забастовщики захватили Таганрог... Части генерала Черепова и Корниловский полк отходят от Синявской и не нынче — завтра будут в городе. Потери огромны... Лучшие гибнут, сволочь дезертирует... Дезертирами переполнены штабы, улицы, кафе, миллиардные... —

Он закашлялся, схватился за грудь и выхаркнул шматок загустевшей черной крови.

Все, притихнув, разошлись.

— Если это правда, — сказал волнуясь Поплавский, — то единственный выход — забаррикадировать двери и защищаться до последней возможности.

Ему никто не ответил.

Стремительная мысль Николая захлестывалась на вопросах: «Гибель? Отступление? Куда отступать? Успеют вывезти или в спешке забудут? Нет, лучше своя пуля из своего нагана».

Ночью опять слышалась орудийная пальба. По темным улицам, тревожно завывая, мыкались храпящие автомобили, и, точно пересмеиваясь, цокали о камни мостовой подковы. Никто не сомкнул глаз. Каждый про себя выискивал пути к спасению. Убежал из лазарета гимназист Петрикеев. Поплавский, бросив свою щегольскую и подцепив чью-то рваную шинелишку, тоже скрылся. К утру, выкрикивая в бреду имя сестры, любовницы или невесты, умер чернецовец. Заспанные санитары уволокли окоченевшее тело. Над пустой койкой на гвозде осталась забытая папаха.

За мутным стеклом светлело небо.

Николай подтянулся на локтях к окну. Восходящее солнце розоватым холодным светом касалось церковных куполов и мотавшихся на ветру голых, точно черной судорогой сведенных, ветвей одинокой березы. Притихший город лежал серой немой громадой... Неожиданно из-за угла вывернулся отряд. Николай сразу узнал своих корниловцев. Они шли быстрым шагом, почти бежали. Их было так мало, что у него сжалось сердце: «Господи, неужели это все, что осталось от полка?» — подумал он и, высадив кулаком стекло, высунулся наружу:

— Казик! Володя!

Головы вскинулись, его узнали и, приветствуя, замахали рукавичками, фуражками.

Через минуту, гремя тяжелыми сапогами и прикладами, в палату вбежали двое — румяный Володя и закадычный друг Николая, Казимир, с которым судьба свела его еще на германском фронте. Оба расцеловались с Николаем, после чего, повернувшись ко всем, Казимир крикнул:

— Господа, прошу не волноваться. Сложившаяся обстановка вынуждает нас покинуть город, но вы забыты не будете. Тех, кто может ходить, заберем с собой, остальные будут размещены в городе по надежным квартирам.

Тягостное молчание, растерянные лица...

— Но куда, куда отступать?

— Здоровые всем были нужны, а теперь, как бездомных собак, на улицу...

— Даете ли вы слово, поручик?

Казимир составил каблучки, поднял голову и, четко рубя слова, сказал:

— Да! Если о вас забудет начальство, то мы сами, ваши товарищи, сделаем все, что нужно. Даю слово русского офицера. — Он сдернул перчатку и торжественно принял под козырек.

Затем, отвечая на-ходу и на все стороны, они убежали.

Николая била нервная дрожь... «Уши, черт с ними, но вот ноги, подведут или нет? Неужели нельзя будет притвориться выздоравливающим? Уж если и умереть, так в походе, в кругу друзей».

Дохла паника.

Тяжело больные заметались и застонали. Ротмистр, сопя, затягивал ремни огромного чемодана. Иные рылись в мешках и переодевались по-дорожному; иные, сбившись у окон, обсуждали ход военных действий и спорили, не слушая друг друга. Сагайдаров критиковал тактику командования, порицал политику донского правительства и все надежды возлагал на близкое отрезвление крестьянства.

Не смеющий вмешиваться в разговоры начальства фельдфебель Крылов набрался храбрости и спросил:

— Ваше благородие, господин прапорщик, а правду ли болтают, будто Корнилов с Алексеевым никак не могут поладить?

— Правда.

— Понять невозможно, — сказал фельдфебель, — первеющие головы и на тебе...

Прапорщик хотя и сам слышал о размолвке вождей краем уха, но с готовностью принялся объяснять:

— Дело простое, каждый из генералов метит в главнокомандующие. С одной стороны, Алексеев считает, что он имеет больше законных оснований: он — любимец и правая рука царя, он и в чинах старше, у него и опыт обширнее; с другой стороны...

— Не слушай его, Крылов, — вступился Николай, — прапорщик сам ни бельмеса не понимает. Оба генерала желают России только счастья. Ни тот, ни другой власти лично для себя не домогается. Но пути к восстановлению порядка у них разны, вот тут-то и загвоздка. Около Алексеева вьются высшие чины штаба, отъявленные старорежимники и гвардейская аристократия. С ними он намерен сломить революцию. Наш Корнилов не таков. Он возлагает надежды на кадровое офицерство, на верных долгу солдат, на казачество. Мы любим командующего за то, что в бою он всегда с нами, на дневке одинаково внимателен к нуждам каждого из нас, строг, но справедлив в требованиях и, потом, у него блестящее прошлое.

— Однако прошлое остается прошлым, — заметил Сагайдаров, — а настоящее более, чем плачевно...

— Будь вы, прапорщик, на месте командующего, мы не сомневаемся, что все сложилось бы иначе, — с'язвил Топтыгин и, ухватившись за бока, злобно захохотал.

Кадет, с головой закрывшись одеялом, плакал. Около него суетились.

— Юринька, как не стыдно? Ну, голубчик, успокойся... Разве ж мы тебя бросим? Скоро пригонят подводы, всех нас заберут и увезут отсюда.

Кто-то поднес кадету разбавленного спирта. После недолгого колебания он залпом опорожнил кружку, задохнулся, закашлялся и, вытерев кулаком слезы, понемногу успокоился.

Стрельба в городе усиливалась. Среди лазаретников росло беспокойство. Многие уже оделись и сидели на мешках с винтовками в руках.

Николай поднялся... Суставы ног разнимало ломотою, в самых костях мозг и тот мозжал. Превозмогая боль, как на рассохах, он прошел по палате, потом пристроился на койку и занялся перевязкой. Сагайдаров посоветовал присыпать мокнущее мясо сахарным песком, что, по его уверениям, способствовало более быстрому нарощению новой кожи. Корниловец, сцепив зубы, сорвал с лоскутками кожи заскорузлые бинты, развязал вещевой мешок, выбрал из белья, что поветше, и, надрвав длинных лент, накрепко обмотал ноги.

— Едут! — крикнул в палату дежуривший на лестнице подпоручик Лебедев.

Все засуетились.

В дверях с узелком в руке появился запыхавшийся полковник:

— Господа, это самое, пора... пора!

У под'езда мобилизованные извозчики ругались с конвойными. Робеющие гимназистки жались поближе к выходу. Они держали перед собой, как свечи, букетики первых ландышей и фиалок. На ступеньках сидела, приложив к глазам платок, и ждала кого-то старушка—кружевная наколка ее с'ехала на сторону, а седая голова сотрясалась от рыданий.

Зарывшись на возу в солому, убаюканный скрипом колес, Николай проспал весь ночной переезд и не слышал ни стрельбы, ни взрывов бомб, сбрасываемых с большевистского аэроплана. Разбудил его собачий брех. Обоз втягивался в станицу Ольгинскую.

В глаза прынуло солнце.

Унавоженные дороги еще крепко лежали в снегах, хотя колдобины уже были налиты, точно зыбким пламенем, ростопельной водой. С крыш разорванной серебряной ниткой сверкала частая капель. Сокульки блёстели под солнцем, как штыки. Отовсюду сочилась и дышала благодатью доблестная весна.

Воз, на котором сидел Николай, свернул во двор. В воротах, встречая гостей, стоял на вытяжку одетый в парадную форму пожилой казак.

— Здорово, хозяин!

— Здравия желаем, ваш-бродь! — увидев полковничьи погоны, гаркнул он с таким старанием, что лошади шарахнулись, а на базу загоготали гуси.

Позади самого на дистанцию в три шага кланялись и скороговоркой сыпали приветствия принаряженные бабы.

В чистой, по-городскому обставленной хате грудастая казачка угощала офицеров варениками и жареными в сметане карасями. Хозяин, из почтения к гостям, стоял у порога. Для порядка он покрикивал на бабу и, перехватывая из руки в руку шапку, выспрашивал, кто такие кадеты ¹⁾, за кого они воюют и куда изволят отступить.

Ротмистр, избегая иностранных выражений и упирая больше на поущение господне, терпеливо раз'яснял политические премудрости. Растолковав вкратце программу какой-нибудь партии, он добавлял, как припев к песне: «Вешать супостатов, вешать, не жалея веревок».

Николай побрился, умылся снеговой водой и, держась за стены, вышел на крыльцо.

Широкая улица и площадь были заставлены войсками. Щегольской сапог месил слякоть рядом с опорком. Донские партизаны, выпустив из-под собачьих малахаев чубы, топтались вперемежку с оборванными офицерами. Возмужавшие в походах гимназисты выпячивали груди и с полным сознанием превосходства косили глаза в сторону очкастых, сутулящихся студентов. Не достающие носами до штыков кадеты досрочных выпусков подтягивались и соперничали выправкой со старшими. Щебечущие ласточки гроздьями обвешивали телеграфную проволоку. Скакали готовые разорваться от усердия ординарцы. Перегоняемые с места на место люди в лад отбивали ногу и размахивали руками вперед до пряжки и назад до отказа.

— Ать, два, три... Ать, два, три...

Через дорогу, подобрав полы, перебежал Казимир.

— Здравствуй, Коля. Увидел тебя и на минутку, с разрешения взводного, отлучился из строя. Как твои дела?

— Да так, — улыбнулся Николай, — на солнышке греюсь и почти улыбаюсь.

— Мы с Володькой утром искали тебя, но не нашли. Сыт?

— Напоен, накормлен и обласкан. Где Володя?

— Ушел в заставу.

— Знаешь, Казик, раздобудь-ка мне костыли... Ноги маячить начинают. Через неделю думаю в строй.

— Браво.

— Когда выступаем?

— Как-будто завтра. В штабе уже решено пустить авангардом марковцев и арьергардом нас. Закупаем продукты и строевых лошадей. Канальи казаки дерут за своих кляч втридорога, и ничего не поделаешь, приходится платить. Командование, дабы не ссориться со станичниками, строжайше запретило реквизиции.

— Тяжелая, но совершенно необходимая мера, — сказал Николай, — будем надеяться, что через этот камень большевики спотыкнутся и восстановят против себя и казаков, и крестьян.

— Эврика, чуть не забыл!.. Вчера у захваченного солдата отобран протокол собрания какой-то захудалой команды. «Хорошо обсудив последний декрет совета народных комиссаров, мы считаем таковой

¹⁾ Кадетами, как известно, по всему югу России звали белых.

декрет справедливым, о чем и постановляем известить срочной телеграммой Ленина и Троцкого».

Оба рассмеялись.

Успевший всюду побывать Казимир с жаром принялся рассказывать штабные и полковые новости.

— Велика ли у нас армия? — спросил Николай.

— Свыше четырех тысяч штыков и сабель. Пехота сведена в полки — Корниловский, Марковский и Партизанский. В особые единицы выделен инженерный батальон, морская рота жидочка Баткина и мелкие воинствующие отряды, ультимативно заявившие о своей... автономности.

Николай выругался.

— Увы, — продолжал Казимир, — разговоры о прекрасном остаются разговорами, а игра мелких самолюбий в полном разгаре. Зараза самостийности проникла и в наши ряды. Откуда что берется. Подумай только, юнкера и студенты противились объединению и едва не перепороли друг друга штыками.

— Удивительно... Чего не могут поделить наши мушкетеры?

— Юнкера ругают студентов социалистами, а студенты юнкеров — монархистами. Те и другие домогались иметь своего начальника, свой отдел снабжения, свой обоз, и, наконец, чорт побери, каждый из юнцов не прочь бы прикомандировать себе по милосердной сестричке, которых и так мало. Нам самим ухаживать не за кем.

— Скажи, есть интересные?

— О-о! Я познакомился с одной толстушкой, так это, доложу я тебе, штучка! Правда, она не красавица, но...

— Погоняй ее с недельку на корде — станет красавицей.

— Кроме шуток, замечательная девушка... Ручки, ножки, щечки, и через каждые два-три слова носом шмыгает.

— Ха-ха-ха. Я восхищен твоими описаниями... Познакомишь?

— С удовольствием. Сегодня же приглашу сделать тебе перевязку.

— Отлично.

— Да, так вот я и говорю, каковы негодяи... Социалисты, монархисты, нашли время политикой заниматься.

— Пустяки, какие они политики. В походе сживутся.

— Возмутителен сам факт. В иной обстановке Корнилов попросту приказал бы кое-кого посадить в карцер, кое-кого выпороть и дело с концом, а тут, извольте, митинг открыли.— На исхудавшем, обветренном лице Казимира глаза сверкали гневом. Фуражка со сломанным лаковым козырьком сбилась на затылок.

— Гражданская война, — задумчиво сказал Николай, — полна нелепостей и чудес. У красных сапожники командуют армиями, а у нас на взводах стоят полковники и генералы.

— За богом молитва, за родиной служба не пропадет. Погоди, развернемся. Сегодня Лавр Георгиевич перед строем произнес блестя-

щую речь. «Нас разбили на Дону,—сказал он,—но игра еще не проиграна. Большевики с'едят сами себя. Нам необходимо продержаться до наступления отрезвления, и Россия еще услышит о наших делах». Мы были в бешеном восторге и до хрипоты кричали «ура»... Ну, я, кажется, заболтался с тобой, побегу...

— Не забудь костыли и... толстушку.

— Будь покоен. — Он подвернул полы шинели и по сверкающим лужам зашагал к своей роте.

На листах курительной бумаги Николай написал в Петроград два письма:

Милая мамочка.

Прошу прощения, что так долго не давал знать о себе. В октябре, уезжая в Москву, я обещал скоро вернуться и не сдержал обещания. Подумай, мог ли я укрыться под твоим крылышком, когда кругом творится столько мерзостей?

Я жив, здоров.

Был немного простужен, повалялся в лазарете, вчера выписался и вернулся в полк. Пишу из станицы, из-под Ростова. Боев пока нет. Большевики грабят по железным дорогам, а к нам в степи и носу бояться показывать.

Обо мне, мамуся, не беспокойся. Летом всей семьей отправимся отдыхать куда-нибудь к чухонцам в деревню.

Все это, разумеется, очень тяжело... Лучше бы вот сейчас сидеть мне с тобой и с Ириночкой за чайным столом и слушать, как за окном бушуют метельные февральские ветра.

Поймешь ли и простишь ли ты меня, мама, за все причиняемые тебе страдания?

Вся Россия несет возложенный на нее судьбою крест. Пятый год воюем. Под каждой крышей — горе, и почти в каждой русской семье — покойник. Со мной в лазарете лежал раненый кадет. Большевики убили у него брата и отца. Участь мальчика особенно трогала меня. Сколько их, еще совсем детей, погибло с нами в донских степях, сколько затоптано безвестных могил.

Ты подумай, мамочка, как прекрасно сказал генерал Алексеев в Новочеркасске на похоронах кадетов: «Я поставил бы им памятник—разоренное орлиное гнездо, и в нем трупы птенцов, — на памятнике написал бы: «Орлята умерли, защищая родное гнездо, где же были орлы?».

Крепко целую и обнимаю

Николай.

Р. С. Следующее письмо напишу при первой возможности, но не огорчайся, если долго не получишь его. Установить живую связь чрезвычайно трудно, о почте и думать нечего.

Будь здорова, мамуся, и надейся на всеблагого, — без его воли ни один волос не упадет с моей головы.

Здравствуй, Ириночка.

Здравствуй, милый мой хохленок, целую твою русую головку и голубые глаза.

Сижу на резном крыльце, жмурюсь на солнце, мечтаю о тебе и о маме...

Тоска косматой лапой сжимает сердце... Какая злая сила исковеркала жизнь и разметала нас?

На фронте я простудился и обморозился. Думал, что схватил воспаление легких. Опасность миновала, я возвращаюсь в полк.

Начистоту говоря, положение наше весьма затруднительно. Два месяца мы отбивались от солдатчины и матросов и теперь вынуждены отступать. Причин тому множество. Наши тылы непрерывно тревожили рабочие восстания, надежды на всенародное ополчение не оправдались, атаманы потеряли власть над казачьей массой точно так же, как мы потеряли власть над солдатами.

Уходим за Дон, в степи.

Щади маму, она ничего не должна знать. Милая мамочка... На ее глазах, должно быть, не высыхают слезы... В своей полутемной комнатке перед старыми иконами она вымаливает мне жизнь.

Уходим в неведомое.

Мы одиноки.

Россия гибнет. Народ, обуреваемый низменными инстинктами, воспринял революцию, как захват чужого добра и всеобщий раздел. Буржуазия дрожит за свою шкуру, и, боже, как слепы денежные воротилы! В Ростове они пожертвовали на добровольческую армию гроши, а на смену нам в город пришли большевики и, вероятно, загребли их миллионы. Социалисты травят нас, как врагов народа.

Каково наше политическое credo?

Никто ни черта не понимает, и все обозлены. Ярко проглядывает лишь полный отрыв от общероссийских идей.

На Дону мы, русские офицеры, защищаем самостоятельность края и пытаемся не допустить его разорения, а само казачество и не чешется. Много наших офицеров служит в украинских национальных частях, уже тем самым поддерживая нелепую и дикую самостийность. Или чего стоит Кубань, куда мы, вероятнее всего, пойдем? В Екатеринодаре главные силы штабс-капитана Покровского составляет русское офицерство. Покровский же потворствует низменным проискам самостийной рады.

Все, чем жив человек, растоптано и заплевано.

Россия представляется мне горящим ярмарочным балаганом, или, вернее, об'ятым пламенем сумасшедшим домом, в котором вопли гибнущих мешаются с диким свистом и безумным хохотом бесноватых.

Повторяю, никто ничего не понимает.

Мы не политики, а всего-на-всего лишь сыны своего отечества и солдаты черного лихолетья... Жизнь, видимо, заставит разобрататься кое в чем, но учиться придется уже под огнем.

Мы одиноки... Призрак России, светлый, как утренняя заря, витает над нами и укрепляет твердость сердец наших.

Верим в помощь бога и в светлый ум вождей!

Целую и обнимаю

Брат.

Курганы первыми освободились из белого плена. Одряхлевшие снега, заливаясь мертвенной синевой, сползали в овраги, где и гибли, сраженные гремучими ручьями. На обсохшие головы курганов все чаще и чаще опускались отдыхать жаворонки — отважные разведчики грядущего тепла. На межах в трепете распрямлялись голые былинки. Зверюшки, вырвавшись из черной неволи, грелись около нор.

Зимобойные ветра ватагами отправлялись в дальние походы.

Зима, напрягая силы, еще оборонялась. По ночам она облетала повитую тревожными снами землю и строила козни: где морозный узор наведет на окно, где подсушит лужицу, где закует во льды зажорину, где частым инеем усыпет поле, тут заметет снегом крепко уснувшую собаку, там студеным дыханием остановит бег ручья... Но лишь проблеснет заря, едва только брызнут искры рассвета, как седовласая злодейка без оглядки пускается в бегство, а вдогонку ей несутся птичьи высвисты, горланят петухи, и солнце мечет блещущие копыя.

Когда же над преющей землей, сияя, взвились цветы, когда, сбросив ледяные шкуры, дрогнули под первой рябью реки, — зима отступила в горы на коренное становище... Взметывая стужу со дна ущелий, срывая сверкающие снега с заоблачных высот, окруженная преданными полчищами мутных воющих метелей, зима бросалась в битву на равнины, и тут, под ударами ветров-зимогонов, бесславно гибли разорванная в клочья и пену хладная сила.

Жирноземная красавица-степь, покорно раскинувшись, ждала пахаря. Над степью, охраняя ее покой, мчались, подобны голубеющему потоку, ветра-зимоломы.

Первые сто верст армия покрыла в неделю. Быстрому передвижению мешали распутица и большой обоз с беженцами и ранеными.

Вымотанные лошади, утопая в грязи по брюхо, вытягивались в нитку. Телеги и брички плыли по жиже, как лодки. Люди, расстроив всякий порядок, брели молча. Слышались только устрашающие крики ездовых и свист кнутов. Кадеты и гимназисты перегибались под тяжестью винтовок, но старались не выказывать друг перед другом утомления. Престарелые полковники шагали в строю, бодро разгребая ногами море жидкой грязи. Молодая женщина, потеряв в чавкающей грязи туфли и высоко подобрав юбки, шла в одних чулках. Светлые

волосы ее были спутаны и падали на глаза, а раскрасневшееся, заплаканное лицо жалостливо улыбалось. Пугаясь орудийных выстрелов, она обращалась к неотступно следующему за ней верхом ротмистру Топтыгину:

— Скажите, мы разобьем их?

— Всенепременнейше, сударыня,— улыбался ротмистр, крутил усами, перегнувшись из седла, что-то объяснял женщине.

В высоком фаэтоне ехал с сыном седой генерал Алексеев, еще недавно управлявший судьбами пятнадцатимиллионной русской армии. Форменная фуражка его была нахлобучена по самые уши, из-под захватанного козырька строго поблескивали очки, от резких толчков на иссохшей старческой шее моталась голова.

Обочиной дороги, подбадривая войска, пронесился на кабардинском скакуне Корнилов. Калмыковатое лицо его было сурово. Повелительный с хрипотцой голос и приветствия выкрикивал, как приказания. Вскинутую голову крыла текинская черная папаха. Одет он был в заношенный нагольный полушубок. На командующего устремлялись восторженные глаза, и вослед ему гремело надсадное «ура».

Отряды красных уклонялись от решительного боя и лишь налетами беспокоили противника.

В обозе ползали обильно питаемые паникой разжиревшие слухи. Частой ружейной трескотне внимали трепетные беженцы, из которых каждый был знаменитостью или состоял в близком родстве со знаменитостью. Социалисты разных толков восседали на чемоданах и вели нескончаемые споры. Председатель государственной думы Родзянко суковатой палкой колотил по костлявому заду взмыленную лошаденку и делился с любезными слушателями воспоминаниями. Закутанные в меха барыньки стрекотали, как сороки. Профессора коротали досуг в тихих беседах, полных горестных размышлений. Над раскрытыми ларцами со снедью сидели, не смыкая чавкающих ртов, отощавшие помещики: всей своей требухой чуя еще большие невзгоды, они торопились насытиться про запас, чтоб в крутую минуту было чем и прожитую жизнь вспомнить. Доверенный царя небесного, затканый седым пухом, преподобный о. Серафим взирал на все творящееся, как сыч на солнце. Весьма известный журналист Борис Суворин не терял времени попусту и заносил в дневник дорожные впечатления, подслушанные разговоры, заметки о казачьем быте и все это обильно уснащал рассуждениями, полными бурных огорчений.

Сердца знаменитых стыли в страхе за свою и за Россию судьбу.

В Ставрополе, под селом Лежанкой, произошло первое крупное столкновение. Белые, потеряв в бою троих убитых и семнадцать раненых, ворвались в село, где и рассказали до шестисот человек.

Расправу чинили все желающие, а таковых нашлось немало. Казаки воспользовались случаем и свели с мужиками старые счеты. Офицеры мстили за поруганное звание, за честь мундира и за анархию, бессильными свидетелями которой они являлись уже целый год. Раз-

горячелные боем, раздумянившиея юноши были уверены, что, расстреливая и вешая людей в кожухах и солдатских шинелях, они спасают родину. Одним хотелось испробовать действие новеньких, еще не пристрелянных винтовок; другие под руководством туземцев на поставленных на колени жертвах практиковались в рубке; побывавшие в донских степях были рады легкости победы, — вернувшись домой, будет что порассказать...

Николай в сражении не участвовал. Ноги его обрастали новой розоватой кожей, костыли он бросил, но ходил еще плохо.

На квартире за ужином Казимир с восторгом рассказывал о подробностях боя — кто где наступал, какие части отличились, кто и к каким представлен наградам.

Внимательно слушающая его, Николай невольно выпалил:

— Какая гадость...

Офицер замолк на полуслове и с удивлением посмотрел на друга.

— Казнить, — продолжал Николай, — такую массу пленных, к тому же еще они и русские. Неужели невозможно было ограничиться расстрелом главарей, агитаторов или, наконец, каждого десятого?

— Чорта с два, братику! Попробуй разберись, кто у них начальник и кто подчиненный. Все нечесаные, распоясанные, босая команда какая-то. Сегодня он кашевар, а завтра командир. Для верности мы их и стреляли под ряд, как вальдшнепов.

— Знаете, господа, — боясь, что его не будут слушать, торопливо заговорил Сагайдаров, — у них каким-то фронтом командует бывший казачий фельдшер Сорокин, честное слово. Каково? Или вчера под Егорлыкской лично я сам, своими руками, захватил комиссара, который оказался самым настоящим каторжником, честное благородное слово!

— Не в каторжниках дело, прапорщик, — оборвал его Николай, — вы городите вздор!

Поднялся захмелевший Володя и, бессмысленно улыбаясь, потянулся чокаться.

— Перестань, Коля, сентиментальничать и не горячись попусту... К матери в штаны всю философию... Будем уничтожать хамов! Они нам мешают жить, лишают нас возможности любить женщин и славить солнце... Меня в Саратове невеста ждет... Ну и должен же кто-нибудь спасти Россию? Время слов минуло, настала пора великих дел. Выпьем за поэзию и за мою невесту...

— Я понимаю, — волнуясь, проговорил Николай, — но нужно ни капельки не любить страну, чтобы клеймить весь народ клеймом каторжника.

— Понимаешь, а канючишь, — сердито отозвался Казимир, — что ж, прикажешь их с собой возить или, выпоров, отпустить, чтобы завтра опять с ними встретиться? Ты забыл о самосудах, чинимых над офицерами? Забыл об издевательствах, которые каждому из нас приходилось переносить на фронте? А наши близкие, оставшиеся в Рос-

сии? Разве комиссары будут с ними церемониться? Попадись мы с тобой к ним в лапы, думаешь, они пощадят нас? Ты забыл станицу Каменскую, где матросы предали наших разведчиков лютой и ужасной казни — им прибили погоны к плечам вершковыми гвоздями. Пощады нет, мы идем ва-банк!

Подавленный Николай молчал, а офицеры наперебой начали вспоминать недавние, один кошмарнее другого, факты.

— Перестаньте,—попросил он, содрогаясь, и закурил папиросу. Руки его дрожали. — Ну, а что же командование?

— Командование сделало вид, что ничего не замечает.

— Да, — энергично сказал Казимир, наполняя рюмку коньяком, — верхушка дворянства и буржуазия своей преступной бездельностью предали Корнилова во время августовского выступления. Верным России осталось лишь кадровое офицерство. На нас история ставит главную ставку. И потом,—он повернулся в угол, где сидели, наострив уши, кадеты,—эта молодежь! Ее нужно воспитать в нашем духе. Худшие из них пошли на сделку с совестью и малодушно остались наслаждаться теплом и уютом. Лучшие закалятся в боях и пойдут с нами до конечной цели. Выпьемте, господа офицеры, за торжество нашего правого дела, за молодежь и, пожалуй, за твою, Володя, невесту!

Ужин продолжался.

Николай вышел.

Весенняя ночь сияла особенным теплым сиянием, сладко пахло прелым навозом, в саду на голых тополях табором располагались на ночлег грачи.

Над селом стлалась тревожная тишина, нарушаемая сонным ржанием лошади, эхом выстрела или глухим, словно из-под земли рвущимся, рыданием солдатки, оплакивающей мужа.

У ворот на бревне сидел, опираясь подбородком о палку, оборванный мужик.

Николай подсел и предложил папиросу.

— Благодарствую, не потребляем.

Долго молчали.

— Ты казак или иногородний? — спросил офицер, желая завязать разговор.

— В работниках.

На все вопросы он отвечал с неохотой. Николаю стало скучно, он поднялся, чтобы итти, когда тот неожиданно спросил:

— Та-ак, значит, за царя воюете?

Застигнутый врасплох, Николай не знал, что ответить... С образом государя неразрывно было связано понятие о величии отечества, но монархистом Николай, как и большинство неаристократического офицерства, никогда не был, что, впрочем, не мешало этим вольномыслам в силу дисциплины выступать на подавление крамольников. Слабый царь, загнавший страну в тупик поражений, голода и анар-

хии, с некоторых пор в глазах офицерства начал терять свое обаяние.

— Нет, не за царя,—твердо ответил он.

— А чего у вас порядки старые?.. Флаг царский носите?

— Старое знамя дорого нам, как символ единой мощной России,—заученно сказал офицер и, спохватившись, захотел поправиться,—старое знамя дорого, как имя, данное при крещении, как материнское благословение... Понимаешь?

— Понимаю.

— Ничего ты, дядя, не понимаешь,—с горечью закричал он и вскочил,—скажу проще, если бы к вам в деревню забежал волк, вы бы стали его бить?

— Обязательно.

— Ну, вот, а большевики — те же волки.

— Постой, ваше благородие, какие мы волки, мы народ смиренный.

— Я не про крестьян говорю, а про большевиков, которые на митингах горланят, на разбой подзуживают.

— Вышло хомут да дышло.—Мужик зло рассмеялся и сказал:—Целите в коршуньев, да бьете серых ворон.

— Не подвертывайся.

— Как тут упасешься, такая кругом смута.—Работник покосился на собеседника и нерешительно спросил: — Наши хуторские именишко тут расташили и землишку бросовую запахали, — судом теперь судить их будете или как?

— Никак. Нагрянут вот немцы и заберут нас всех со всем — с землю, со вшами, с лаптями.

— На што мы им нужны?

— Воду на нас, дураках, возить будут.

— Эээ... Мы, ваше благородие, хлеба сожрем больше, чем наработаем. Расея, она вона какая... чудная.

Николай рассмеялся, а мужик рассказал:

— Отец мой, покойник, коновалом первеющей статьи слыл и к винцу слабость имел. Сгорели мы раз, сгорели два, хозяйство порушилось, матушка, царство ей небесное, преставилась в одночасье. Надел батя сумку через плечо, меня, мальчонку по восьмому годичку, за руку взял, и побрели мы потихоньку, кормясь где Христовым именем, где работенкой. Так, без скривища, без бывища, и пробродяжничал я до парней, пока батюшку на Иркутской ярманке купцы не опоили. Проводил я отцов гроб, не одну сиротску слезу глотнул, утерся и пошел, куда глаза манили. Может, тыщу городов прошел, деревень — несчетно, народов сколько перевидал, и кругом тебе Расея, и кругом тебе, не обессудь на моем глупом слове, один пашет, а семеро ему шею гложут. Нонче, ваше благородие, не только немец, сам нечистый из-под мужика землю не выдерет, мы в нее по саму бороду вросли. Придут немцы—возврату им не будет, по одному пёредушим, мы им...

— Погоди. У тебя у самого-то ведь никакой земли нет?

— Дадут, — убежденно сказал мужик, — и наша копейка не щербата. Общество обещает вырезать полный надел. Я тут невдалеке на хуторе и вдову себе высмотрел. Пожили по-старинке, почудили, нонче хочется пожить по-новинке. Может, еще чуднее будет, а все-таки хочется. — Он помолчал и вздохнул. — Ваш генерал, с вот такими печеньями на плечах, перед сходом высказывал: «Воюем, мол, за веру, за отечество, за счастье». Какое там счастье, простой народ бьете, вон висят...

На площади, в неверном лунном свете, подобны бледным теням, серели повешенные.

Проговорили за полночь. Офицер чувствовал себя перед мужиком в чем-то виноватым, но не хотел даже сам себе в этом сознаться и ушел, томимый тоской.

В хате было душно.

На печи возилась и стонала старуха-хозяйка. В лунном луче, падающем в маленькое слуховое оконце, ее плачущие глаза вспыхивали зеленым огнем. При ней во дворе были расстреляны два ее сына-солдата. Снох не было дома, они разыскивали за селом на навозных кучах тела мужей. Николая пугал шопот старухи. «Что она, молится или прокликает?».

В окнах забрежил рассвет. На улице горнист заиграл зорю.

Партизанский отряд матроса Рогачева замирил восставших казаков Ейского отдела и возвращался ко дворам. Дотошные разведчики пронюхали, что в недалекой станице, в старой казенке хранятся запасы водки.

Весть мигом облетела ночевавший в степи отряд.

Самовольно собрался митинг.

Рогачев, гарцуя на коне в гуще партизан, кричал:

— Ребята, контрики подсовывают нам отраву! Долой белокопытых! Напьемся — быть нам перебитыми! Не напьемся — завтра будем дома! Кто за бутылку готов продать совесть и свою драгоценную жизнь? Долой прихлебывателей царизма! Я, ваш выборный командир, приказываю не поддаваться на провокацию! Казенку надо сжечь, водку выпустить в речку!

— Правильно, — подпрыгнул корноухий вихрастый мальчишка и завертелся на одной ноге.

— Неправильно, — отозвался другой партизан, — чего же ее жечь, не керосин.

— Спалить, таку-сяку мать! — взвизгнул пулеметчик Титька.

— Жалко, братцы.

— Яд, — убежденно сказал подслеповатый старичишка Евсей. — Сорок лет пью и чувствую — яд.

— Ха-ха-ха... Поднести тебе, поди не откажешься?

— И не погляжу, голубь. Время не такое, эдака кругом страсть.

— Комиссары сами пьянствуют, а нас одерживают. Суки!

— Верно. Ты, Рогач, на себя оглянись!

Рогачев, происходивший из крестьян станицы Старо-Щербиновской, действительно прославился по всей Тамани не только беспримерной храбростью, но и разгулом.

— Братцы, — обрадовавшись догадке, заговорил рассудительный печник Нестеренко, — как мы с победой и как мы сознательные, то должны, ее, эту треклятую зелью, разбавить водой, шгоб не так в голову ударяла, и с криком «ура» выпить всю до капли.

— Совесть ваша, дядечка, серая, — с сожалением глядя на Нестеренко, сказал вихрастый мальчишка.

Приподнятый над кучкой хуторян рябоватый матрос Васька Галаган махнул шапкой:

— Уважаемые, и чего такое вы раскудахтались? Дело яснее плещи. Забрать водку — раз, выдать по бутылке на рыло — два, остатки продать и разделить деньги поровну... Тут и всей нашей смуте крышка. Прошу поднять руки...

Предложение показалось настолько пленительным, что сразу вскинулись сотни три тяжелых, неразгибающихся рук.

Командиру удалось настоять лишь на том, чтоб не ходить в станицу всем табуном. Были поданы подводы. Выбранные от рот делегаты, возглавляемые каптенармусом, двинулись в поход.

В томительном ожидании прошел и час, и два — посылы не возвращались. На выручку была послана конная разведка. Разведчики, божась страшными божбами, ускакали и тоже пропали.

Солнце покатилося за полдень.

Партизаны загалдели:

— Делегаты называются... Выглохтят все сами.

— Известно, темный народ.

— Товарищи, а не пахнет ли тут изменой? Может быть, их там перебили давно, а мы тут воежим?

К возу Рогачева подходили все новые и новые партии, требуя отправки.

Трубач проиграл сбор.

Отряд построился и, выставив охранение, в полном боевом порядке двинулся к станице.

В станице перед казенкой гудела тысячная толпа. В помещении перепившиеся делегаты горланили песни и плясали гопака. Из распахнутых на улицу окон производилась дешевая распродажа водки. Партизаны всю дорогу уговаривались бить своих выборных, но, дорвавшись до цели, забыли уговор и, сшибая друг друга, кинулись к ящикам.

Гульнули на славу.

... Горе подружило Максима с Васькой Галаганом.

Проснулся Максим первым — его испугала тишина, — схватился за пояс: кобуры с наганом не было. Он огляделся... Просторная гор-

ница, в окнах зелень и солнце, на столе острыми огнями искрился пустой графин. Рядом, локоть в локоть, спал матрос.

— Э, слышь-ка, — принялся он его расталкивать, — слышь-ка, морячок!

— А! — открыл тот затекшие мутные глаза и сел. — Ты чего?

— Где мы?

— Где ж нам быть, как не у попа?

— У меня наган сперли.

— А? Какой наган? — Матрос цоп, лап: кольта не было. — О, курвы, и у меня срезали!

Дверь скрипнула. В горницу заглянул поп.

— Самоварчик прикажете?

— Где наши? — грозно спросил моряк, спрыгнув с постели и встав в боевую позу.

— Ушли.

— Почему не доложил, лярва?

— Будил, не добудился.

— Давно выступили?

— На заре.

— Куда затырил наши самопалы?

— Не ведаю.

— Врешь! Вынь да выложь. — Васька уцепил его за бороду. — А также где мой карабин?

— Не ведаю, — еще смиреннее ответил поп, стараясь высвободить бороду. — Вы вчера пришли ко мне пеши и безоружны, из карманов одни бутылки торчали.

— Это хохлы хапнули, больше некому, — сказал Максим. — Они тут свой отряд собирают, а оружия нехваток. Беда, с голыми руками остались, пропадем ни за понюх табаку.

Васька выдернул из-за голенища бомбу:

— Есть одна.

— Мало.

— Мало? — матрос свистнул. — Да я тебе с этой самой штукой любой кубанский город завоюю. Лошади есть? — повернулся он к попу. — За лошадей мы заплатим.

— И рад бы услужить, да нету. Жена с работником на хутор за рассадой уехала.

Босая девка внесла кипящий самовар.

— Долой! — приказал матрос — Некогда чайничать. Прощай, батя, молись угодникам за доброту нашу.

Безоружные партизаны прошли из конца в конец всю улицу в поисках подводы, но подводы им никто не дал. Изрыгая складную, как псалмы, ругань, они покурили за околицей, переобулись, и бодро зашагали по пыльной дороге.

Под солнцем курилась степь, свистали суслики, дремали курганы, омываемые полынными ветрами.

— Переложил, — поморщился моряк, — брюхо крутит и крутит.

— С перепоею, — знающе сказал Максим. — На кружку кипятку намешай горсть золы и выпей, первое средство.

— Надо попробовать, а то несет меня, как волка. Вскикиваю ночью, сортир не знаю где, забегаю в чулан, вижу на гвозде поповы праздничные сапоги висят... Ну, в один я напорол с верхом, а в другой не хватило.

Оба заржали так, что пахавший за версту сохарь остановил лошадь и перекрестился.

Подошли, поздоровались.

— Будь добрым человеком, дай воды.

— Угорели? Пойдемте на стан, угощу.

Черные земляные волны катились по распаханной полосе. Кося умным глазом, важно расхаживали грачи и выклевывали из борозды жирных червей. На стану, спрятавшись от жары под телегу, пуская сладкую слюну, спала дряхлая репястая собака.

— Што за люди будете и далече ль путь держите? — спросил мужик, оглядывая гостей.

— От полка отстали, — сказал Максим. — Не видал, не проезжали?

— Какой, дозвоьте узнать, партии будете? По разговору, похоже, свои — кубанцы?

— Мы — свои в доску, — ответил матрос. — У меня отец кубанец, дед кубанец, и сам я тут в окрестностях безвыездно сорок лет живу.

— Та-ак... Полка не видал, а банда у нас гуляет.

— Где?

— Вон, хуторок. Вторую неделю стоят.

— Чья банда?

— Шут их разберет. Хохлы какие-то полтавские... И с белыми дерутся, и красным спуску не дают.

Васька, скроив пристрашную рожу, пропел с пригнуской:

Ох ты, яблочко,
Ананасное,
К ногтю белого,
К ногтю красного...

— Так, что ли? — спросил он.

— Во, во! — обрадованно просветлел мужик. — В станице потребиловку расчудесили... Сахар, мыло, свечи, керосин, все народу даром роздали, себе только топоры да хомуты забрали. Хорошая банда, народ уболагодворяет.

Распроцались с мужиком и по распаханному полю напрямик поперли к маячившим вдали тополям. За разговорами и не заметили, как вышли к полотну железной дороги. Совсем рядом, около будки, увидали лакированный с желто-голубым флажком автомобиль.

— Стоп! — зашипел матрос. — Ложись... Штаб ихний, или разведка.

Залегли и, после короткого совещания, прикрываясь насыпью, поползли вперед.

В Максиме кровь стыла, ноги путались, в груди билось большое — в пуд — сердце.

— Вася...

— Чшш...

— Вася, погибель наша...

— Отдала родная? — обернул матрос перекошенное злобой лицо. — Замри.

Подлезли еще ближе.

Васька осмотрел бомбу, вскочил и, подбежав к будке, метнул бомбу в окошко.

Взрыв

треск

пламя

из окна клубами повалил густой дым.

Матрос кинулся к радиатору.

Застучал мотор.

— Вались! — крикнул он Максиму, сам вскочил за руль.

Машина рванула, понеслась в горячем вихре, в кипящей пыли.

Максим от страха и удивления долго не мог ничего выговорить, потом нахлобучил шапку, откинулся на мягком сиденьи и захохотал:

— Почихают... Друг, угостил! Почихают!

Васька, припав к рулю, зорко смотрел на летящую встречу бешеную дорогу. Автомобиль шел ходко, виляя со стороны на сторону.

— Разобьемся?

— Никогда сроду.

— Чего она вихляется? Приструнь ты ее.

— Машина с капризами... Гоночная, фиат.

— Жми.

— Жму... Торопимся, как черти на свадьбу. Почихают, говоришь?

— Шарахнул, до горячего, поди, достало!

Догнали старуху. Она сбежала с дороги и нырнула было в канаву. Матрос затормозил, лихо остановил своего трепещущего катуна.

— Бабка, сюда.

Старуха подошла, кланяясь.

— Куда, бабуня, топаешь?

— Молочка зятю на пашню несу..

— Молоко? — спросил Максим. — Давай.

Он отпил, сколько хотел, матрос dokonчил и, прищуриw лукавый глаз, с напускной строгостью спросил старуху:

— Сколько тебе?

— Да ничего, сынок, кушай на здоровье.

— Ну, на горшок.

Начали расспрашивать ее про дорогу. Она, заплетаясь с перепугу, принялась растолковывать.

— Дорожка ваша, родимые, прямым-прямышенька. Будет вам мост, за мостом Левченков юрт, то-бишь, не юрт, а греческа плантация... Мост, сыночки, в позапрошлом году от грозы сгорел, нету там никакого моста... Стоит при дороге хата казака нашего Петра Кошкина, сам он еще в холерный год помер, а сыны, толсты лбы, казакут... Будет вам колодец при дороге...

— Вижу, бабуха, ты врать здорова, — перебил Васька. — Садись с нами, будешь дорогу показывать.

— Помилосердствуй, касатик. Мати пречистая, зять на пашне дожидается.

— Брось сопеть, — он сгреб старуху в охапку и подал ее Максиму. — Держи!

Машина, прыгая по ухабам, помчалась. Васька знай подкачивал, развивая скорость. Ветер плющил ноздрю, шумел в ушах. По сторонам подобно играющей реке стлалась степь. Пыль буйствовала за ними, как дым пожарища.

Далеко впереди оба увидели чумацкий обоз и не успели еще ничего сообразить, как испуганные взвившиеся на дыбы лошади промелькнули рядом и скрылись в крутящейся пыли.

За бугром блеснул церковный крест.

— Станица, крой мимо.

Васька к рулю — руль отказал. Васька к скоростям — скорости сорваны.

Хаты

улица

куры и утки — в стороны.

Максим крепко держался за борта. Старуха сползла с сиденья на дно кузова и беспрестанно крестилась. Так, на удивление жителям, прокатили они через станицу.

Матрос крутил руль, рвал рычаги, но машина не слушалась и стлалась, как птица в стремительном лете.

— Стой, дура-голова, — взмолился сомлевший от страху Максим. — Лучше пешком пойдем!

— Ты не беспокойся.

Дорога вильнула.

Машина, мотнувшись, чиркнула лакированным крылом о столб и покатились мимо дороги прямо по степи.

— Останови, пожалуйста.

— Чорт ее остановит, не кобыла! — Выказывая полную невозможность духа, Васька выпустил испорченный руль, закурил и повернулся лицом к Максиму. — Горючий выкачается, сама встанет.

В стороне показался и пропал хутор, немного погодя.— другой. Машину валяло с боку на бок, из-под колес выметывались комья черствой земли.

Пересекли распаханное поле. На меже, упустив лошадей, стоял босой старик. От удивления он не в силах был поднять руки, чтоб перекреститься.

С большого разгона, ухнув, в широком веере брызг перелетели мелкую речушку. По глазам хмыстнули метелки камыша.

Донесся разорванный собачий лай. Впереди качнулся курган, за курганом шарахнулась потревоженная отара, и навстречу, вырастая в угрозу, начала быстро надвигаться новая станица.

Машина, сбочившись, промызгнула по косогору. Невдалеке, раскинув сухие руки, проплыли кладбищенские кресты. Под напором силы прущей рушились жердяные изгороди. Плетень был повален с сухим треском. В передних шинах спустили камеры. Автомобиль, оставляя рубчатый след на глубоких грядах огорода, замедлил ход, уткнулся мордой в глиняную стену хаты: от резкого толчка из навесной рамы вылетело зеркальное стекло, с Васьки слетела фуражка.

Выпрыгнули оба враз. Нехлыстанные ветром лица их были черны, а глаза полны дикого блеска.

— Номер! — скрипуче засмеялся матрос.

Максим облегченно выругался.

Из двора в огород заглянула девчонка, и, взвизгнув, пропала. Потом появился косматый мужик с винтовкой в руках. Увидав автомобиль, он стал в оцепенении.

— Здравствуй, дядя, — миролюбиво сказал Васька.

— Вы, товарищи, или как вас... чего тут?

— Извиняюсь, — сказал Васька и пошел-было к хозяину.

— Я тебе, туды-т твою, пальну вот в бритый лоб, сразу всю дурь выбью, — он принял на-изготовку и передернул затвором.

— Не смей, — крикнул Максим и вытянул перед собой руки, точно защищаясь. — Мы не с худом...

— Пошто хату тревожите?

— Извиняюсь, — повторил матрос тоном, полным сожаления, — я сам своей голове не рад. Приключился с нами полный оборот хаоса. Ты и сам виноват, зачем хату близко к дороге поставил? За нас, между прочим, ты можешь жестоко ответить. Завтра придут полчане и поставят тебя к стенке, а шкурой твоей, ежели догадаются, обтянут барабан.

Максим, видя, что перебранка грозит им бедою, плечом отодвинул речистого друга и, стараясь придать словам мягкость, обратился к хозяину:

— Почтенный, какое вашей станице название будет?

— А вы сами откуда? — попятился тот.

— Мы из города Кокуя, — сказал матрос и разразился похабной приговоркой, такой кудреватой да складной, что по угрюмой роже

мужика скользнуло подобие усмешки. Только сейчас он заметил, что гости безоружны, и опустил винтовку.

— Какая у вас, позвольте, в станице власть будет, кадетская или большевистская?

— Мы сами по себе.

— А все-таки?

— Я из-под Эрзерума недавно возвратился и порядков здешних не знаю.

— Какой части?

Фронтоник затверженно назвал номер корпуса, дивизии и своего полка.

— 132-го Стрелкового? — обрадовался Максим. — Да-к, боже ж ты мой, я сам солдат турецких фронтов... Под Мамахутуном полк ваш, ежели помните, резервом к нашему стоял, потом к левому флангу примкнул... Да-к я ж и комитетского председателя вашего, ну его к чорту, дай бог памяти... Серомаха знавал.

Мужик перехватил винтовку в левую руку, а правую — жесткую и корявую, как скребница — протянул сперва Максиму, потом Ваське.

— Честь имею... Лука Варенюк.

Тем временем на огород со всего курмыша набежали люди. Первыми прискакали востроглазые мальчишки, за ними — лускающие подсолнушки бабы, приплелся поглазеть на диво и старый казак Дырkach.

Васька отжал хозяина в сторону и, играя карим с веселой искрой глазом, сказал:

— Купи.

— Кого?

— Автомобиль.

— Шутишь?

— Никак нет.

— На што он мне?

— На базар ездить будешь, в гости к своякам, а когда вздумашь, и бабу покатаешь.

— Ты его откуда добыл?

— Угадай.

— У комиссара угнал?

— Никак нет, у гайдамаков отвоевал.

— Ей, эдакой чертовинной, править надо уметь! — усмехнулся Варенюк и почесал поясницу.

— А мы, ты думаешь, умеем? Да ведь доехали! Плохо ли, хорошо ли, а доехали!.. — Увлечшись своей мимолетной выдумкой, матрос подвел его к машине. — Хитрости тут, доложу я тебе, мало. Гляди, вот эту штуковину подвернуть, этот рычажок поддернуть — и пошла-поехала.

На Ваську во все глаза смотрели бабы и понимающе качали головами. Дырkach подогом поколотил по шине и сказал:

— Колеса одни чего стоят, чистая резина... Эдаки колеса да под бричку, картина...

— Картина первый сорт, — подтвердил матрос.

— А чего же вы, товарищи или как вас там, не по дороге ехали?

— Мы-то? Мы, милый человек, сами с злого похмелья. Нас тетка везла, она и напутала. Э, мать, жива?

Из-под сидений раком выползла и, озираясь, поднялась старуха.

Мальчишки запрыгали от удовольствия, бабы ахнули и теснее обступили машину.

— Господи Иусе, — закрестилась старуха. — Где я?

— Купи, — рассмеялся Васька, — совсем и со старухой. Задешево отдам!

— Ратуйте, православные! — завопила та, и, задрав юбки, полезла через борт. — Продает, как мешок кукурузы.

— Мешок, не мешок, а полмешка стоишь.

— Штоб у тебя, у беса, язык отсох... Православные, далеко ль до станции Деревянковской?

Толпа развеселилась:

— Слыхом не слыхали.

— Куда тебя занесло, матушка?

— До Деревянковской, — усмехнулся в бороду Дыркач, — до Деревянковской, баба, верстов сто с гаком наберется.

— Батюшки, царица небесная, завезли окаянные... Зять-то меня на пашне заждался.

— Не кричи, — строго сказал Васька. — Куда тебе торопиться? Дойдешь потихоньку.

— Кобель полосатый, — наступала она, распутив когти. — Зенки твои бесстыжие выдеру.

Оробевший Васька пятился... Потом он протянул старухе пучагу мятых керенок:

— Получай за храбрость. Купи козу, садись верхом и скачи домой.

Восхищенные матросским острословием завизжали мальчишки, закатывая под лоб глаза, довольным смехом рассмеялись бабы, и старый казак Дыркач залился кудахтающим смешком, точно мучительной икотой...

Варенюк обошел машину, пощупал кожаные подушки сиденья, поковырял ногтем шину и пригласил гостей в хату, а остальным сказал:

— Разойдись, добрые соседюшки... Люди притомились с дороги, пора им отдых дать.

— Сколько хотите взять? — спросил Варенюк, останавливаясь перед входом в хату.

— А сколько тебе, односум, не жалко? — в свою очередь спросил Максим, принимавший весь торг за шутку.

— Нет, — шагнул хозяин через порог, — вы скажите свою цену.

Оставшись ненадолго наедине, Максим с Васькой схлестнулись спорить. Максим домогался поскорее пробираться в город, заявить об автомобиле совету, разыскать свой отряд. Васька настаивал на том, чтобы задержаться в станице на несколько дней, — ему хотелось отдохнуть, погулять и вволю выспаться.

Варенюк возвратился с самогонкой. За столом, уставленным закусками, он долго еще рядился с моряком и, наконец, срядился. За автомобиль хозяин брался поить обоих гостей допьяна и кормить доотвала столько времени, сколько они пожелают, после чего обещался отвезти их на станцию, до которой было верст пятнадцать.

Ударили по рукам.

Хозяин заколол поросенка, засадил в баню за самогонный аппарат дочь Парасю, сыну Паньку приказал подтаскивать сестре ржаную муку, жена растопила печь и занялась стряпней.

В задушевной беседе они скоротали остаток дня, а когда наступил вечер—ярко запылала лампа-молния, на столе появилось жареное и вареное, по настоянию Васьки хозяин пригласил двух вдовушек, закрыл уличные ставни на железные болты, запер ворота, и веселье началось.

Васька краснословил без умолку. Шутки-прибаутки сыпались из него, как искры из пышущего горна. Максим с Варенюком пустились в воспоминания фронтовой жизни. Вдовушки на приволье разошлись во-всю. Подперев разгасившиеся щеки могучими руками, пронзительными голосами они распевали песни о радостях и горестях любви. Моряк, не переносящий бабьего визга, затыкал певуньям рты то кусками жареной поросятины, то поцелуями. В танцах он завертел, умаял вдовушек до упаду, потом вручил одной гребешок, другой — сковороду:

— Играй, бабы! Сыпь, молодки! Без музыки в меня пища не лезет.

Давно спала задавленная ночью станица; давно хозяйка, выметав из печи все до последнего коржа, забрала ребятишек и ушла в чулан спать; давно угоревшую от самогонного чада Парасю сменила сестра Ганка; давно заморился таскать мешки Панько, и давно уже, сунув шапку под голову, спал на лавке Максим, а Васька все еще пожирал поросятину, бросая кости грызущимся у порога собакам; все еще плясал, выкомаривая замысловатые коленца; все еще глохтил, расплескивая по волосатой груди, самогонку — аппарат не поспевал за ним: за ночь хозяин, проклиная белый свет, два раза разматывал гаманок и посылал Паньку в шинок. Бабы осипли от смеху — матрос или лапал их за самые нежные места, или рассказывал что-нибудь потешное. И только под утро, высосав досуха последнюю бутылку, изжевав и расплевав последнюю ногу полупудового поросенка, Васька в последний раз на выпясе топнул с такой удалью, что из лопнувшего щиблета выщелкнулись сразу все пять обросших грязными ногтями пальцев...

— Баста! Спать, старухи!

Пьяненькие вдовушки набросили на головы ковровые полушалки...

— Куда? — спросил матрос, сыто рыгнув.

— Спасибо за компанию, пора и честь знать.

— Ах, оставьте. Эти песни соловьиные слышал я однажды в тихую зимнюю ночь.

— Нет уж мы, пожалуй, лучше пойдем, — сказала одна, оглядывая себя через плечо в зеркало.

— Пойдем, Груняшка, — как эхо отозвалась другая. — Все мужчины подлецы.

— Птички, — нежно глядя на них, сказал Васька. — Серый волк вас там сгребет, и достанутся мне одни горькие рыдания... А я по природе парень веселый и плакать не желаю! — Он привернул в лампе свет, втолкнул за перегородку в комнатушку сперва одну, потом другую, зашел за ними сам и, прихлопнув жиденькую дверку, защелкнул крючок.

... Солнце через окно так нагрело Максиму голову, что ему начал сниться какой-то путаный, дурной сон. Бежал будто он по горячей земле, под ногами с жарким треском лопались раскаленные камни. Он поднялся на лавке и, стряхнув сонную одурь, стал прислушиваться... Далеко и близко на разные голоса пересмеивались петухи, залиристо лаяли собаки, над неприбранным столом жужжали мухи. Полон смутной тревоги, он накинул шинель и вышел во двор по нужде.

В вышине разошлась шрапнель. Бродившие по двору куры, распластав крылья, кинулись под сени. На улице послышался топот. Невдалеке кто-то закричал благим матом. Железным боем заклекотал пулемет.

Максим выглянул за ворота.

По улице, точно бурей гонимые, бежали и скакали люди в одном нижнем белье. У иного в руках была винтовка, у иного — седло, за иным волочилась шинель, надетая в один рукав.

Страх сорвал Максима с места.

Он ударился вдоль плетней с такой резвостью, что вскоре начал обгонять других.

Два офицера выкатили из-за угла каменного дома пулемет и, припав за щиток, начали засыпать бегущих смертью.

Улицу вмиг будто выдуло.

На дороге остались убитые и подстреленные.

Максим плечом высадил калитку... Пометавшись по пустынному двору, нырнул в конюшню и зарылся под сено, в колоду.

Скоро слышались резкие, ровно лающие, голоса и звяканье шпор.

Максим чихнул от попавшей в ноздрю сенины, его выволокли из конюшни.

Сизым острым огнем переблестнули штыки.

— Я не здешний! — крикнул Максим, хватаясь за штыки.

Прапорщик Сагайдаров саданул его прикладом в грудь и сказал:

— Сволочь, я тебе покажу...

Максим упал. Это и спасло его — колоть лежачего было и неудобно, и неприятно.

Пленных набрали большую партию и повели расстреливать.

По улице в исключительно беспомощных, присущих только мертвым позах валялись убитые. Раненые расплзались под заборы. Кровью было смочено их заношенное белье, сверкающая кровь свертывалась в пыли.

В станицу вступал обоз.

На рессорной бричке, вольно распахнув светло-серую шинель, сидел ссутулившись седой полковник, пепельное лицо которого показалось Максиму знакомым... Еще не припомнив, где его мог видеть, он разорвал кольцо конвоя и кинулся к старику:

— Ваше... заступитесь!

Неожиданность испугала полковника. Он откинулся на сиденьи и крикнул, как селезень:

— Ак? Что такое?

— Ваше высоко...

Кучер остановил.

— Что такое? — старик запрокинул голову и оглядел солдата.— Откуда ты меня, это самое, знаешь?

— Так точно, признаю, ваше высокоблагородие, господин полковник.

— Кто такой?

— К Тифлису в одном поезде и в одном вагоне ехали... Я еще вашему высокоблагородию чулки шерстяные подарил.

Старик опустил голову и задумался.

Максим стоял, вцепившись в передок брички. Штык справа и штык слева касались его ребер.

Полковник так долго думал, что Сагайдаров осмелился и нетерпеливо кашлянул:

— Прикажите вести?

— Ак?.. Вспомнил, вспомнил каналью... Старший по конвою! Оставьте солдата мне, я его, это самое, лично допрошу. Захвачен с оружием? Нет? Отлично.

Кучер хлестнул по лошадям. Максим, держась одной рукой за крыло брички, побежал вслед.

Остановились перед зданием школы.

Максим с большой расторопностью принялся распрягать лошадей, при чем каждую из них награждал такими ласковыми именами, которые не часто доводилось слышать от него и жене Васене. Потом он поставил лошадей под навес, навалил им сена, перетаскал с возов в дом чемоданы и, покончив все дела, явился к полковнику, который сидел в классной комнате за партой и разбирал бумаги.

— Большевик, сукин сын? С нами, это самое, воюешь?

— Никак нет, ваше высоблагородие, я не здешний.

— Как же сюда попал? Большевик, каналья?

— Никак нет, ваше-ство, корову приехал покупать.

Полковник наклонил голову так низко, что нос его почти касался исписанных лиловыми чернилами ведомостей. Он вздохнул, пожевал серыми и тонкими, как бечева, губами:

— Помню твою услугу, помню... Солдатики, суконные рыла, насолили мне тогда крепко... Пожалуй, они меня и укокошили бы? А?

— Так точно, ваше высокоблагородие, разбалованный народ.

— Как пить дать, укокошили бы, мерзавцы.—Он смахнул слезинку, высморкался на пол и взглянул солдату в глаза. — Ты, братец, желаешь, это самое, послужить родине?

— Рад стараться, ваше-ство, службу люблю.

— Отлично. С сего числа зачисляю тебя на довольствие и прикомандировываю ездовым в обоз второго разряда. Разыщи на дворе подхорунжего Трофимова и с моего разрешения попроси у него шинель с погонами и ефрейторские нашивки.

— Слушаю, ваше...

— Да, это самое, раздобудь-ка мне кислого молока... Здесь покушать и с собой в дорогу возьмем.

— Рад стараться, ваше высокоблагородие, доставлю!

Старик дал ему на молоко керенку и отпустил, оставшись весьма довольным молодецкой выправкой старого солдата.

Максим нашел во дворе подхорунжего, наскоро переоделся и со всех ног бросился по улице, держа направление к знакомой хате.

В воротах его встретила плачущая хозяйка и ахнула:

— Батюшки, в погонах?

— У нас это просто, — весело отозвался он и покосился на окна.— Я тут знакомого генерала встретил. А к вам заехал кто-нибудь?

— Бог миловал.

Максим смело вошел во двор.

Варенюк под сараем забрасывал автомобиль соломой. Увидав гостя, он бросил вилы и подошел:

— Беда... Не дай бог...Комиссар, скажут, спалят.

— Ты бы заступился, милостивец, — зашептала баба. — Куда ее девать, под подол не спрячешь...

— Будьте спокойны, — ответил Максим. — Скоро выступаем. Где мой товарищ?

— Забери ты его, матершинника, Христа ради. — Баба вошла в хату и остановилась перед печью. — Найдут его кадеты и нас на дым пустят.

— Будет тебе вопить,—прикрикнул на нее сам.—Придержи язык.

— Где он? — спросил Максим в недоумении, оглядывая пустую хату.

— В трубу, сердешный, забился.

— Куда?

— Вона куда,—показала хозяйка.

Максим, изогнувшись, заглянул под чело печки, но ничего не увидел.

— Вася, — зашипел он. — Где ты, друг?

— Братишка... (Матюк.) Отогнали белокопытых? (Матюк.) — Глухо, как из могилы, отозвался Васька, и в густом потоке сажии на шесток опустились его босые ноги.

— Лезь назад, — сказал Максим. — Я в плен попался и бегаю вот, ищу кислого молока, но ты, Вася, во мне не сомневайся.

— Какого молока? (Матюк.)

— Лезь выше, Христом-богом прошу, лезь выше. Скоро выстушаем. До свиданья. — Он потряс друга за пятку и выбежал из хаты.

Возвращался Максим, обняв горшки, и, боясь упасть, вышагивал, как журавль, высоко поднимая ноги.

Стрелковые части, передохнув и закусив, уходили на станицу, в просторы степей. В полдень выступил обоз. Максим сидел на возу на горячих хлебах, во всю глотку орал на лошадей и нещадно нахлестывал их витым кнутом.

Армия втянулась в поход.

О России и об идеях говорили только штабные да обозники. Стрелковые части были целиком поглощены мелочами боевой жизни: кто пойдет в голове, кто в хвосте; когда и где удастся отдохнуть и выстирать белье; будет ли на привале горячая пища; по сколько выдадут патронов? Самые беспечные умудрялись заводить романы с беженками, сестрами или с молодимицами на коротких стоянках.

Николай уже командовал взводом. Его возвращение в строй было скромно отпраздновано в тесном кругу соратников.

Корниловский полк был молод и хотя историю свою вел с империалистической войны, но по-настоящему сформировался только на Дону под большевистским огнем: выведенный с австрийского фронта кадровый состав полка почти целиком погиб при переходе через Украину и в боях за Ростов и Новочеркасск. Ставленник и любимец Корнилова—молодой полковник Неженцев—за самое короткое время сумел подобрать себе образцовый комсостав, при содействии которого полк и был сколочен в железный кулак. Всем, от мала до велика, было внушено, что Корниловский полк—лучший полк. В этом духе воспитывались и пополнения. Новичок за какую-нибудь неделю службы настолько сживался со «старичками», что его невозможно было сманить в другую часть даже обещанием повышения в чине. В армии был привит и всеми мерами раздувался дух соперничества. I-й офицерский полк с завистью следил за молодецкими действиями юнкеров, студенты соревновались в ратных доблестях с гимназистами, марковцы упорно оспаривали первенство у корниловцев. За выполнением каждой боевой задачи следили не только прямые начальники, но и все добровольные

соискатели славы: сохрани бог, ежели дружный хор этих строгих критиков уличал кого в том, что они «петрушку показывают».

Полку на выучку были приданы несколько юнцов. Они несли главным образом разведывательную и сторожевую службу, хотя не уклонялись и от боев. Во взвод Николая достался расторопный гимназист Щеглов и оправившийся после ранения кадет Юрий Чернявский. Последний особенно привязался к своему командиру и не отходил от него ни на шаг. Он перенял от офицера манеру носить фуражку, щурить глаз на дым папиросы, старался подражать ему в походке и разговоре; на досуге с налетцем удалства посвящал взводного в свои сердечные дела или упрашивал рассказать о подвигах. Николай любил его слушать, потому что видел в нем себя в более счастливую пору жизни.

Они сдружились.

Чернявский, левофланговый первой шеренги, шагал в ногу со взводным и негромко расспрашивал:

— Николай Александрович, возможно ли так отличиться, чтоб сразу получить Георгии всех степеней?

— А тебе очень хочется отличиться?

— Ну да.

— Какой же подвиг свершить ты намерен?

— Не знаю... Горю желанием доказать свою любовь России и заслужить вашу похвалу. Ну, я могу первым броситься на штурм большевистской крепости, или, если представится случай, — клянусь! — не пожалею взорвать целый поезд с комиссарами.

Николай смеялся и рассказывал об уставе наград.

Кадет хмурился:

— Мало в нашем походе героического... Грязная работа, вши, недоеданье, недосыпанье, да что там, у меня ноги посбились до мослов... Я не такую представлял войну, совершенно не такую.

Он говорил правду.

В боевой страде было мало разнообразия... Серая степь, курганы, по горизонту маячили охранительные раз'езды. Потом — стрельба, в частях — движение, в обозе — паника. Навстречу колоннам, пришпоривая коней, мчалась разведка, к свите командующего подлетал конник.

— Ваше превосходительство... Станица... Два полка противника... Легкая батарея...

Хмурый Корнилов, не поднимая глаз, перебивал:

— Выбить.

Скакали картинные ординарцы. Командиры, откозыряв, бежали строить полки для атаки.

Станица встречала освободителей хлебом-солью и колокольным звоном. Бабы разводили по хатам и отпаивали молоком раскрасневшихся от волнения людей. На площади кто-нибудь из начальства, чаще всего Корнилов или Алексеев, говорили станичникам краткую речь,

после чего тут же, перед общим сбором, бородатые казаки пороли провинившихся сыновей и внуков, потом победители наскоро под музыку хоронили своих убитых и, переночевав, выступали.

Опять степь, курганы, пыль, духота.

— Ваше превосходительство, впереди станица, справа хутор, замечено скопление большевиков...

— Выбить.

Прямая цель была близка. До Екатеринодара оставалось не больше четырех переходов — там отдых и подготовка к дальнейшей борьбе. К начальствующему над войсками Кубанской рады, штабс-капитану Покровскому, была выслана разведка с приказом командующего: «Держать город».

Армия сбивала по пути плохо организованные отряды противника и решительно продвигалась вперед.

Под станицей Кореновской победное шествие неожиданно затормозилось.

Красное командование выставило на защиту станицы отборные отряды фронтовиков и горящую отвагой молодежь.

Бой загрохотал с раннего утра.

Фронт развернулся от станицы на обе стороны. Пальба сливалась в сплошной гул, заглушала крики команды. Тысячи людей летели в круг смерти, как щепки в пламя. В строю никто не осознавал беспрерывности огневой линии, — человек ловил на мушку человека, рота выглядывала перед собой противную роту и, сосредоточивая на ней все внимание, стремилась с предельной скоростью уничтожить ее.

Корниловцы цепями двигались вдоль полотна железной дороги, имея справа от себя юнкеров и слева — офицерский Марковский полк. Марковцы, пользуясь неровностями поля, дружно наступали, заламывая фланг красных. Казалось, еще момент и — решительный удар во фланг, выход в тыл красным... Бронепоезда во-время заметили опасность и перекинули на офицеров ураганный огонь.

Марковский и Корниловский полки дрогнули, начали пятиться... Тогда на бугре показался, четко вырисовываясь на фоне синего неба, командующий, окруженный штабными генералами и конвоем текинцев. Отступавшие быстро оправились и — в рост, не сгибаясь — пошли вперед.

Стреляя непрерывно, цепи сблизилась сажень на сорок и залегли. Бронепоезда вынуждены были прекратить огонь.

Николай со взводом лежал в передовой цепи. Вдавлив грудь в землю и спрятав голову за кочку, он вдыхал горячий приторный запах полыни. Встречный пулемет широким веером сыпал на сухую землю крепкий град: глаза запорашивало пылью, за отторбученный ворот гимнастерки брызгал песок, точно кто стоял впереди и поплеывал колючими плевками. Бок-о-бок со взводным лежал кадет и немного подальше — Казимир. Низко, как тень, промелькнул — или Николаю показалось, что промелькнул — снаряд: вихрем взметнуло волосы на голове, он догадался, что фуражка потеряна.

Казимир охнул.

Николай, не поднимая головы, скосил глаза в его сторону и увидел, как тонкие слабеющие пальцы распрямлялись на прикладе.

— Убит? — окликнул он.

— Нет, в плечо, — еле слышно пошевелил Казимир побелевшими губами и выругался.

От больших перебежек и волнения люди задыхались, а потому, когда была подана команда: —

— Приготовсь к атаке...

И с другой стороны:

— Цепь, вперед!

— цепи поднялись молча в один и тот же миг.

Стрельба захлебнулась.

С винтовками на-перевес, на ходу подравниваясь для удара, цепи сближались в холодном блеске штыков.

Николай видел перед собой парней в городских пиджаках, солдат в распахнутых шинелях, на открытых грудях моряков различал густую татуировку. Глаза у всех были круглы, зубы оскалены, немые рты сведены судорогой.

Минута равновесия...

В штыковой атаке секрет победы — кто лучше сумеет показать штык.

Офицеры показали штык тверже.

Красные откачнулись, побежали... Лишь матросня и немногие старые солдаты приняли удар.

Все перемешались, как стая грызущихся собак. У кого не было штыка, тот глушил прикладом. Блистали вспышки револьверных выстрелов. Короткие вскрики мешались с рычанием и отрывистыми словами ругательств. Низенький коренастый матрос, поддевая на штык, кидал офицеров через себя, точно снопы.

Николай участвовал в рукопашной в первый раз, но с задачей справлялся хорошо: колот в два приема, как когда-то на ученье соломенные чучела. Скоро, выбившись из сил, бросил оспливевшую от крови винтовку и принялся стрелять из маузера в согнутые спины, в волосатые затылки.

Издали покатились, нарастая, крики:

— Кавалерия!.. Давай, дава-а-ай!..

С пригорка, развернувшись и оставляя за собой завесу пыли, карьером спускалась сотня Кочубея. Кони, приложив уши и распластавшись, летели, точно не касаясь земли. Всадники лежали на шеях коней, полы черкесок бились над ними, как черные крылья, а выкинутые над головами шашки сверкали, подобны гневу.

— Огонь!.. По кавалерии!..

Молодой Кочубей, повернувшись к своим казакам, пронзительным голосом завизжал:

— Рубай с намёту!

— И первым ворвался в гущу офицеров, работая тяжелой дедовской шашкой.

Глухое:

— Ура...

ааа-аа...

Хлёт и хряск, стон и взвизг стали, скользнувшей по кости.

Роты офицерские, построившись ежиком, поспешно отбегали, расстреливая последние патроны, теряя раненых и убитых. Один отбившийся взвод марковцев был затоптан конями и вырублен начисто.

Сражение перекинулось в центр.

Из-за станицы в разрывах ветра доносился слитный барабанный бой и хватающие за сердце резкие рожки горнистов, играющих атаку. Юнкера дважды врывались в улицу, но оба раза были с треском выставлены, и лишь после полудня объединенным ударом станица была взята.

По степи—разметаны расстрелянные гильзы, патронташи, осколки стали, грязные портянки, окровавленные тряпки и скрюченные остывшие трупы.

В станице несколько домов были переполнены ранеными. В раскрытые окна неслись крики и рыдания наспех без хлороформа оперируемых. Врачей и сестер не хватало.

Николай разыскал друга. Переодетый в чистое белье, Казимир лежал, утопая в перине. У изголовья плакала, надвинув на глаза белую косынку, Варюша.

— В кость? В мякоть?

— Пустяки, не беспокойся, — прошептал раненый и скривил губы в усмешке.

Николай поклонился Варюше.

— Пуля попала ниже ключицы, — с скорбной улыбкой сказала она, — задела верхушку легкого и вышла под лопатку.

— Вчера — я, сегодня — он, мы поменялись ролями.

Два казака внесли и положили на пол храпящего в беспамятстве есаула. Одно его ухо вместе с лоскутом щеки было ссечено, из обрывка рукава торчала сочащаяся алой кровью, отхваченная выше локтя, рука: от линии обруба кожа вздернулась на полвершка, осколки белой кости были обнажены. Варюша оправила косынку и, подойдя к искалеченному есаулу, принялась его перевязывать.

Николай рассказал о заключительных сценах атаки.

— Значительны ли наши потери? — спросил раненый.

— Весьма. Еще несколько таких боев, и от армии останутся рожки да ножки. Нелепость положения в том, что, связанные обозом, мы лишены возможности маневрировать. У нас нет тыла. Мы во что бы то ни стало должны все время побеждать, — даже один единственный проигранный бой явится для всех нас гибелью, поголовным уничтожением.

— Дурная игра...

— Да, шансы на выигрыш призрачны... Но что же делать? Необходимость толкает продолжать игру до последнего патрона. Судьбе, видимо, угодно за горе и позор России расплатиться нашими головами...

Долго молчали.

Желая развлечь друга, Николай снова возвратился к описанию атаки:

— Летит, понимаешь, и прямо на меня. Борода—во! Пасть—во! Глаза по кулаку, через щеку рубец... Я ему прямо в морду щелк, щелк... Что за чорт, думаю, осечка? Щелк, щелк, ну — пропал, конец... И только уже после боя сообразил, что в маузере-то у меня ни одного патрона не оставалось. Спасибо этому моему Санчо-Панчо Чернявскому, ссадил разбойника, а то бы... — Свистнул, и радостная дрожь брызнула по спине.

Казимир спал, сжав поблекшие губы.

Подошел молодой врач. Дряблое лицо его было мокро от пота.

— Доктор, ради бога, как поручик?

— Ерунда, через две недели поставлю на ноги.

Николай крепко пожал ему клейкую от крови руку.

Еще накануне штаб имел тревожные сведения об Екатеринодаре. В Кореновской было получено достоверное сообщение о том, что Кубанская рада и ее ставленник Покровский без давления большевиков покинули город и ушли за Кубань в горы.

Ошеломляющая весть взбесила одних, угнетающе подействовала на других. Рухнула надежда на отдых и на изменение общей обстановки в более благоприятную сторону. Продвижение вперед теряло всякий смысл: если бы город и удалось захватить, то с имеющимися силами его невозможно было удержать.

Гонимая страхом армия повернула на юг, прорвала кольцо красных под Усть-Лабинской, проскочила через Кубань и сожгла за собой все переправы.

(Продолжение следует)

Фантастические мечты

Р а с с к а з

ЛЕОНИД ЗАВАДОВСКИЙ

М артовское солнце каждый день выливалось на белую реку и на темную тайгу столько золотого огня, что, казалось, вот-вот все вокруг растопится, польется, и зима исчезнет, как кусок ледяшки в кипящем котле. Но это был обычный обман, к которому Вилкин привык уже за три года своей жизни на Лене. Солнце льется, дни сверкают, а снег твердеет и твердеет все пуще, и по ночам на синем небе искрятся морозные зимние звезды. Хотелось весны настоящей, с водой и зеленью, но ни за какие бы деньги он не согласился, чтобы она наступила, миновав лучшую охотничью пору, когда наст, готовый для лыж, облитый режущим глаза фаянсом, манит бежать по падям и хребтам. Хозяин, чалдон Иннокентий, возится второй день под сараем: раскалывает еловые плахи, тешет, строгает и, воткнув в щель меж бревен сруба тоненькие дощечки — будущие лыжи, — подогревая заостренные концы пылающей лучиной, загибает ровно настолько, чтобы они потом не лезли в снег, а плыли, как лодочки, пбверху. Собаки сделались безумными, то и дело выбегают на угор, катаются на твердом снегу и с тоской вскидывают морды на каждого проходящего мимо. Ничего похожего на почтово-телеграфную контору со столиками, испачканными синими и красными чернилами, заваленными письмами, казенными пакетами, квитанционными книгами,

— Ну, как, Иннокентий, когда двинемся, — приставал Вилкин к хозяину, — кажется, пора уже?

Наконец, чалдон, не отвечая прямо на вопрос, будто продолжая давно начатый разговор, посмотрел равнодушно на заплот и сказал:

— Шучку свою, однако, паря, не бери, кобельков испортит на следу, ходу имям не даст.—И в вопросительный взгляд добавил:— Гоняться хочет, осенись, поди, не гуляла, на привязке продержал или в горнице. Свое хочет взять, ты ей не хозяин в этом, повыше нас есть, наблюдает за порядком. А то мы все по-своему ладим: то щенят нам не надо, то ребят не надо.

Вилкин удивился; Иннокентий как в воду глядел: Веста, черная лайка, действительно жила с самых первых морозов с ним в комнатке, даже спала на кровати, в ногах; и тоже правда: он не хотел, чтобы у нее были щенята, не любил, когда собака волочит брюхо и теряет свой ловкий поджарый вид. Да и некогда возиться со ценной сукой занятому с утра до ночи человеку,—пусть кто-нибудь разводит псарню.

От простого охотничьего разговора Вилкин вдруг насупился, в голове зашевелились мысли, которых он не хотел здесь в деревушке, в месячном отпуску для отдыха, для точки над запутанной историей с Мариной. Довольно! По крайней мере, хоть на месяц. Но мысль уже зацепилась и пошла разматываться. Из-за чего все это вышло? Смешно! Что эта девчонка воображает о себе? Вихляется, дергает плечами, остриглась, как мальчишка; кто это прозвал ее красавицей?—Ничего подобного! Да, безусловно, она будет красива, когда чуть пополнеет, оденется по-настоящему, ходить станет прямее, оставит привычку размахивать руками, одним словом, — когда перестанет задаваться. Не следовало бы, конечно, обращать внимание и портить пустяками себе нервы, но ведь надо же когда-нибудь показать ей, что не очень-то нуждаются в ней, пусть не налезает на ссору. В чем дело! Взял собаку у жены завконта, своего непосредственного начальника, что же в этом особенного? Не раз уже поднимался разговор об этой собаке, вопрос исчерпан, и почему именно, когда приехал новый начальник милиции, надо было снова поднять это глупое дело? Можно было и без собаки, в чем дело, никто против не имеет. Прилепилась к форменной шинели и воображает, что за ней побегут. Нет, ошиблись, номер не прошел!

— Так, значит, вопрос решен, — сказал Вилкин, — завтра движем в тайгу?

Иннокентий, не спеша, поставил распорку, чтоб лыжа не разогнулась, старательно затоптал в снег лучину, вынул трубку изо рта и сплюнул.

— Стало-быть, так. Люди собираются, камас приходили спрашивали, мы от людей не отстанем.

Весь вечер Вилкин готовился в поход, заряжал в патроны круглые пули, смазывал их салом и то и дело отрывался, искал для хозяина то свинца, то картечи в своем деревянном, выкрашенном масляной краской, красноармейском сундучке. Выходили вместе на двор и глядели на небо: оно было прозрачным и звездным, таким, каким и должно быть перед сохатиной охотой.

— Постоит, — говорил Вилкин, — погоняемся в свое удовольствие.

Хозяин молчал, после каждого слова квартиранта тихонько сплевывал через правое плечо и спешил уйти в дом. В охотничьих делах он был суеверен, как баба.

Рано утром, еще до свету, хозяйка достала из жарко истопленной печки пшеничные шаньги, намазала их топленным маслом, потом

сметаной, и целой горой подала на стол. После завтрака охотники перебрали снова в понягах — все ли взяли, туго подтянули животы ременными поясами и вышли на крыльцо. Собаки с вечера были привязаны к заплоту, чтобы грехом не пришлось искать их утром; завидев хозяина с ружьем, подняли такой брех и вой, точно их собрались давить. Отпущенные с веревок, почувствовав на целую ночь отнятую свободу, как угорелые, понеслись вперед, хватая на бегу снег. Из деревни доносился отчаянный лай Весты, запертой в амбаре.

— Эх, глотка у шучки, как ревет, добрая собака, а взять нельзя, — сожалел Иннокентий. — Поштначальника баба, слышал, подарила? Из Якутского города привезла с собой, а вот не пожалела. — Глаза его лукаво сощурились. — Поди поработал за собаку, угрелся? Вы, паря, почтовые, всех баб у нас переберете. Энта тоненькая, стриженная, агрономова дочка, слышал, Коське телеграфисту досталась? Зимусь наши дехки и то за вас друг дружке волосья повыдергали. И чего делят, хватит на всех: получила и беги, ищи норю для вывода.

— Это вопрос относительный об Коське, неизвестность формальная. — Вилкин отстал от чалдона и, идя по его лыжнице, свел разговор на охоту:—Долго следа что-то нету, видно, сразу табун целый поднимем. Где-нибудь, сошлись, не иначе, ты как трактуешь по этому вопросу?—Вилкин любил употребить малопонятное слово и привык к этому настолько, что не мог выразить простой мысли без фокуса.—Моя реализация—пойти вот прямо по распадку, не иначе в вершине окопались. Мы бы их там враз оккупировали.

Наступила пора отмалчиваться Иннокентию. Он нахмурился, старательно нажимал на лыжи, чтобы обкатать новый камас, и ворчал, косясь недовольными глазами вдоль узкой пади с отвесными краями, обнесенными зубчатыми стенами из сосняка.

— Не заглядывай, паря, до ночи пробегашь, проищешь, не токмо сохатого — бёлки не увидишь. Бывало по-всякому, по неделе хаживали — шерстинки не видали на снегу, его не привяжешь к сосне длинным языком.

На остановке похлебали кирпичного, черного, как деготь, чаю и снова зашуршали лыжами по снегу. Иннокентий ссутулился, катился ровно, плавно, словно лыжи его сами плыли под ним и без его участия и старания огибали тонкие пригнутые снегом ветки, образовавшие предательские петли, вносили на хребты, спускали в крутые пады, а он лишь попыхивал трубкой, в которую то и дело досыпал махорки, черпая прямо из кисета, как гарнцем из мешка. Вилкин, длинный и прямой, по-солдатски раскачивал руками и казался некстати забредшим в тайгу: парню прогуливаться бы по селу и дразнить девах бобриковым пиджаком и двустволкой. Иннокентий в прошлом году охотился с ним и знал его ухватку лезть, как не надо, на пролом в хребет и бросаться очертя голову по чаще вниз без посошка, словно у него не одна, а две головы и обе крепче листвен-

ничного комля. Так и ищет, обо что разгокать свой орех или поломать ноги. В бритом молодом лице его Иннокентий улавливал признаки постороннего беспокойства, никакого отношения не имеющего к охоте: полчаса будет бежать возле следа — не заметит. Скосив глаза на пузыристые синие галифе, на длинные ноги, швыряющие лыжи на целую сажень вперед, он старался обуздать охотника.

— Не пори горячку, паря, не пори. Какой случай выйдет — не дай бог — как тебя такого добывать из тайги,—ни на себе, ни на коне. Мало пользы, что вперед уйдешь: не узнаешь, где охота ожидает, может, от нее безыс.

Вечер наступал медленно, неохотно. Длинные тени деревьев, будто бесчисленные синие тропы, протянулись в гору, лимонно-холодное солнце поплыло по чаще, золотя черные ветви, небо вверху стало зеленым и мерзлым. Иннокентий окликнул убежавшего далеко Вилкина и, словно заканчивая свою давешнюю мысль, ни с того, ни с сего проворчал:

— А если агрономовскую тоненькую хочес догнать, — не туда гонишь, поворачивай взапятки, ее тут нету!

Тот со злостью сбросил поняжку с плеч и скинул с ног лыжи.

— Ну, давай ночевать, я совершенно не имею масштаба в вашей тайге, вот в своих местах, на степях я бы показал тебе, как за козами ходить. — Пристально взгляделся в спокойное лицо чалдона, удивляясь его прозорливости, и понял, что, действительно, бежит своими мыслями не за лосями, а к девчонке, поэтому так торопятся ноги.

Поднял со снега понягу, всунул ноги в юкши и виновато сказал:

— А, может, удобнее в другом месте ночевать?—пойдем, я ничего не имею.

На хребте выбрали ночлег около сухостоя, раскопали лыжами широкую и глубокую яму в снегу, загородились зеленым заплотом из кедровых ветвей; костер ярко запылал, освещая лица и тонкие лисьи морды собак, присунувшихся на запах хлеба, разогретого на углях. Ближние сосны покрылись инеем, нижние мохнатые ветви задумчиво шевелились, тревожимые горячим воздухом, ноги приятно ныли от трудной ходьбы. Иннокентий разулся, развесил портянки перед огнем и, сидя на мягкой постели, выставил круглые, желтые, как репы, пятки. Вилкин лежал, подперев голову руками, и беспокойно напевал: «Стаканчики граненые стояли на столе, иркутские мещане гуляли в кабаке». Потом долго и однообразно тянул припев: «Нет, нет, ты меня не любишь, нет, нет, жизнь мою погубишь».

— Чо, паря, не спишь, печка плохо топлена? Перед зарей вовсе простынет хата, плясать пойдём с тобой.

— Хорошо на природном воздухе, вот и не спится.

— Не хвались, паря, хорошего не видать; вам, известно, от скуки, а нам в пору бы и не ходить больше. Ноги короче делаются от этой охоты.

Костер разгорался пуще: желтые, зеленые и фиолетовые языки взлизывали до самых ветвей и обдавали нестерпимым жаром. Иннокентий отодвинул постель и повернулся спиной.

— Да, — сказал Вилкин, — мы от жиру бесимся. А ты знаешь, какую я тебе фактичность приведу: я, например, жениться не могу по разряду своей ставки жалованья, а ты трактуешь!

— А зачем тебе жениться. Хозяйства нету, скотины нету, — на ляд тебе заводиться.

— По современной идеализации брака совесть не позволяет поступать.

Вилкин был готов продолжить разговор, чтобы опростаться от напирających мыслей, заворочался и разинул было рот, но услышал ровное сопение мгновенно заснувшего чалдона. Попробовал улечься, но сейчас же снова сел и свернул большущую цыгарку. Выкурил, подвинул в костер обгоревшие концы бревен и опять завернул. И больше не пытался спать: не сопротивляясь, отдался воспоминаниям.

Однажды, в июне месяце, два с половиной года назад, к пристани подвалил почтовый пароход, по палубе, возле самого борта, в тесноте меж пассажиров продиралась к трапу тоненькая барышня в красной косынке с корзиной в руках. Вилкин подтолкнул приятеля, телеграфиста Коську, под локоть, подмигнул и спросил: «Кто это такая к нам на поживу приехала?» Тот, не сказав слова, бросился на пароход и через минуту уже раскланивался с барышней. Отобрал у нее из рук корзину, взвалил на плечи и пошел провожать до дому. Это и была Марина. Абсолютная девчонка! Но тогда же на пароходе уже видно было, что не очень-то девчонские у нее замашки: не прошло недели, она не стесняясь разгуливала с Коськой по улице, раскатывала с ним на лодке, шлялась в лес, со стороны даже казалось, — не он обхаживает ее, а она сама взялась заморочить ему голову. Стоило только полюбоваться на нее: так и прижималась, так и держалась за его руку и не сводила глаз. Коська, действительно, красивый парень, но не могла же она не знать, какое у него убеждение о женской личности. Так продолжалось до самого августа. Видно уже было, — все природное давно совершилось, и Коське больше ничего не надо. Как-то, выходя вместе из конторы, он сказал: «Вилкин, хочешь, я тебя помирю с Маринкой, а то ты с тех самых пор, как она приехала, ни разу слова с ней не сказал? Она обижается на тебя. Помиришь и веди: деваха ничего, а то мне надоело». — «Нос натянула, что ли?» Коська ухмыльнулся: «Вот погуляешь с ней в лес, — увидишь, кто кому натянул». Вечером Коська с Мариной зашли за ним, и втроем отправились в бор за черникой. Зачем его взяли с собой — неизвестно. Как только вошли в лес — отстали, потом свернули с дороги и пропали. Набрал полную корзинку ягоды и дурак-дураком ждал на дороге. Хотел уже уйти один, как вдруг прибежала Марина: в руках у нее была красная косынка, разодранная пополам, половинки были связаны крепким узлом так, что получилась длинная

веревка. Хватала за руку и твердила: «Пойдемте домой, пойдемте поскорее». Стало досадно: из-за какого-то Коськи хотела повеситься. Отнял руку и высказал недовольство: «Если бы я знал, что попаду на драматическую пьесу с декоративным лесом, — ни за что бы не пошел. До свидания». Марина осталась на дороге около невысокой сосны; но, оглянувшись, увидел, как она, подняв голову, пристально глядит на нижний, очень, действительно, удобный сучок, вернулся и проводил до дому.

Через два дня Марина зашла на почту сдать заказное письмо и, получив квитанцию, наклонилась в окошко: «Вы рассердились на меня третьего дня, да?»—«Ничего подобного».—«Пойдемте сегодня в лес, я очень прошу вас».—«Хорошо, только без Коськи». Улыбнулась и сказала, что с такими господами она больше не гуляет. Лишь вошли в лес, схватила опять за руки—какая привычка—и начала гладить их, и впи-лась в глаза: «Вы хороший человек?»—«Не знаю, как для кого».—«Нет, вы хороший, иначе бы я к вам не обратилась». Руки даже горячие и потные стали, а она все крепче тискает их: «Хороший, хороший, хороший. Я знаю, — вы любите меня больше, чем тот, ваш товарищ». Опасаясь какой-то просьбы, которая явно должна последовать за таким вступлением, желая показать себя совершенно равнодушным и посторонним человеком, он отвернулся. Но нельзя же было спрятать ушей, а они, он чувствовал это, горели как после хорошей дерки. «Ну, вот, видите, я узнала, я вас тоже, наверное, люблю». — Оказалось, она беременна и просит переговорить с Коськой. «Если он хочет и согласен быть отцом ребенка, — ребенок будет, а если не согласен, то должен помочь, он так же виноват, как и я».

С Коськой она больше не гуляла до самого отъезда в Иркутск. На рождественские каникулы не приезжала. Приехала опять в июне месяце. Он ждал ее уже с первых чисел, встречал каждый пароход. И в этот день ее приезда, увидев пароход с высокого угора, когда появилась одна труба за мысом, в волнении шагал вокруг бочек, приготовленных к погрузке. В прошлом году Коська, а теперь он, Вилкин, взял корзину из рук Марины и понес по сходам. Для посторонних, может быть, никакой разницы и не виделось в том, что агрономовская Маринка теперь гуляла с новым кавалером, но разница была большая. Конечно, в прошлом году и Вилкин, наверное, не стал бы, как говорится, списываться с ней, но теперь поступить так, как поступил Коська, он не мог. А случаи были, и не один за лето. Марина не скрывала своего расположения; уж одного того было достаточно, что целые вечера, а в праздники весь день с раннего утра проводили вместе. Не раз и в жаркий день и прохладным вечером она сидела около совсем готовая, вся, как на ладони, вздрагивающая и побледневшая, — только прихлопнуть, как комара, но, не решив серьезно вопроса, он не мог дотронуться до нее. Может быть, от этого все недоразумение и произошло? За дурака или вареного рака, наверное, посчитала, обиделась даже, может быть, на халатность—женщины обидчивы на этот счет.

Марина часто говорила: «Я ошиблась, ты не любишь меня ни-сколько, разве любят так?». Отмалчивался, а однажды прямо решил сказать, что жениться не может: «Из одного жалованья и посылать матери с сестрами, и содержать новую семью нет физической силы-возможности, лучше поступить морально и не видаться». — «Глупый ты, глупый, — ответила она, — мне вовсе не нужно твоей женитьбы, мне ни-сколько не досадно на Коську, ведь я не маленькая и знала, зачем мужчина гуляет в лес с женщиной, но противно, что глаза у него стали такими трусливыми, когда он узнал о моей беременности. Он как-будто не знал и не слышал, что бывает у женщины, если она гуляет в лесу». Пристально взгляделась в лицо и добавила: «Если ты такой же, то скажи прямо». Принялся разуверять, но, заметив в глазах ее доверие и радость, — испугался и попытался дать задний ход: «Все дело все-таки в средствах, а то, конечно, почему же не так»...

В сентябре по протекции отца она поступила практиканткой в контору, а в октябре, получив свое первое жалованье, там же в конторе, показывая деньги, сказала: «Теперь у нас два жалованья, но ты можешь не беспокоиться, мне ничего от вас не нужно больше». — «Позвольте, я ничего подобного не понимаю сознательно», — растерялся он, но Марина села за столик и не взглянула. Коська слышал, подморгнул и потихоньку спросил: «Уже?» Было совестно от людей, потому что все слышали, как она обошлась с ним. При выходе Марина пыталась отстать, но он подкараулил ее и скороговоркой выпалил: «Если я такой, по-вашему, то о вас все село знаменитого мнения, каждый знает о вашей свободной физической нравственности».

Январь, февраль, половину марта Вилкин с Мариной не сказали слова. Даже в необходимых случаях по службе старались делать как-нибудь через других. Вся контора потешалась, но, раз на то пошло, — он может выдержать марку! Правда, смешно было, не серьезно как-то, по-мальчишески, были моменты, — вот-вот или она или он расхохотутся, но повернулось всерьез. С этой собакой. Было возмутительно, — неужели Марина серьезно допускала, что у него могло что-нибудь быть с женой завконта, с этой накрашенной куклой! А если он заходил к ним иногда, то неужели не понятно, что не пойти, когда приглашают начальник с женой, неловко. А собаку отдали просто оттого, что им она не нужна, некому за ней глядеть, вечно лижет детишек по губам. Известно, как матери думают о собаках. Почему же он должен был отказаться от такой знаменитой лайки? — Думая об этой последней придирке Марины, Вилкин возмущался больше всего, засовывал руки в карманы и долго искал кисет с табаком.

Наконец, Марина сдалась первая: как-то протянула руку и сказала: «Мы оба виноваты, — мир». Дело было в декабре, на спектакле в клубе. В третьем антракте прибежала из-за кулис без грима, одетая, и пристала во что бы то ни стало пойти в бор сейчас же. Странная фантазия. А если она хотела испытать, насколько сильна ее красота, то вполне ошиблась. Он спросил: «В такой мороз?» Она моментально

закусила губу и отвернулась. «Ну, хорошо, не надо, не надо, я кого-нибудь другого попрошу пойти со мной». И нарочно, чтобы доказать свое, прошла мимо с начальником милиции и кивнула головой: «А мы в лес пошли, Вилкин, не хотите с нами в компанию?» Он торопливо вскочил со скамьи и громко сказал вслед: «Да, сегодня лунное сияние и ночь любви и откровений, только вдвоем, а не с посторонними лицами!».

Костер перестал пылать, со всех сторон стало зябнуть тело, надо было принести дров.

— Точка, так точка, ничего не имею, — проговорил Вилкин и, шарив в карманах кисет, торопливо завернул огромную цыгарку. — Вот сейчас мы притащим бревнышко, чтобы на всю ночь хватило, и завалимся спать...

Возня по колена в снегу и столб веселых искр, с треском поднявшихся высоко вверх, развлекли немного. Подождал, пока как следует займутся дрова, и улегся спиной к огню. Но через минуту вскочил и громко сплюнул: во всех мелочах вспомнил, как вез свой синий сундучок на салазках, как встретившаяся на улице Марина насмешливо поглядела на веревку, всю в мохнатых узлах, и спросила: «Неужели вы не могли взять лошади, чтобы уехать подальше куда-нибудь, не боитесь, что найду?»

Сна как не бывало. И совсем по-другому пошли наматываться мысли, будто разгоревшийся костер по-иному, с другой стороны осветил историю с Мариной. Она уж не оказывалась ни в чем виноватой, один он был причиной ссор и всех недоразумений, и, казалось, — трудно и невозможно теперь поправить дело.

2

В тайге было еще темно, хотя небо уже светлело, и на его фосфорическом фоне все резче высекались причудливые силуэты ветвей. Иннокентий разбудил только что задремавшего Вилкина.

— Эй, промысленник, вставай, кирпич давно буровит в котелке, собаки нету ни одной, проспали собак!

Вилкин медленно и тяжело сел на своей постели, снял треуху и устался в огонь: от бессонницы и курения было мутно и тошно. Чалдон нарезал оттаявшие шаньги на большие ломти и достал сало из поняги.

— Вот, язви его в зылу, сильно озорной кобелишка один, он и увел!

— По следу, значит, ушли?..

Но Иннокентий сплюнул в сторону и не отозвался на предположение Вилкина.

Тайга с каждой минутой светлела, стволы сосен в верхушках красились оранжевой краской, огонь побледнел и казался холодным. Торопливо пожевали и встали на лыжи. Следы собак мчались вниз, в ши-

рокую падь. Легкие голубые завесы опускались на хребты из прогретого первыми лучами неба. Иннокентий озабоченно остановился, завернул уши на шапке и прислушался. Вдруг, как регент, поднял руку и замер: из-за хребта донесся едва слышный лай.

— Гремят, — со скрытой радостью прошептал он, сорвался с места и побежал с хребта широким шагом.

Лай становился явственней с каждой секундой. Охотники бежали вверх на хребет, снова вставший на пути, к собачьим голосам. За спешкой и за шорохом снега сразу нельзя было понять, заглушил ли звуки лая высокий хребет или они прекратились.

— Стой, — сделал знак чалдон, на бегу обняв сосну; глаза его тревожно суетились, в тайге было тихо, как в пустой церкви. Красно-головый дятел заулюлюкал и застонал на вершине сухой лиственницы.

— Ушел, упустили, язвы их в проклятые морды! — Глаза его жалобно моргали. Он присел на корточки и достал трубку из рукавицы. — Слушать теперь надо, может, он пойдет кругом, нечего зря тайгу мерять.

С поту сделалось холодно, Иннокентий развел маленький огонь, поворачивался то боком, то спиной к теплу и жаловался на поясницу и ноги.

— Вот она, охота наша...

Взошло солнце выше, и тайга изменилась: по розовому снегу хлынули синие тени, все вокруг заискрилось золотой россыпью. Вилкин стоял в стороне и после озноба вдруг почувствовал жар в лице и руках. Внимательными блестящими глазами впился в темные обгорелые стволы деревьев и готов был по малейшему звуку броситься вперед и мчаться, ломая поросли. Его охватило нетерпение и отчаяние, что лоси уйдут совсем, и вот-вот покажутся из-за стволов сосен виноватые морды собак, вернувшихся со следа. Ему и в голову не приходило, что его отчаяние ведет начало от бессонной ночи, и не о лосях оно, а о другом, более важном. Неподвижность была невыносима.

— Надо гнать, — сказал он вздрагивающим голосом, — тормозить вопрос не приходится!

Иннокентий мрачно покосился от огня.

— Язык надо держать в тайге. Табун! Стабунил, язвы те, наговорил вчера утрьсь. Не в ту сторону гонишь, куда тебе надо!

Он не закончил своей ворчли: совсем близко одиноко и громко взлаяла собака. Прошла напряженная минута, и, словно за заповалой, по пади раскатился многоголосый хор. Вилкин рванулся, но Иннокентий остановил его поднятой рукой и не тронулся с места: медленно, утомительно долго выпрямляя ноги, поднимался, не сводя с него глаз.

— Не пори горячку, не пори, говорят. Три собаки гремят, а двух нету.

В стороне, дальше, залился другой хор. Чалдон стянул с плеча ружье, снял шапку, наскоро перекрестился и двинулся вниз. Глаза его жадно метались: собаки остановили двух разделившихся в погоне лосей. Внезапно потерял торжественность и двинулся вниз, приседая,

пригибаясь, хотя до лая было не близко, суетливо осматривал пистон на капсюле и то и дело ощупывал головку курка вздрагивающим пальцем.

— Беги к дальнему, а я этого скраду. Близо не подходи, спо-лошйшь, из-за деревины подходи, чтоб не видал глазами. Беги, — отмахнулся он нетерпеливо.

Вилкин круто повернулся и мгновенно потерял способность сдерживаться. Как пущенные тугой пружиной, зачастили его лыжи. Перед крутым спуском на секунду затормозился, кинул взгляд на подходящую сосенку для посоха, без которого бросаться вниз было невысмыслимо, но не остановился и, сознавая опасность, но как бы зажмурясь внутри себя, толкнул лыжи со снежного гребня, навеянного ветрами из пади. Перед широко раскрытыми от страха глазами торчали загнутые головки лыж, стволы мчались навстречу, чтобы расплющить безумца, но, словно испуганные, расступались и уносились вверх. Внизу по низкорослому кустарнику Вилкин долго мчался, пригибая тонкие ветви лыжами, не в силах сдержать разгона, и, когда, наконец, ткнулся головой в снег, галифе его были располосованы в нескольких местах. Торопливо оглядел, цело ли ружье, и побежал дальше. Показалось, что лают не две, а четыре собаки. Протискав лыжи сквозь тальник и камыш, скатился с крутого берега на речку. Собаки гремели на той стороне, за чащей. На лыжах вдруг пошла налип, они отяжелели и остановились совсем. Оглянулся назад — след налился водой, на несколько сажень протянулась темная дорога. Дернулся, что было силы, но смог податься лишь на полшага и почувствовал, как опускается в речку. Сначала широкие лыжи оказывали кое-какое сопротивление, затем быстро, без всякого уже препятствия, погрузился по грудь. Благодаря сильному течению и мелкому дну, лед был совершенно съеден под снегом. Лыжи черкнули по гальке, их подхватило течением и загнуло под лед. Они представляли собой водяные паруса и тащили тело за собой с непреодолимой силой. Снять с ног тугие сыромятные юкши нечего было и думать. Багровый от напряженья, сгоряча несколько раз поднялся над густым снежным киселем, но сейчас же грузно осел обратно. Со всем близко стояли тихие пихты, за ними надрывались собаки.

Вслед за минутным затишьем течение с какой-то злобой начало рвать лыжи снова, головки начинали судорожно колотиться о крепкий лед, к которому протасило Вилкина сквозь густой кисель. Продолбив ружейными стволами дыру во льду, он засунул туда двустволку по замки и ухватился за шейку ложа обеими руками. Под берегом мелодично позванивали струи, холод сковывал тело, одна рука отделилась от ружья и отодвигались все дальше, не могла уже вновь дотянуться до него. Глаза испуганно глядели на беспомощную руку. — Сколько можно так продержаться? Нелепым чудачеством показались самолюбие и гордыня перед человеком, которого любишь, выдуманньими — препятствия, которые не дали ни минуты покоя в такой ясной и простой жизни. В первый раз он признался сам себе

искренно, без запутанных рассуждений. Притти и прямо сказать: «Маринка, давай бросим дурака валять».—Едва не разжалась другая рука; с ужасом завозился, еще раз поднялся над промоиной и сейчас же опустился. Его поворачивало к течению боком, руку вывертывало, в плечевом суставе была невыносимая боль.

3

Деревушка готовилась к встрече пасхи. Иннокентьева баба, расторопная хозяйка, по нескольку раз на деңь просила Вилкина из комнаты и принималась то мыть полы, то перестилать половики и дорожки. С рукой на перевязи из полотенца он осторожно накидывал на себя куртку и брел во двор. Наглядевшись на обтаявшие кучи дымящегося навоза, выходил на улицу: с высокого обтаявшего угора видна была неподвижная белая река. С краев налилась мутной водой из всюду журчащих ручьев, выгнула лед, сделав его сухим, и, окаймленная зубчатыми лентами с обеих сторон, сверкала холодной посиневшей белизной.

В субботу начали готовиться в церковь. Во дворах слышались громкие окрики на коней, их чистили деревянными скребницами, вплетали в косматые гривы разноцветные ленты и заботливо седлали под новые потники. Чалдоны за весь год не вспоминали про церковь, но весенний праздник чтили и собирались в далекий путь, — в свою сельскую церковь попасть было невозможно из-за реки, которая ни замерзала, ни проходила.

Вечер был тихий, по берегу ехали богомольцы: девахи в седлах от необмятых нарядов казались толстыми и неуклюжими, парни в пиджаках на распашку горячили возле них своих лошадок, толкая в бока новыми черками и ичигами. Звоны колокольников и шорохи бубенцов на лошадях замирали вдали за околицей. В раскрытых воротах Иннокентий никак не мог усадить свою хозяйку в седло: ее новые черки не просовывались в стремя. Проезжающие мимо приветливо кланялись и советовали обтесать бабе ноги топором. Во всем было праздничное: и одежды, и лица, и голоса здесь все были свои — знакомые и родные. Сделалось невыносимо тоскливо одному среди чужих людей; Вилкин пристально взгляделся вдаль: за большой рекой наискосок от деревни зажигались приветливые огни в селе. В досаде дернул плечом, прошел в горницу, снял с гвоздя двустволку и снова вышел на улицу. Иннокентий насмешливо прищурился и, тронув концом повода по крупу рыжего круглого конька, спросил:

— Промыслить? А мы богу молиться.

— Я тоже молиться, только своему богу, индивидуально!

По узкой прибрежной дороге Вилкин прошел до песчаной косы, — село было как раз напротив. Солнце давно село, весь противоположный берег был черным. Опустился на песок и долго сидел, напряженно прислушиваясь. В вечерней тишине каждый звук переносился из-за

реки, словно там стоял огромный рупор: отрывки говора, кашель, топот коней по мостку; показалось, или в самом деле — донесся сдержанный смех Марины. Представилось, как она идет под руку с Коськой или с начальником милиции по угору в клуб, где собирается молодежь для устройства антирелигиозного шествия. Стало еще тоскливее, чем давеча во дворе у хозяина. Лучше бы завалиться спать, и чорт с ними со всеми! Поднялся на берег, хотел вернуться немедленно домой, но остался и снова глядел на огни на той стороне. В схваченных легким морозцем лужах потрескивал ажурный лед, темной скалой стоял еловый лес, хвост ковша Большой Медведицы зацепился за вершину скалы и рассыпал по небу алмазный светящийся песок. Черную Весту не было видно, лишь по шороху угадывалось повиливание хвостом возле ног; хотелось или приласкать ее, или ударить. Почувствовав теплый язык на руке, вскочил и со всей силой пнул носком сапога.

— На кой чорт взял я тебя у этой крашеной куклы!

Уже шагал близко к дому, как по реке нагнал первый удар колокола. Из тьмы взвилась ракета и рассыпалась разноцветными угольками среди побледневших звезд.

У себя в комнате завесил окно одеялом, снял галифе и принялся осматривать: они требовали новой основательной починки. Достал иглу с катушкой из жестяной коробки из-под чая Высоцкого и К^о, вдел нитку, но долго не прикасался к разложенным на коленях брюкам: и удары колокола, и ракета, и починка, и лампочка на столе напомнили семью: мать и двух сестер. Не спят теперь, верующие, и, наверное, мать вздыхает. Вспомнились до единого слова письма, в котором описывал им свою невесту Марину всевозможными красками, стало нехорошо от лжи, зачем было врать, лучше бы не писать вовсе. И эта разница, та Марина, какой он хотел ее видеть, о какой восторженно сочинял в зимние вечера письма, и та, какая она на самом деле есть, представилась, как глубокая непроходимая падь: застрял в чаще,—ни вверх, ни вниз.

«Да что это за чертовщина за такая!». Вилкин суетливо попытался сунуть руки в карманы, но ерзнул по тонким кальсонам и полез в галифе. Цыгарку завернул необыкновенно большую и, торопливо затягиваясь, задымил комнатку. Снова было испорчено настроение. И то, что взял отпуск в счет жалованья и не сможет послать обычных десяти рублей матери с сестрами, и то, что сидит ночью, как дурак, и не может выкинуть из головы какой-то девчонки, не стоящей ломаного гроша, и то, что едва не замерз в речке благодаря все ей же — раздосадовало и раздражило необыкновенно. Нет, теперь уж крышка, точка! Он пошевелил губами ругательство и принялся за галифе. Кое-как, с пятого на десятое, ковырнул иглой и улегся в постель по диагонали, вытянув ноги мимо щитка на подставленный табурет.

Проснулся поздно от прикосновения к плечу. Хозяин в праздничном пиджаке, в жирно смазанных ичихах, в жилете на синей ситцевой рубахе, с примасленной головой стоял возле кровати.

— Вставай, паря, присла к тебе в гости агрономовская, в горнице сидит у нас, дожидается. Будить не велела — жалеет. Иди, похристосуйся с праздником. — Он подмигнул и потоптался у двери. — Нарядная, бравая, вся как есть мокрая до коленок, поднимайся скорей, промысленник, а то убежит горносталь белый, где его такого найдес?

Явная насмешка звучала в словах Иннокентия, презрение к девушке, прибежавшей к холостому парню в первый день праздника, но Вилкин не обратил внимания и, вздрагивая от неожиданного посещения и нетерпения, наспех оделся. С силой вытянул из-под пояса рубаху, чтобы прикрыть заплаты на галифе, и вышел на хозяйскую половину.

Марина сидела на лавке у края стола, ноги — это видно было сразу — старательно прятала и, может быть, поэтому, вскочив при входе Вилкина, стояла за столом и не двигалась с места. За три недели она удивительно переменялась: стала большой. Ростом как-будто и такая же; конечно, не могла же вырасти, но совсем стала большой. Остановился и он, перешагнув порог. Его остановил неожиданный, новый облик Марины; он не мог быстро сообразить, лучше она стала или хуже, и вдруг понял, что лучше. Марина словно ждала, чем кончится его колебание, и, завидев в глазах его скрываемую радость, очутилась возле и схватила за руку. Хозяйка тоже обрадовалась.

— Ну, вот, все-таки и свиделись, голубчики ненаглядные, а то и ноги, поди, застыли стоять.

Марина не выпускала руку.

— Пойдем к тебе, здесь мы будем мешать, наверное, обедать хозяева хотят.

За ней по полу отпечатывался мокрый след. Видя ее смущение, он сказал:

— Ничего, не обращаю внимания, за это деньги плачу. Присаживайтесь в моем дворце труда и отдыха.

Марина села на стул возле двери и поставила мокрые ноги на порог. Она быстро, с любопытством оглядела комнатку, и ей понравилось все, что увидела: деревянная хозяйская кровать, сбоку которой приставлена скамья для длинных ног, над кроватью маленький коврик с вытканым львом, на коврике, на гвозде двустволка и пояс с патронташами. Заметила — подушка хозяйская, наволочка — грязная. Вилкин не спускал глаз с ботинок Марины, они были чем-то намазаны черным, и теперь с них стекало это черное на пол вместе с водой, они были старые, чиненные, с выкрашенной в чернила бечевой вместо шнурков.

— Не капиталистический дворец труда, а отдохнуть можно и в таком.

Марина улыбнулась с готовностью на его деревянную речь: хоть как-нибудь начать беседу.

— Мне очень тоже нравится. Отдохнул, значит, использовал отпуск на сто процентов. Доволен, что уехал из села?

— Не совсем, но могу сказать, что — да.

Вилкин сидел неподвижно, не желая показать заплата на галифе, хотя понимал прекрасно, что надо бы пойти к хозяйке и заказать самовар, согреть гостью. Хотелось подойти ближе и попросить, и помочь даже снять с ног мокрые ботинки, и предложить свои шерстяные чулки, но не трогался с места и объяснял себе свое сидение теми же заплатами на галифе. Марина сияла на него глазами, но он делал серьезное лицо и ни за что не хотел смягчиться.

— Ты продолжаешь сердиться? — спросила она. — Ну, довольно, давай оставим глупости, бросим дураков из себя валять. Знаешь, мне даже смешно, почему людям нужно мучить друг друга и самим мучиться больше всего. Иногда такими глупыми кажутся мне наши капризы.

— Надо фактически доказать, а не голословно.

Марина залилась краской.

— Послушай, Вилкин, какие тебе еще доказательства? Вот я шла сюда, провалилась в воду, ты что-то тут натворил, чуть не утонул, и что же, в чем дело? Понимаешь, если даже с точки зрения целесообразности посмотреть, для чего природа потратила энергию? Для чего-нибудь ведь, а не так зря. А, впрочем, знаешь, что я хотела тебе сказать: я тоже не могу пока иметь семьи. Только мне хотелось бы хоть одного, — не видеть, как люди боятся меня, когда я надену толстое платье и кажусь поплневшей. Это ведь противно, ты сам понимаешь. Принципиально.

Она поднялась с табурета и сделала шаг к Вилкину. Лицо ее, минуту назад серьезное и даже сердитое, словно просило прощения и как бы говорило: «ну, давай бросим умные разговоры, не за этим же я шла сюда к тебе». Она задорно вскинула голову и сказала:

— Принеси мне, во что бы можно переобуться, а то, правда, неудобно, весь пол исслежу у тебя для праздника.

Вилкин неожиданно вскочил, позабыв и о заплатках, и о том, что надо быть суровым.

— И самовар попрошу поставить, что ты возразишь на этот предмет?

Она звонко захлопала в ладоши и подняла руки вверх.

— Голосую обеими руками, принято единогласно. Только вношу добавление: не вспоминать ни о чем за чаем. погоди, не уходи так быстро, одну минуту. Что с тобой в самом деле стряслось? У нас в конторе сплетни пошли, будто ты отморозил руки и ноги и лежишь в постели, одним словом, — инвалид. Я не верила, но кто тебя знает, ты таким бирюком встретился со мной, когда вез свои салазки.

— Если угодно, могу краткую информацию. Наши собаки с хозяином поделились, он побежал на один лай, я на другой. К которым бежал я, оказывается, соединились с чужими, ну вот, — провалился и сидел по горло в речке, ждал, когда потеплеет и растает лед.

— Ну, оставь, не шути, пожалуйста, что у тебя с рукой? — Марина подошла и потянулась, чтобы взять руку Вилкина, подвязанную на полотенце. — Очень сильно болит?

В полынье, на лосиной охоте, она была такая же близкая, как сейчас. Вилкин подал ей руку.

— Сейчас совсем ничего не чувствую, могу двигать в полном смысле физкультуры.

— Но как же ты выбрался, расскажи?

— Чалдоны вытащили. Убили лося, ободрали с него экономическую базу, и тогда только услышали мой голос. Стоят на берегу и спорят, доставать меня или оставить до пасхи, чтоб не испортился. Не хотели. Говорили, что я за чужим, то-есть за ихним лосем бежал. А я совершенно был не в сознании и кричу им: вы сами, такие-сякие, за моим бежали и убили. — Одним словом, все-таки нарубили жердей и подсунули мне к носу, вылезай, как знаешь.

Марина, едва касаясь пальцами, осторожно поворачивала большую руку и, озабоченно наморщив лоб, разглядывала красные пятна на помороженных местах.

— Зачем же так неосторожно... В этом я виновата, да?

Вилкин понял, что ей хочется быть виноватой. Он не стал разуберять ее и молчанием согласился с ее виновностью; стало очень радостно от ее желания быть близкой ему, совсем близкой. Марина осторожно, но крепко обхватила пальцами сухое пястье его широкой руки, другая рука сделала неловкое движение и легла несмело на плечо. Они оба придержали дыхание и одновременно глянули в глаза друг другу. Кроме молодости и вздрагивающего огня ничего не было в их глазах, все другое — исчезло. Вилкин почувствовал тяжесть в ногах и руках и оглянулся, словно ища места, куда бы сложить с себя давящую ношу. В эту минуту скрипнула дверь и в комнатку просунулась черная заискивающая морда Весты. Марина тоже оглянулась, и Вилкин чувствовал, как дернулась ее рука и разжались пальцы. И сама она попятилась к окну, словно перед ней был дикий опасный зверь, а не добродушная лайка. Как замороженная, не сводила взгляда с собаки, усевшейся на полу среди комнаты, лицо стало бледным, вытянутым, похудевшим. Медленно, едва слышно она прошептала:

— Я совсем позабыла про эту вашу отвратительную собаку...

Вилкин насторожился и вз'ерошился, несколько мгновений молчал, потом усмехнулся и, попав в свой обычный тон, вызывающе ответил:

— А я совершенно, как вам известно, континентален к этому вопросу. Никакого возрождения не может произойти, если вы опять начинаете ставить свои глупые вопросы.

Марина внимательно посмотрела на свои ботинки и поправила косынку.

— Ну, прощайте, а то меня ждет мой провожатый на той стороне у забереги. Река очень плохая, как бы не застрять здесь на неделю. — И, будто извиняясь, ласково добавила:—Я бы, конечно, не пошла, но мы смотрели в бинокль и нам показалось, что на этой стороне нет совсем воды.

— С начальником милиции?

— Да. А что? Он очень славный человек, напрасно вы о нем плохо думаете.

— Я ни о ком не думаю, позвольте вам заметить!

— Это очень хорошо, что вы не думаете ни о ком. До свидания.

— Всех благ. Привет всем в учреждении.

Марина медленно вышла из комнаты, и так же медленно шла по хозяйской чистой горнице к выходной двери в сенцы, так, что если бы Вилкин захотел что-либо сказать, мог бы вполне успеть. Тихо притворилась дверь. Мимо окна она прошла, не подняв головы, и сейчас же спустилась к реке; ее не стало видно. Вилкин беспомощно оглянулся на табурет, где минуту назад сидела Марина с веселыми молодыми глазами, с забавными бровями, то и дело меняющими ее лицо, в этой комнатке были ее тонкие ласковые руки, от которых перестало болеть плечо, всего минуту назад. Суетливо надел куртку, морщась от боли, и левой рукой схватил со стены ружье. Зачем — ружье, он сам не знал того. Хозяйка, встретившаяся во дворе, загородила ему дорогу, растопырив руки.

— Не пуцу, заморозишь ты ее в лесу, зачем пускал из горницы, авось, диковина не большая — парень с девкой побудет. Куда ты ее мокрую поведешь, жалости в тебе нет нисколючка. И сам об нее весь измочишься. Не лето красное.

— Я совсем не туда, куда вы думаете, гражданка. От нечего делать хочу рябчиков поискать. Жареных очень предпочитаю.

— Живая рябчиха все, поди, лучше, — рассмеялась хозяйка. — Беги, посогрей ее скорее! — И толкнула в спину.

Когда Вилкин поднялся на невысокий увал, начинающийся от самого Иннокентьева огорода, Марина была уже далеко, краем берега бежала к косе. Догнать было уже невозможно, надо было кричать, чтобы вернуть ее, но этого он, конечно, ни за что на свете не стал бы делать; бегать, звать, махать руками, нет уж, благодарим покорно! На той стороне на белом льду в ярком солнечном блеске копошилась черная фигурка около лодки. Неровно дыша от волнения, он смотрел через кусты, как Марина, подбежав к воде, на минуту остановилась в нерешительности, — вода сильно прибавила, пока она была в деревне — и вдруг широко шагнула, балансируя руками. У края, видимо, лед уже оторвало от дна и подняло, — она ухнула до живота и никак не могла забраться на сухой лед. Протягивала руки, пыталась выползти и снова стояла в воде. Наконец, отчаянно завозилась, высоко закинула одну ногу и, судорожно дергая в воздухе другой, вскарабкалась на край и на коленях отползла на несколько шагов; поднялась и побежала. Навстречу ей, от лодки быстро подвигался человек в черной длинной шинели, — это был начальник милиции. Вилкин дождался, пока они встретились и, пробежав кусок белого поля, сели в лодку, — отвернулся и отошел от куста под сосны.

Редкие и прямые, как мачты, стволы величаво возвышались на крутой спине увала; играли красные пятна, сочетаясь с темно-зеленой хвоей, разбросанной густыми хлопьями по голубому небу. За ними, вся в узорах теней ржавой прошлогодней хвои, молодой пробившейся травы и лиловых самсонок, пестрым ковром лежала тихая поляна. Вилкин с трудом разжал стиснутые зубы и крикнул:

— Веста, поди сюда!

Собака, обычно очень послушная, выскочила из-за деревьев, но не подошла. Почуяла в голосе хозяина незаслуженную угрозу и трусливо поджала хвост. Прижимала уши, ставила их вопросительно над поднятой мордой, но не подвигалась ни на шаг ближе.

— Поди сюда, тебе говорят!

Собака опустила голову, затопталась на месте и поджала лапу; лицо Вилкина исказилось злобой: «За тобой еще буду я бегать, проклятая тварь!». Он вскинул ружье к плечу и дернул курок. На земле под деревом закрутился черный клубок с визгом и воем. Высоко вздымая грудь, побелевшими, вздрагивающими губами прошептал:

— Говорят, подойди, — значит, подойди!

4

Как всегда бывает перед реколомом, несколько ночей под ряд шли не сильные, но спорые и теплые дожди. Вилкин, несмотря на свое скверное настроение, все же не мог не поддаться весенней радости. Выходил на крыльцо среди ночи и, подставив руку под мелкие ласковые брызги, простаивал минуты, прислушиваясь к крикам перелетных птиц. В совершенном мраке гуси и журавли куда-то двигались уверенно и определенно, никакой тревоги в их голосах не было слышно. И самому становилось покойнее. В черном весеннем просторе торопятся ручьи, мчатся радостные птицы в ожидании утра с солнцем, за которым разольется большой и широкий, как год, сверкающий день!

Однажды взглянул в окно и не увидел извиистой дороги на белой реке, выходящей к селу, не было и грязных занавоженных скотиной прорубей: все это сдвинулось вместе со льдом вниз, за деревню, и перемешалось. Короткие куски поломанной дороги попали в чистое поле, темные дыры, огороженные камышевыми и соломенными щитами, выглядели ненужным выброшенным мусором. Ручьи с пением и звоном опрометью мчались на помощь реке, в полдень раздались раскаты, словно надвинулась грозная туча. На ледяном поле извивались зигзаги изломов, сверкающих алмазным мерцанием, и, как каждую весну, стоящим на угоре людям показалось, будто деревня двинулась и поплыла вверх против течения. Расталкивая друг друга, поднимаясь на дыбы, тычась белыми тяжелыми мордами в берега, скаля сверкающие клыки, глухо рокоча и скрежеща, посплзли льдины мимо черных берегов в одну сторону, в расплавленную даль. Праздничные группы чалдонов спускались с угора, присев на корточки, чер-

пали пригоршнями мутную первую воду и умывали лица: всем хотелось помолодеть, покрасиветь и быть здоровым до следующей весны. Кое-где по берегу вспухли сизые дымки из длинных ружей: в честь весны прозвучали выстрелы.

На четвертый день по поднявшейся до краев реке плыли остатки обкатанных и обсосанных льдин. Вилкин вместе с Иннокентием пробрались на стружке вверх за деревню и, убрав его на берег, из-за выброшенных огромных льдин сторожили уток. Птица сплывала вниз возле земляных берегов и питалась, не теряя времени и торопясь дальше на север. Различные породы всевозможной окраски: гоголи с зелеными головами и белыми ушами, кряквы в белых воротничках, темные белозобые остроклювые крохали, красноголовые чернети, маленькие проворные нырки — ежеминутно проплывали мимо. Одни заботливо щекотали носами, другие весело плескались или, наевшись и наигравшись, проплывали на льдинках, запрятав голову под крыло. Стреляли весело на выбор, в самую крупную дичь. Когда курили, — спокойно пропускали мимо, так ее было много.

На середине реки закричали гагары. От тревожных возгласов Вилкину вдруг стало не по себе, он запахнул куртку и, словно в поиске причины озноба, повел взглядом по противоположному берегу через всплески играющих и дерущихся черных птиц: по гребню берега, на фоне яркого линиялого неба двигались две фигурки. Хотя и знал уже, наверное, кто там идет, но все же с надеждой, что ошибся, напряженными прищуренными глазами впился в фигурки сквозь разлившийся по воде блеск. Сердце захолонуло, в горле защекотало: он больше не взглянул на тот берег и два раза под ряд промазал в крохалей.

— Начальник милиции баржу повел, — сказал Иннокентий, — на апечек, не миновать, посадит, вишь, воды поменело. Тепло, сухо — добро...

Он было хотел подробнее рассказать, что еще сделает начальник милиции со своей баржой, — вдруг упал животом в грязь, под изумрудную обтекающую льдину и кивком головы указал на воду. Только глаз охотника мог что-либо увидеть среди мелкого крошева, ползущего мимо берега.

— Гуси, — прошептал он. — Жеребьем надо, дробью не достигнешь. — Закатил в ствол кусок свинца и, не спуская глаз с птиц, едва заметным движением принялся прогонять шомполом. — Не шевелься!

Гусак спокойно и важно плыл несколько впереди двух гусынь. Вдруг остановился, повернулся боком и, подозревая опасность, скрытую за глыбами льда, закивал головой, готовый каждую секунду подняться. Иннокентий прислонил свою длинную турку к льдине и невыносимо долго прицеливался. Наконец, палец в скобе дернулся: грохнул выстрел. Гусак словно поскользнулся, упал на бок.

— Готов, — крикнул Вилкин и вскочил. Но гусь справился и в ореоле сверкающей водяной пыли от бьющих крыльев побежал по

реке. Тяжело отделился от воды и полетел вслед за гусынями. Иннокентий злобно уставился покрасневшими белками.

— Язык бы отсох у тебя в ту пору, язви те жилу!

Не в силах забрать высоту, раненая птица опустилась на самой середине.

— Теперь чо будем думать? Добывать надо, зря пропадет, не по-охотнички так делать. — Поймав беспокойный быстрый взгляд Вилкина на ту сторону реки, он подсказал: — Плысти надо, ис, начальник с агрономовской стоят, смотрят на охоту, — струг легкий, как рыба.

И в Вилкине произошло то же, что и на лосиной охоте: он вдруг загорелся весь и запылал. Схватился за струг, толкнул на воду, бегом вскочил в него и пустился в погоню. Наплывающий то и дело лед мешал держать струг против течения, трудно было разыскать в водяном блеске, засоренном льдинами, раненого гуся, но он позабыл про вывихнутую руку, про риск быть снесенным далеко за деревню, необыкновенно обостренным взглядом находил его, настигал и два раза стрелял. Третьим выстрелом добил и за крыло втащил в лодку. Две фигуры на берегу теперь были ближе и, — он чувствовал это спиной и плечами, — остановились и глядят на его охоту. Никакая сила, казалось ему, не заставит его оглянуться.словно артист на сцене, на которого смотрят сотни глаз, необыкновенно широко загребая веслом, стараясь ни на волос не упустить струг, медленно и твердо подвигался вперед, против наступающей неумолимой воды. Плечо начало невыносимо болеть, но ни одним движением не хотел испортить своей позы. С берега донесся звонкий голос:

— Bravo, Вилкин, bravo, плывите сюда, сюда плывите!

Он отгребся от солидной тупорылой льдины, надо было сделать еще один удар, чтобы обойти следующую небольшую, но оглянулся и прозевал. Нос стружка поднялся от неожиданного резкого толчка, по дну прошелся корявый шорох, заделка в днище, вытолкнутая ударом, поплыла к ногам вместе с бросившейся в дыру мутной водой. С виду небольшая льдина оказалась сильной, — главным своим грузом она шла под водой. Пока снялся — воды было по щиколку, попробовал выхлестнуть и второпях выбросил вместе с водой и заделку. Кинул шапку на пробоину, встал на нее коленом и, уж не заботясь о красоте движений, принялся работать веслом. Течь стала меньше, но для игрушечного струга прибывающей воды было достаточно, чтобы потопить его в несколько минут. К деревне было все еще дальше, чем к правому берегу, но он продолжал упрямо грести туда: пускай прогуливаются, пусть посадит на апечек, чего же дремать, если сама навязывается!

Разница уровней воды в лодке и в реке стала меньше вершка. С берега донесся пронзительный крик. Вилкин крепко стиснул зубы. Вслед за женским криком донесся спокойный мужской:

— Сюда гребите, эй, а то вытаскивать придется!

Оглянулся и хотел показать кулак, но, не найдя женской фигурки рядом с мужской, метнул глазами по берегу: Марина бежала следом за стругом, сносимым быстрым течением. И дернул же чорт плыть за этим гусем! — Потерял равновесие, качнулся, захлебнуло лодку, и опустил вместе с нею в реку; холодная вода облепила тело рубахой, трудно было поднять руку, чтобы схватиться за борт. Берега поплыли быстро вверх против течения. Грудь сжимало холодом, дыхание запырало, бестолково хватался, перехватывался и бормотал:

— Да, это то же самое: опять в воде. Опять в воде, в воде, в воде-е-е, ччч-орт тебя возьми совсем!..

На моменты голова Вилкина смешивалась с льдинками, не видя ее, Марина приостанавливалась, заламывала руки в отчаянии, но, завидев барахтающуюся руку или поднявшийся нос струга, снова пускалась бежать. Вилкин видел все: как бежит Марина, как ломает руки, не спускал глаза с нее, и на посиневшем лице его отражалось довольство. Возле мелькающих коленок Марины вспыхивала белая нижняя юбка, от этого становилось противно, но в то же время и жалко. Солнце было очень теплое, но совсем не грело ни лица, ни рук — они коченели.

Уплыла околица села, впереди разлилась блестящая ширь. Фигурка Марины оторвалась от последней бани на угоре и вдруг остановилась. Вилкин поднял руку и замахал торопливо и испуганно, но Марина не шевельнулась. Когда заметил, что она уходит, — готов был кричать, чтоб не уходила.

Вдали из-под села выкатился шитик. Он показался огромным, как корабль. Повернулся, сделался узким, с боков, как лапы, поднялись оборванные, блеском тоненькие весла. Наклоняясь и выпрямляясь, надвигалась спина гребца, на корме с веслом стоял начальник милиции без шинели, в одном мундире с красными нашивками на воротнике.

— Держись, — кричал гребец и поймал стружок. Гусь, плавающий в стружке, словно воспользовавшись случаем, перевалился через борт и поплыл все быстрее и быстрее. Гребец, надуваясь и сопя, буксирил к берегу; начальник милиции не взглянул на Вилкина, пока не пристали, и только тогда покосился и сказал:

— Как же это вы постарались, товарищ Вилкин?

Вилкин не ответил. Мокрый и от этого до смешного длинный, он привставал на носки и вглядывался в приближающихся от села чалдонов, но среди них Марины не было.

— Она, наверное, ушла домой, — сказал начальник милиции, — сильно промокла, упала.

— Мне никого не надо, вы ошибаетесь, — грубо пробормотал Вилкин. — Благодарю за спасение на водах. — Он обжал с груди и с ног воду ладонями, неуклюжий, связанный облипшей одеждой, нагнулся, достал со дна стружка двустволку и поднялся на угор. Подошедших любопытных встретил недоумевающим взглядом и направился вдоль по берегу, не оглядываясь назад. Шел до тех пор, пока не согрелся. Спустился в ямку, щедро залитую солнцем, уселся на

сухую прошлогоднюю траву, стащил с себя сапоги, снял все-верхнее и нижнее и выжал, скрученные жгуты расправил, растянул и развесил на корягу, выброшенную половодьем. Он думал о Марине: насколько же надо быть жестокой, чтобы не притти, не узнать, жив ли он, или, может быть, шитик не успел его нагнать. Складывалась мстительная мысль, как он, уволившись завтра же из конторы, будет уезжать с первым низовым пароходом, — пусть не воображает о себе. На пригреве совсем было бы хорошо, если бы была махорка. Высохнет все, и тогда можно итти в село. Но рядом с этими мыслями тянулись и другие, которых он не хотел в себе знать: насколько же надо быть скверным и мстительным, чтобы не поднять даже руки, не показать бегущей женщине, дрожащей за его жизнь, что держится еще на воде. Он делал над собой усилия, чтобы не глядеть в сторону села, но спохватывался лишь тогда, когда уже всей головой повернулся и не увидел никого на берегу. Отворачивался и медлительно, как человек, которому некуда торопиться, тянулся к коряге, пробовал, не просохли ли одежда и белье.

Несмотря на горячее солнце, тело покрылось разноцветными пятнами и от времени до времени вдруг начинало трястись. Рисовалась соблазнительная теплая комната, куда он сейчас же двинется, как только можно будет одеться; если на улице в селе встретится эта особа и будет приставать с расспросами, можно остановиться на минуту и занести какую-нибудь околесицу в роде того, что, мол, никакой серьезности ему не угрожало, напрасно только обеспокоились и не пошли дальше с начальником милиции, там дальше есть хорошие, совсем сухие места, теперь, мол, начальник обидеться может. Представлял, какое у нее будет лицо, как она будет пристально всматриваться в глаза и вздергивать острые плечи к самым ушам. Потом можно будет, как ни в чем не бывало, раскланяться: всего хорошего. Жаль, что уплыл гусь, было бы красиво пронести его по селу.

Галифе, почти уже высохшие, тихо шевелили широкими пузырями, чайки, обеспокоенные долгим гостем на берегу, носились над головой и, не переставая, кричали противными рыдающими голосами.

5

Шла самая лучшая пора зеленой весны — июнь месяц. Днем село горело в расплавленном золоте, а тайга кругом все темнела, наливалась зелеными соками. Марина щеголяла в легком, белом, без чулок, показывая стройную фигурку и тоненькие, но надо отдать справедливость, ловкие икры, сухую щиколку и крутой красивый подъем. Вода в реке упала, обнажились глубокие камни, и вытянулись песчаные косы, словно журавлиные носы. Встанешь рано утром — журавли уже пьют воду, идешь в контору — они пьют, идешь обратно домой, выйдешь вечером — все не напилась. На самой длинной косе каждое утро появлялась фигурка, нагибалась на мгновение, выпрямлялась неузнава-

емая, совсем незнакомая, превращенная в русалку и, протянув руки, вприпрыжку, то на одной ноге, то на другой, бежала к самому кончику журавлиного носа и исчезала в брызгах. Почему-то Вилкину было стыдно встретиться с Мариной, когда она идет с купанья с полотенцем, еще мокрым от обтирания, в тоненьком платьице, местами налипшем на влажное тело, и выходил из дома лишь тогда, когда она пройдет мимо окна. Да и неприятно было встречаться: не кланяться — неловко, а с какой стати ему ломать перед ней шапку. В конторе — там другое дело: общий поклон и как хочешь, — можешь принять и на свой счет. А не хочешь — ваша добрая воля, навязываться мы не намерены. Вообще — кончен бал, погасли свечи. Точка! До таких глупостей никогда он еще не доходил: нервы трепал на все сто процентов довоенного времени, никогда такому риску не подвергал себя даже в гражданскую в отряде связи, как теперь из-за какой-то Маринки. Лежа дома после обеда на деревянной кровати, скрестив ноги на щитке, он доходил до выводов, что в сущности никакой разницы нет между военным и мирным временем: там риск и борьба, и тут то же самое. Но в гражданской хоть было за что, а что тут он нашел? Там за свободу человеческую, а тут за свою неволю.

Ему и в голову не приходило сравнить себя с Коськой или с начальником милиции, он видел их несерьезное отношение к Марине, сознавал все свое благородство и интеллигентность, но конкретно не мог бы указать на какие-либо свои качества или поступки, за которые она должна бы была отдать предпочтение именно ему. И часто казалось, что только в своих глазах он такой замечательный, хороший человек, а тот факт, что Марина считает его хуже других, подавлял и угнетал; но не только о себе заботился он, ему казалось обидным за нее, как она не умеет разглядеть человека, связывается с людьми, совсем к ней неподходящими, недостойными. А, в конце концов, какое ему дело до всего этого? Пусть, это ее личное дело! Точка! Она узнает, под какой удар поставит ее и этот новенький начальник милиции. Будем считаться с фактами после!

На столике, покрытом газетой, вместо скатерти прислоненное к коробке красной исцарапанной стороной стояло маленькое зеркальце, в которое можно было разглядывать лицо только по частям. Вилкин усаживался верхом на табурет и подводил итоги размышлениям, нагнувшись над столом, пристально вглядываясь в тусклое стекло: нос, взятый в отдельности, — как-будто ничего, прямой, не очень уж велик; губы — тонкие, можно сказать, красивые — Марина сама даже не раз это говорила; глаза... да, глаза без бровей, но серьезные, пристальные, ничего от них не скроешь. Какое общее впечатление от лица, — невозможно было увидеть, приходилось припоминать оставшееся в памяти от большого зеркала худое и крупное лицо, которым он никогда сам не был доволен. Прежде, чем выйти на улицу вечером, Вилкин, доверяя все-таки больше прежним зеркалам, чувствовал неуверенность, ощупывал нос, особенно кончик, прижимал его

пальцем, проводил ладонью по стриженной голове, очень жесткой и бесцветной, и всегда, шагая через порог, рассуждал на ту тему, что для женщины в мужчине нужно что-то совсем другое, не то, что для мужчины в женщине. Эту утешительную мысль он однажды услышал от матери и помнил с детства.

Вечера стояли тихие, теплые, — только в июне такие вечера. Поднятая упавшим солнцем пурпуровая пыль наполняла огромный распадок, окруженный со всех сторон хребтами, напоминающий в эти минуты дымящуюся цветным паром чашу. По угору обыкновенно гуляла вся интеллигенция: почтовики, исполкомцы, две учительницы, ликвидатор, избач, фельдшер, два мальчика и три девочки, приехавшие на каникулы из уезда, ячейка и кое-кто из чалдонов почище и посвободней. Марина гуляла с начальником милиции, как с мужем, под руку, но трудно скрыть, голубушка, что за отношения у вас с ним! Едва она отцепится от руки, как сейчас же расстояние между нею и супругом начинает растягиваться, и приходится догонять его чуть ли не рысью. Коська показывал на них глазами, подмаргивал Вилкину и уверял шопотом, что за Маринкой можно начинать ухаживать опять.

— Кому охота, конечно. Милиция будет только довольна.

— Это факт рациональный, — соглашался Вилкин. Чувствовал, что злорадство его дутое, что ему жаль Марину, но вслух ни за что бы не сознался в этом. Небрежно пожимал плечами и в тон приятелю острил:—За тремя зайцами охотилась, ни одного не поймала.

— Глупенькая, еще не ученая, а то бы кому-нибудь отдуваться не миновать. А знаешь, — шептал Коська, — по-моему как бы милиция не нарвалась на алимент, посмотри — она здорово потолстела, неужели он не замечает? Я сразу вижу, знаю, какая она в объёме.

— Может быть, давно видит, да сам хочет.

Коська громко рассмеялся и даже махнул рукой.

— Нашел чудака. Он говорит, все меры приму, вплоть до вооруженной интервенции. Он ведь временно здесь у нас, не повезет же ее с собой, — мало их на свете! — Меня хоть ты выручил, а его выручить некому. Дело прошлое, а основательно я струсил, как она в лесу тогда на меня наскочила: подавай ей отца для ребенка да и на. Нашла папу. Вот нарвешься на такую, весь век не расплатишься: гони третью часть, — сразу понизит разряд.

Коська совсем разошелся, видно, в самом деле чувствовал себя очень хорошо, когда миновала опасность окончательно. Он подтолкнул локтем и подмигнул:

— А не за тебя милиция страдать будет, вот будут дела-то?

Вилкин неопределенно ухмыльнулся. Сознаться, что он не «тронул» Марину ни разу, не позволило самолюбие, он же сам не говорил с Коськой никогда о делах с женщинами иначе, как в геройском духе, — чем больше, тем подвиг завиднее, словно о белых, уничтоженных в бою, — но и подтвердить предположение не решился: кто его

знает, дело серьезное, одному болтнет, другому, — отдувайся тогда за чужого без всяких шуток.

— Да, это был бы номер, — повторял Коська, все еще ожидая от товарища признания, но тот внезапно насупился и начал шарить в карманах кисет с табаком.

Марина с начальником повернули навстречу. Вилкин сунул руку Коське:

— Всего. Ну ее к чорту, встречаться противно. — И быстро зашагал в проулок.

6

Вечера, не угасая, вливались в светлую бледно-розовую ночь. Уснуть было невозможно, Вилкин бродил по берегу и обдумывал, как действительно, покончить свою неудачную историю с Мариной. Выход был один — уехать. Но куда денешься в Иркутске, безработных и без него сто пудов, хоть соли. Одним словом, — куга. Река раскидывалась матовым полотнищем, будто широкая платиновая рыба спала на берегу. За хребтом, на северо-востоке тлела жаровня с солнцем, спрятанным на два-три часа, и казалось, вот-вот невидимая рука поднимет ее, и снова протянутся журавлиные носы в реку, и опять начнется неимоверно длинный и утомительный день. Занятые целыми днями работой парни пользовались каждой минутой короткой ночи, торопливо, беззвучно перелезали плетни и заплоты и, на мгновение исчезнув во дворе или гумне, словно раздвоившись, уже бежали с угора к реке на четырех ногах, вдвоем с девахой. Много можно было увидеть за два часа розовой ночи. Коська тоже не зевал: эту толстую Маньчу Вилкин знал хорошо, она часто приходила к хозяйским девам и громче всех хохотала и хайлала песни. Как просто. Год назад мог так же делать и он, прыгать через плетни и потом искать укромное местечко под угором. Становилось завидно и досадно, словно ему запретили то, что другим можно. Однажды встретил и начальника милиции под самое утро. Он шел хотя и один, но по лицу, по глазам — только что расстался с кем-то за паскотиной. Кисейный матовый свет разорвался, из-за хребта выглянул раскаленный кусок золота и брызнул в распадок прохладное розовое утро. Пора убираться домой, хоть два-три часа поспать попробовать. Но начальник милиции почему-то вернулся и приложил руку к козырьку:

— Здравие желаю, товарищ Вилкин. Тоже не спится? Проклятые ночи, ворочался, ворочался и, наконец, не выдержал, пошел освежиться.

— Да, ночи преимущественные весной, за всю зиму восстанавливают равновесие справедливости.

— Как ваше здоровье? Не сказывается тот случай на реке, не простудились?

— Между сознанием и человеческой натурой — большая разница: я до сих пор не поздравил вас со спасением жизни.

Начальник милиции удивленно расширил глаза.

— То-есть, я не понимаю немножко, я, кажется, никого не думал спасать, вы ошибаетесь, та, о ком вы намекаете, без нашего спасения не пропадет, наоборот, от нее того и гляди самому придется спасаться.

Вилкин извинился.

— Я не имел в виду совершенно. Я про спасение на водах. Извиняюсь, если неясность в выражении мысли. А это вы совершенно справедливо — женщина тянет книзу, хочет лежать или сидеть, а чтобы мужчина бегал и работал, — старый быт.

— Ну, впрочем, быт-то тут не при чем. — Начальник внезапно, словно в судороге, разинул рот и со всхлипом зевнул. — Э-эх, ведь скоро вставать, шут подери, хоть часок бы уснуть. Да, ночи очень маленькие... Насчет этого, — он сделал рукой бессмысленный, но понятный жест, — самое жнитво сейчас, а отоспимся, видно, зимой.

Вилкин спросил с безразличным видом:

— Маринку аттандэ, кто следующий?

— Ну ее, хорошенького понемножку, все всерьез, не соображает, что время не такое. — Начальник по-приятельски заглянул в глаза. — Кажется, я попал. Хотя, конечно, в случае чего люди разберутся, что она и с Коськой воловодилась, и еще кое с кем, а придется все-таки думать, ну ее ко всем чертям. В чем дело, хочешь курятник заводить, заводи, никто тебе не мешает, зачем же других топить в это грязное дело? Хотя она, кажется, не из таких, но все они смиренные, пока ничего не могут сделать.

— Девчонка с фантастической мечтой, — сказал Вилкин.

— Интересная, конечно, но лучше бы попроще. — Начальник снова еще шире зевнул и даже схватился за щеку. — Я очень извиняюсь, что задержал вас, я хотел об одном деле поговорить, да, видно, уж до другого раза: хотел попросить в случае чего подтвердить относительно Маринки. Может быть, и не придется, а так, на всякий случай. Извиняюсь. До свидания.

— Мое вам пожелание. — И Вилкин тоже почему-то козырнул собеседнику.

Вилкин так и не ложился. Умылся, холодная колодезная вода освежила лицо и грудь, поднялись хозяева, раздалась голоса, — все равно не уснешь. Может быть, от бессонной ночи жаль было ушедшей весны, которая не повторится, жаль Марины, той, которая тоже ушла навсегда: зеленая, прозрачная, как молодая лиственка в первой молочно-бледной хвое. — Наступило лето — другая Марина, — уйдет и эта. В первый раз пришло в голову, что его капризы и причуды похожи на лomanье и нисколько не доходят до Марины, она не замечает их, прошло время. Так напился и чаю, все думая о Марине. В конторе тоже как-то было тихо в этот день, будто все задумались над тем же важным и запутанным вопросом, Марина была особенно озабоченная, с посетителями говорила тихо, коротко и, отпустив, сидела неподвижно, с опущенными глазами. Он то и дело поворачивался в ее сторону,

чтобы видеть, не изменится ли выражение ее лица, и ругал себя за глупость, которую сделал и сегодня, несмотря на такое настроение, не поклонился ей, как всегда. И вдруг, заметив ее взгляд на себе, быстро поднялся со стула и сказал, рассмешив всех:

— Здравствуйте, Марина Александровна.

Завконт взглянул на часы, — на них было одиннадцать.

— Что это вы, Вилкин, плохо спали, повидимому?

— Нет, я спал очень хорошо, вы ошибочно составляете убеждение о человеке.

Марина очнулась, лицо ее просветлело, — он узнал в ней какой-то кусочек прежней Марины, о которой все утро жалел: глаза округлились, зрачки затеплились искорками, брови вскинулись, и даже поднялись плечи, как бывало.

— А я тоже думала, Вилкин, что белые ночи действуют одинаково на всех без исключения.

— Нет, Марина Александровна, вы тоже ошибаетесь.

— Может быть...

После занятий Марина догнала Вилкина на улице и взяла под руку.

— Погодите, не шагайте так быстро. — И ни с того, ни с сего опять подняла старый вопрос. — Вилкин, вы очень жалеете свою собаку, наверное, никогда мне не простите за нее?

— Да, я не предсказал себе относительного вывода, иначе не позволил бы сделать такой поступок с животным.

— Вы очень торопитесь? Если можно, идите потише, я не могу за вами.

Марина совсем умерила шаг и так сильно дернула за рукав, что Вилкин шагнул в сторону с тропинки, и совсем просто, как-будто они давние, закадычные друзья, громко воскликнула:

— Хоть один раз можете вы позабыть свой деревянный язык и говорить со мной по-человечески? — Она оборвалась и сразу заговорила тихо. — Знаете, у меня вышла крупная ссора с мужем сегодня утром, могу я вас попросить об одном одолжении?

Мгновенно пришла мысль: наверное, что-нибудь опять в роде той просьбы в лесу, после Коськиной истории. Вилкин порывисто остановился и стал шарить по карманам, лицо изображало испуг.

— Понимаете, ключ позабыл в конторе от своего ящика. Вот будет дело, если сторож залезет в заказную корреспонденцию. Ах ты, вот досада какая!

Избежал удивленного взгляда Марины и зашагал по улице. Добросовестно дошел до конторы, потрогал запертый ящик и покурил с Коськой в телеграфной комнате, — он был дежурным.

— Ты что это вернулся?

— Да кисет оставил, а дома табаку нет ни крошки.

7

В откровенные минуты с самим собой Вилкин признавался себе, что весь вопрос заключался не в чем ином, как в боязни связаться семьей. Не мог представить, как это он, Вилкин, вдруг опрост'оволяется и даст себя оседлать. Так думал, да так и было. Но день за днем, день за днем настолько свыкся мыслями с Мариной, что, казалось, она ежеминутно, и днем и ночью, присутствует в комнате, и трудно было уже другое: представить, что будет, если она вдруг исчезнет куда-нибудь. Казалось, ни одной минуты не сможет остаться здесь, на Лене. «Закуканился», — определял он мысленно свое положение. После бегства за придуманным ключом он почувствовал, как Марина изменилась к нему. Она отвечала на поклоны, которых он теперь не жалел каждое утро отвешивать, отвечала и на вторые поклоны пять или десять минут спустя, по его рассеянности, но чрезвычайно равнодушно, «абсолютно» без внимания. Даже что-то в роде испуга мелькало у нее в глазах. Ни словом не обмолвились о ключе, как-будто поверила. Уж лучше бы обиделась. Теперь, казалось, все пути к ней и подходы будут встречены молчанием и испугом в глазах. Вилкин потерялся и погрузился в ожидание чего-то. Сплошные дни, налитые светом и зноем, утомляли, а ночи тревожили еще больше. Он чувствовал постоянную занятость, постоянно было некогда, в то же время что-либо сделать было для него большим трудом. Был наполнен мыслями о Марине, для иного не хватало места. Некогда стало смотреться в зеркальце, стал неряшливым, рассеянным, часто приходил в контору в расстегнутой сорочке до темных кустиков на груди. Была неловкость в работе, от этого постоянное раздражение. А в довершение всего каждую ночь завывала поселившаяся где-то поблизости сова. Никогда он не предполагал в себе суеверности, всегда смеялся дома над матерью, если она, уронив вилку, ждала гостя, а услыша вой собаки, — покойника или пожара, но сам однажды поймал себя на гаданье: загадал о Марине и старательно считал, сколько раз крикнет сова. Вышел нечет.

— Где она, проклятая, кричит? — спросил он у хозяина.

— А где больше, как не на зародке где-нибудь. А я вот, паря, ничего не слышу, день-то намахнешься косою, никаких сычей не знаю.

Хозяин каждый вечер приезжал с покоса на двухколеске, полной душистого сена, и весь обрызганный зелеными листочками и распыленным цветом, кидал вилами на поветь. Потом ужинал, и через минуту начинал громко храпеть под навесом, в санях, на кошме.

— А я вот слышу, что же в этом особенного, — сказал Вилкин вызывающе, — ты физического труда работник, а я — умственного, разбираться надо.

На следующий день Вилкин только что пообедал, по обыкновению залег на кровать и погрузился в свою странную лень, когда трудно и некогда прочитать газету, но его поднял громкий стук в окно. Прибежала хозяйская деваха, красная, как кирпич, и закричала:

— Тятка велел скорее итти с ружьем — сова сидит недалече!

— А, черти бы вас взяли, что я, гоняться, что ли, буду за ней с твоим тяткой!

Хотел залечь опять, но оживился, сунул в карман два патрона, снял двустволку со стены и догнал деваху. Она привела его на свой покос в редких кустах и показала: на длинном колу разломанного зарода сидела большая белая сова. Леня мгновенно соскочила. Вилкин согнулся в дугу и, высоко поднимая ноги, чтоб не задеть травы, стал подкрадываться. Уже можно было разглядеть мохнатые лапы, вцепившиеся в кол, пушистая ушастая голова внимательно поворачивалась кругом, как на стержне. Надо было бы дураку стрелять, но нет, дай подойду еще ближе — и сова полетела. Уселась на колу следующего зарода. Опять скрадывал и опять спугнул: чуткая птица больше не подпустила на выстрел. Наконец, скрылась в густом ельнике на болотах. Стиснул зубы и побежал следом. Помочи, не поднятые на плечи, цеплялись за сучья, вправлял их на ходу в брюки, но они тотчас же вылезали и снова цеплялись, с сухих ветвей сыпалась ржавая колючка и прилипала к потной шее, колола на спине, хотелось бросить ружье и послать все к чорту. Сова сгнула: в ельник не проникали солнечные лучи, она хорошо видела и укрылась от преследования. Надо было выбираться обратно. Низко пригибаясь, пошел по мягкой, выбитой коровами тропе, увидев впереди свет, по охотничьей привычке неслышно подкрался к небольшому болотцу, окруженному сплошным высоким ельником. Оно напоминало колодезь, на дне которого — небо. Солнце било в край и, отражаясь в воде зеркальным блеском, резало глаза. Длинные извилистые струи, как змеи, извивались, то вспыхивая, то угасая: кто-то живой шевелил воду в болотце. Привыкнув к блеску, шарил глазами, но не нашел никого. Вдруг раздался шум воды: с самой середины стремительно взлетела утка и, не поднявшись и до половины зеленого колодца, упала назад и исчезла в воде. По освещенным елям скользнула темная молния — тень другой птицы: пестрый огромный ястреб черкнул по воде крылом, взмыл кверху и уселся на верхушку сухой, самой низкой ели. Сжался в ком, весь подался вперед и замер. Вода колебалась спокойнее, было тихо и уютно в зеленых тенях болотца, казалось, ничего не происходило несколько секунд назад. Так же неожиданно с другого места, из-под кустика осоки взлетела утка и мгновенно, не успев распусть как следует крыльев, неуклюжим смятым комком упала обратно, коротко крикнув, — протянутые из сверкающих перьев лапы едва не достали ее кривыми когтями. Ястреб опять сидел на ели, беззвучно колебалась вода. Вилкин приготовил ружье и ждал появления утки, чтобы выстрелить. Но следующий взлет ее был неожидан настолько, — и для хищника, и для охотника, — что ни тот, ни другой не успели сообразить, — она чуть не вырвалась из колодца. Высоко над елями раздался безумный крик, две птицы сблизились, и утка опять упала, обдав брызгами болотце. В чаще затюлюкали утенята в страхе. Грох-

нул выстрел, как в бочке, — ястреб опрокинулся и закувыркался с сухой ели, вихляя изломанными крыльями. Минуту спустя, зеркальная вода шевельнулась снова, совсем близко в осоке послышался осторожный, призывный голос матери. Из травы под деревьями друг за дружкой, торопясь и путаясь лапками, появились утята, проворно скатывались желтыми шариками в воду и, найдя мать, успокоенно затараторили. Не хотелось двигаться, чтобы не испугать выводок. Утка все смелее подавала голос, выдвинулась на чистое место, на спине ее ехал утенок и, теряя равновесие, балансировал коротенькими крылышками.

«Природная борьба за размножение» — подумал Вилкин и бесшумно пополз от болота на четвереньках, ступая ладонями в рыхлую землю на коровьей тропе. Он полз дольше, чем нужно, по белой сорочке струились полосатые тени и золотые блики, полз и боялся тронуть ветку, издать шорох. Голова была наполнена яркими пятнами оборванных мыслей: прозвучали слова Иннокентия о Весте, которую держал взаперти, боясь щенят, вспоминалась Марина в лесу с разорванной косынкой, и опять мысли возвращались к утке: какой ужас должна была испытать она под когтями ястреба, если не слышала даже выстрела, но ни на секунду не забыла о детях и, рискуя жизнью, пыталась увести его прочь, отвлечь, спасти детей.

Когда вышел из ельника, вспомнил о сове: опять будет кричать по ночам.

«А, между прочим, ерунда и бабьи мнения», — отмахнулся он, После мрака в чаще на лугах показалось особенно просторно и необыкновенно светло. И вверху в небе, и внизу на земле не было ни души, только мошकारа танцевала в неподвижном воздухе, словно поднятая пыль. Солнце медленно склонялось над зеленой прохладной постелью, в даях уже поднимались тонкие кисейные пологи и цветные одеяла — туманы, ширь, простор; золото пшеницы зачервонело в голубой чаще хребтов, все изменялось с каждым мгновением, таяло, струилось, красилось, загоралось и угасало.

— Эх, мать вашу за ногу, — вздохнул Вилкин, — неужели тесно: волесть на триста верст, одна деревня в десять дворов на двадцать верст! — Белая сорочка на нем горела розовым огнем от последних лучей и мгновенно сделалась синей; солнце село. «Хорошо, ну, пусть ей нужны дети: один, два, три, в чем дело? Места, что ль, не хватит?». Как и не раз уже, пришла снова мысль при первой встрече сказать Марине: «Эх, Маринка, давай бросим дурака валять». «Крупная ссора с мужем...». Сейчас он не сомневался, что эта ссора из-за ребенка.

Притаившиеся в траве кузнечики испуганно брызгали из-под ног, прыгали навстречу, а некоторые, очумелые от страха, сидя на сорочке, пачкались своим черным дегтем. Осторожно стряхивал их и приговаривал:

— Спать, ребята, спать!

Навстречу надвигались кусты, на мочежинах, сейчас же за селом, повеяло прохладой, Вилкин похлопал себя по обнаженной потной груди и позабыл все волнения, подсвистывал потихоньку неторопливому шагу и в эту минуту никакого насилия над собой не чувствовал в своем решении взять Марину с ее будущим ребенком. Она представлялась совсем худенькой и слабенькой, — в ее любви к себе он не сомневался сейчас нисколько. «Довольно, точка, секретарь, зафиссируй».

Вдруг он приостановился и взгляделся в первые кусты в сторону от дороги.

— Марина Александровна, это вы? Гуляете, эфирным пространством подышать захотелось?

Кусты были низкие и не густые, Марина с непокрытой головой, со сбившимися на глаза волосами стояла полусогнув спину и, когда он, разгребая ногами ветки, сделал к ней несколько шагов, испуганно попятилась, будто хотела бежать. Вдруг бросилась вперед и схватила за руки: под ногами — едва не наступил грязным сапогом — лежала коробка, зашитая белым новым полотном, похожая на почтовую посылку.

— Чуть не наделал грехопаденья, не видал, извините. Что это такое вы здесь совершаете?

Марина подняла руку, испачканную землей, и согнала с лица комаров.

— Вилкин, уходите отсюда!

Возле куста темнелась ямка в поларшина глубиной, ровно вырытая, с правильно обрезанными краями, тут же валялся кухонный нож с налипшей землей и волосками травяных корешков.

— Вилкин, уходите отсюда! — повторила Марина. Лицо ее было измученным и даже больным. Он пожал плечами и скривил губы.

— Ну, если такие соотношения и капризы...

— Уходите отсюда прочь, — закричала Марина и заломила пальцы. Он еще раз пожал плечами и пошел, не оглядываясь, к селу.

Нервно дергал плечами, ружье на ремне подпрыгивало и тыкалось в небо, было обидно после великодушных намерений получить неожиданную и незаслуженную грубость. Какая-то еще неопределенная, но очень злая мысль вилась вокруг головы, как комар, но вдруг он остановился и оглянулся на темные кусты, оставленные далеко позади. В его голове мгновенно соединились мысли, до этой минуты разрозненные, раз'единенные: Марина два дня не приходила на службу в контору, ямка под кустом похожа на маленькую могилу, ящичек — на игрушечный гроб. Что-то об этом хотела она сказать, когда он бросил ее на улице под предлогом забытого ключа. Надо побежать назад, что-то сделать, помочь, объяснить, но не двинулся, только снял картуз, поднял руку, положил ее на голову и медленно проводил по волосам, будто гладил кого-то и успокаивал.

Ровно неделю Марина не появлялась в контору. Два раза была почта снизу и два раза сверху, пароходы гудели, бросали якорь, снова гудели и уходили, — не появлялась она и на пристани ни разу. Вилкину пришлось заменять ее: продавать марки, принимать заказную корреспонденцию и поспевать со своей работой. Он поставил свой стул к ее окошку и нисколько не тяготился, наоборот, ему было приятно что-то делать для нее, хотя бы и по распоряжению завконта. Когда она явилась, старательно объяснял ей, что и как сделано, продано, раздобыл вместо табурета стул и много раз справлялся, отрываясь от работы, удобно ли стоит столик и не низок ли стул.

— Под него можно доску положить, Марина Александровна.

— Да, что это с вами, Вилкин, вы что-то чересчур стараетесь, спасибо, мне теперь гораздо удобнее, только я ведь не надолго, собираюсь уволиться.

Вилкин недоверчиво повернулся к ней, но понял, что это правда, по спокойной улыбке, с которой она глядела на него. Тогда он отодвинул от себя книги, поставил локти на стол и хотел обдумать эту новость, но не мог. Оторвал клочок бумаги и быстро написал: «Насчет увольнения — невероятно, если это факт. Надо перенести с природы в жизнь человека, получится сравнение, только человек не имеет здравого рассуждения и поэтому рискует своей жизнью и отчасти здоровьем. Мне непременно надо поговорить с Вами лично, сегодня, необходимо». Поднял, положил клочок на столик Марине и сел на свое место. Марина прочитала, пожала плечами и вслух сказала:

— Ничего не понимаю, Вилкин, и, кажется, никогда не пойму.

Он едва просидел до конца занятий. Поднялся за пять минут, запер ящик и нетерпеливо глядел на часы. Коська вынес квитанцию на телеграмму рассыльному вика и сказал:

— Ну, Вилкин, ты теперь не работник — охота началась. Сейчас пообедаешь и на болота, наверно. Одни утки в голове.

— Да, но, может быть, и нет. Охота — серьезная философия, может быть, она необходима для каждого, чтобы понять силу природы.

— Понес, — махнул Коська рукой и ушел в телеграфную.

Вилкин видел, как Марина неторопливо прибирала свой стол, вошла в железном сундучке, пересчитывая листы марок, и досада начала закипать в нем: если не желают с ним разговаривать, то он во всяком случае никого силой не заставляет. Засунул руки в карманы и большими шагами вышел из конторы, дав себе слово не оглядываться до самого дома. Но Марина догнала на улице.

— Ну, Вилкин, говорите. У меня очень скверное настроение, поэтому вы на меня не обижайтесь. Пойдемте по берегу.

Она пошла вперед; в ближнем переулке свернули и спустились к самой воде. Горячие лица тронула прохлада от реки, от легкого течения зеркало рябило, и камни на дне двигались и растягивались, точно живые. Вилкин решил сказать самое главное.

— Марина Александровна, у вас печальное настроение, но я тоже не в веселом. Только надо пересоздать свой пессимизм на наши соотношения.

— Вилкин, оставьте же хоть на одну секунду свой язык, не нужно ничего пересоздавать вам, кроме одного вашего языка. Я не могу его слышать. — Марина отвернулась и носком туфельки ковырнула в воду камешек. — Говорите, я слышу!

— Я имею предложение, потому что понял вас и себя. — Вилкин расхрабрился: подошел сзади и взял Марину под руку. — Я понимаю все и ничего не буду иметь против.

Она отняла руку и отошла на шаг вперед, так что желтые туфли оказались у самой воды, носки начали мокнуть и темнеть. Из белого свободного воротника протягивалась тоненькая шея с золотистым пухом, хотелось разглядеть, как закрутились волосы на маковке упрямым вихорком, но плечи нервно вздернулись, и Марина резко повернулась раскрасневшимся и сердитым лицом:

— Вилкин, вы очень хороший человек, лучше вас я здесь никого не встречала, но почему вы всегда опаздываете? И теперь — поздно. Совсем поздно. Вы говорите мне о природе, а природа разве рассуждает, как вы? Она делает. Я гораздо ближе к природе, чем вы, хотя вы и охотник и много говорите.

Марина замолчала и потупила глаза.

— Знаете, доктор сказал, что у меня никогда не будет больше детей...

Показалось, — она вот-вот заплачет. Она глотнула горлом и уж свободно, как-будто ничего и не было, продолжала:

— И не надо, через месяц я уезжаю опять учиться, буду спецем. Вот что, Вилкин, вышло из меня. И до свидания. — Она протянула руку. — Проводить на пристань приходите непременно, у меня ведь никого нет, с отцом отношения через все это очень неважные. — Улыбнулась. — Смотрите, только не опаздывайте. Не сердитесь, я ведь к вам очень хорошо отношусь. Буду сидеть до отъезда, готовиться, а то все перезабыла. Многому научилась, целый курс прошла, а много пропустила. Идите, ведь вам на охоту надо.

Вилкин снял фуражку, погладил стриженую голову и поглядел на мокрую ладонь.

— Я плохой охотник, Марина Александровна, больше не хожу. Молча поднялись на угор.

— Вилкин, вы не сердитесь?

— На кого же мне сердиться? Я, может, тоже уеду к матери в Иркутск, может, на одном пароходе придется, вы не будете иметь против этого факта?

Марина посмотрела в глаза и серьезно сказала:

— Если сказать правду — буду иметь. Вы будете мешать мне, потому что все-таки природы во мне больше, чем в вас, а я должна быть спецем. Да, вы совсем плохой охотник, вам не стоит ходить на охоту...

Она еще раз пристально взгляделась в глаза и добавила как-будто с досадой:

— И в Иркутск вам незачем ездить.

Вилкина кольнуло, он затвердел мгновенно и вз'ерошился.

— У меня мать и сестры там, позвольте вам заметить.

— Может быть...

— Этот факт вам известный. И позвольте вам заявить, если вы окончательно поставили вопрос ребром, ваши мечты тоже фантастические.

Марина пожала плечами и, не взглянув, пошла по берегу. Вилкин поднялся на угор и зашагал по улице. Губы его презрительно сдвинулись на сторону и чуть заметно дергались. «Пожалуйста, пароходов хватит, можете не беспокоиться, никто навязываться не будет. И в Иркутске хватит места разойтись при встрече, — в любую сторону!..».

О литературном герое

ВИССАРИОН САЯНОВ

Привычка фамильярничать с героем,
Быть с ним на ты, и свысока
Глядеть на жизнь его, на мелкие забавы,
На самую любовь героя к героине —
Уже давно вошла в литературу.

Конечно, нет рецептов, по которым
Смогли бы мы живописать героя,
Как нет, понятно, точных указаний
На все детали в нашем ремесле.

Но слышишь, как классической повадкой
Над паводком всех наших пресных рек,
Над полупресной бурей с Финского залива,
Над льдами в Северном Полярном море
Встает совсем особенный герой.

Когда в пятнадцатом столетии герцог Альба
Вошел с солдатами своими в Нидерланды,
В страну, где на горшке,
На пузыре свином,
На тонкой камышинке
Наигрывали роковые песни
Столетиям, идущим под уклон, —
Один из тех полков, которые жестокость
Неистового герцога узнали, восстал
И перешел к врагам, чтобы сражаться
Под знаменем мятежных Нидерланд.

Спешило поздней ночью донесенье
Полковнику восставшего полка:
«Полковник! Вы и каждый из вашего отряда,
Попавшийся мне в руки,
Повешен будет палачом отменным
На первом повернувшемся столбе».

Полковник оглянулся:
Дорожные качались столбы,
И от зеленых перекладин лип
Ложилась тень на узкую дорогу,
Но пар вставал от розовых подпалин
Замученных и пристальных коней,
А волонтер сидел на барабане,
Трактирщицу взыскательно обняв.

И написал тогда в ответ полковник:
«Я облегчаю ваш непроходимый труд.
Любой солдат из нашего полка отныне будет
Носить с собой веревку, гвозди к ней,
И весь набор, потребный палачу
Для скорого свершенья приговора».

Полковник знал, что делал, — и ни один солдат
Не сдался в плен живым, а большинство
Оставшихся в строю после конца войны
Носили на плече, как знак кромешной славы,
С веревкой крепкою два ржавые гвоздя.

Должно быть, такова всегда судьба героев:
Узнав лицо беды, лицом к лицу
Смотреть на смерть и солнце,
Не отводя глаза
От черного слепительного света.

И мой герой — не малохольный мальчик,
Не меланхолик с тростью и плащом,
Не продувной гуляка, о котором
Кругом дурная песенка бежит.

Нет, человек обыденных примет,
Невзрачного геройства,
Не ради славы и жизнь саму приемлющий
И смерть,
Но делающий подвиг потому,
Что иначе он поступить не может, —
Единственный понятный мне герой.
Он за станком в тяжелой индустрии,
Он за кайлой на горных приисках,
Он плуг ведет по всем полям Союза,
Он — кочегар, он — летчик, он проходит
Сквозь жаркие теснины океана,
Сквозь духоту всех четырех стихий.

Но мы пока в глуши
Блуждаем между четырех деревьев
И неумело создаем героев.

Они у нас приглажены. Наведен
На них известный лоск. Они решают
Вопросы пола, влюбляются, страдают
На фоне модной, несомненно, темы.
И пафос весь уходит на любовь.

И вот живет писчебумажный мир:
Героя в чернильный ад ввергают за грехи
И в картонажный рай за доблести возводят.

Слепая ночь восходит над Европой,
Заря шумит над нашей страной.
Уже идет герой в литературу прозы,
Сквозь дым и гарь, сквозь корректуры,
Как через весь громоздкий этот мир.

На покосе

МИХ. ГЕРАСИМОВ

Ты глядишь украдкой
На меня, мой друг.
Пеной клевер сладкий
Из-под крепких рук.

Вдруг глаза ты строго
Опускаешь вниз.
Пышет из-за стога
Щек твоих анис.

Силу измеряют
Песни, голоса.
Молнией ныряет
Юркая коса.

От могучих взмахов
Затрепещет враг:
Красная рубаха
Плещет, словно флаг.

Мне изгибом милым
Только дрогнет бровь,
Непомерной силой
Закипает кровь.

Сталь звенящим жалом,
Ну, пошла нырять.
Ты в косынке алой
Села вечерять.

Глазки голубые
Светят за ходмом.
Сосны и дубы я
Режу напролом.

Просеки за мною,
Стонет старый лес.
Вот махнул косою
В глубину небес.

— Хочешь, брызнут грозы
В тихой синеве,
И луну, как розу,
Срежу я в траве?

— Ах, какой ты глупый
И смешной до слез...
Под ногами трупы
Вязов и берез.

— Поцелуй, не мучай,
Больно ты строга!
Вот мечу я тучи
В копны и стога.

Все крепчают взлеты
Загорелых рук,
Облака в ометы
Наметал, мой друг.

Чтоб пленилась силой
Милая по гроб:
Солнце я на вилы
Вздену, словно сноп.

От могучих взмахов
Пусть трепещет враг:
За спиной рубаха
Плещет, словно флаг.



Письмо в Америку

Б. ЛИПАТОВ

1

МАРКУ нужно наклеивать в правом верхнем углу конверта. Это облегчает контроль, делает возможным наложение механического штемпеля — длинного и полосатого, — ускоряет пересылку.

А ведь не так давно было время, когда по квартирам, загроможденным какими-то нарочитыми, ненужными вещами, в тень раздавленных буфетами столовых, в гостиные залы с гнилозубым паркетом, не то в холод, не то в сырость, в запыление, скуку и страх входили, влезали, втискивались плечом с прыжью от бывшего погона, с заштитенным лицом, с усталостью под скомканными веками, с прелостью давно не снимавшихся сапог, и в шопоте, в грусти, в скучной серой обязанности передавали прогнутое, промятое, слепленное в блин письмо.

От письма шарахались, не верили, что это от Павлика, потом начинали не верить, что Павлик в каком-то Александрополе, что Павлик торгует газетами, и пересылка письма стоит 10 рублей и что расписку подателю можно дать, так как Павлик все равно уплатил за расписку, и она доставит ему радость и подтвердит, что получатели живы...

И эти сухие письмоноscopy тенями, духами, призраками, страшные, как телеграмма, как ордер, как конверт с черной каймой, ювелирно пробирались по российским раздорам и просторам, вшивели, впопыхах расстреливались, и тогда письма доставлялись уже не письмоноscopyами, а с обременительной торжественностью, передвиганием мебели, перетряхиванием матрацев, пачканьем полов массой валенок и сапог, лязгом всяческого необыкновенного вооружения.

И за получением приглашали с собой так же триумфально и чопорно, и строчки письма вытягивались километрами стесненных дней.

Но эти подвижники как-то быстро исчезли, словно за ненадобностью: не о чем и не о ком стало писать; молчаливые и скромные почтальоны поняли оласность переноски красной и белой ненависти, ровно уложенной в конверты, так же строка к строке, как и родственные поцелуи, и пожелания здоровья.

Память Стивы Рудакова хранит один такой оказионный конверт с адресом, и в правом углу, верхнем, химическим карандашом слово

«Трударвосо». Непонятное и рассыпчатое слово, точно какая-нибудь буссагирская марка, — и как раз на месте марки — в правом верхнем углу.

«Трудовая артель бывших служащих военных сообщений» — вот о чем говорило это слово и прорыжь от бывшего же погона на плече, влезавшего во мглу резных буфетов, под сень развешенных пеленок, в моменты слез, свадеб, родов и обысков или, что было проще и чаще и о чем уже говорилось, — слышался лишь надрыв конверта, хрупкий и неровный, и шинель падала на землю, как разорванный конверт, и все плыло перед глазами, как недочитанное, мучительно интересное письмо.

2

«...Я — Стива Рудаков, пусть, — хоть я давно уже Мстислав Романович Рудаков — помощник заведующего техническим отделом «Севостхима», — принадлежу к числу ответственных работников. У меня, по видимому, ясная и быстрая голова — сокращения и передрыги меня не задевают. Работу люблю.

Постойте, Анечка, я пишу не о том. Собственно, для чего эти чиновничьи, почти анкетные строки. Я так много времени убил на то, чтоб достать ваш адрес, и теперь... Вероятно, мне хочется обрамить себя технической фуражкой, синевую выбритых щек, припухлым портфелем и почтительностью рассыльных. Неужели бывший гимназист прячется от себя? Мстислав Романович прячется от Стивы. Бросьте! Или, как вы говорили (говорите?) — бьетесь!

Жестокая нелепость, — что мне надо через, — ну, да! — через девять лет! Жестокий счет.

Анечка, сегодня на службе я передал пачку материалов на исходящий журнал. Журналист пожевал губами, посмотрел в стол, задумался. Строго позвал рассыльного, и долго шушукался с ним. Тот сбегал за заведующим хозяйством. Все трое стоят и совещаются, — какой нужен огромный пакет, ужас! — в лист. Нежели итти покупать? Ведь, поди, дорого: копеек 12. Выписывать ордер! Посыльный гудит: — можно веревочку... Кончили тем, что они втроем заклеили пакет в старую газету. Вся процедура украла у трех служащих по сорока минут. Может, это они украли по сорока минут.

Анечка, простите. Что поделать: жанр. Это — режим экономии. Вы скажете — анекдот, фельетон... Анечка, я все время думаю, что пишу интимное письмо. Интимное».

3

Этот человек был скульптором. В том городе, где он работал и преподавал, можно видеть два-три бюста его работы. Плохонькие, скучные.

Владимиру Афанасьевичу было за сорок. Его лысина давно была ристалищем шуток как словесных, так и в форме веселых рисунков тушью и сангиной в духе античных фресок на сосудах. Розовое поносяще лицо его казалось растопыренным от торчащих ушей, высоко поднятых бровей, широко и вразбежку поставленных глаз, рассеченного бороздкой кончика носа, растянутых вечной улыбкою губ, белесыми, опять-таки враскидку усиками, со смешком, слюнями, жиром и икотой,—таков был Владимир Афанасьевич Хрусталеv. Грязный, неряшливый, близорукий, он вечно всех путал, хватал за плечи, хихикал над своей ошибкой, поспешно вытирал потерпевшего платком и отбегал. Его любили в каком-то общем согласии и общей потребности. Он знал это.

Владимир Афанасьевич был все же умен. Самым печальным в его жизни было отсутствие больших встреч. Казалось невозможным, чтоб художник не столкнулся хотя бы на короткое время с кем-либо из крупных людей. Но так как-то вышло, не наскочил ни на что крупное.

Где-то под спудом у него была жена, блеклая, бесконечно добрая, многодетная и любящая. Владимир Афанасьевич второпях, пугливо и бестолково изменял ей, отбрыкивался от сплетен и новых нападений женщин, прятался и лепил бюсты по заказу городской управы.

Когда красные подошли к городу, Владимир Афанасьевич оказался в числе подлежащих эвакуации в Сибирь. В вагоне были оставлены места на всю его семью. Владимир Афанасьевич бегал, как ошпаренный таракан, всех путал, кончил тем, что удрал от эшелона, и через час вернулся, приведя на вокзал семнадцатилетнюю Таню Берсенеvu, уступил ей свое место, мелко и дробно покрестил жену, детей, Таню, хихикнул на прощанье и убежал. Когда Ольга Андреевна стала утешать девушку, оторопевшую и взвинченную (при этом Ольга Андреевна не знала сама, что она могла посулить этой чудной, голубоглазой, страшно нежной Тане), — та вдруг метнулась ей на шею и напрямик об'явила Ольге Андреевне, что она любит Владимира Афанасьевича за все,¹ за все!.. Ольга Андреевна не удивилась, поцеловала Таню в лоб, вытерла ей слезы и сказала только: «Ну, и хорошо». Когда дети легли спать, и Таня тоже свернулась в уголке нар, Ольга Андреевна, поджав губы, пересчитала своих детей и, не дрогнув, один раз палец, помогавший счету, остановила на Тане.

А на другой день Владимир Афанасьевич схватил за плечи какого-то поручика, икнул, обдал его слюной, с чем-то непонятным и сердитым согласился, — и немного погодя его видели за семафором. Он ехал на платформе, сидя под стволом трехдюймовки, выбросив вперед ноги в полосатых брюках и сандалиях. Полы визитки были раскинуты в стороны, несвежее канотье лезло на нос. Владимир Афанасьевич доедал бутерброд с кетовой икрой—это было все, что он догадался захватить. Впереди была сибирская магистраль, бегство, неизвестность, чорт знает что.

4

«...Вы будете, Анечка, возражать. Вы, может, не ответите мне вообще, вы в этом шикарном Сан-Франциско, вероятно, отвыкли от того, что зовется интимным. Глупо. Не зачеркиваю.

Уверяю, — в России хорошо. А мне нехватает вас и вечно не будет хватать. Я чувствую вас и сейчас, вы для меня вневременны и обязательны.

Но ведь для меня-то все случившееся так ведь и остается тайной. Я долгое время был подавлен догадками, теперь на смену им пришла бесстрашие. А, кажется, увидеть вас на минуту, обменяться двумя словами, и—снова пойдут догадки и мучительства.

Ах, как быстро идет время, как мало его, неужели вы не ощутили всей лирической бесполезности моего письма? Оно доходит до вас состарившимся и блеклым, его сушат континенты, и дряблость океанских туманов раз'ела его складки. В нем нет пафоса и мужества. Почта уныло тащит его, — то ли дело то, ваше, письмо, полученное мной по оказии... По временам были и письма. Трударвосо какое-то!..

Сейчас, конечно, сытость. Ваша АРА давно отчиталась в количестве спасенных от голода душ. Сейчас мы можем накормить двести Америки... Благодушие.

Одно: нехватает времени. У нас в конторе бухгалтер, человек с пролысью, в очках и великий специалист. Над ним трунят, что он в группе церковников какой-то староапостольской веры... Что-то в роде. Услышал он это, побренчал на счетах, очки закатал на лоб и так, никому, сказал: «Вы говорите — староапостольская? Эх! Мудрено. Я-то вот, если, разве что, послезавтра освобожусь, тогда только лишь в бога-то верить буду. В свободное время».

Анекдот, Анечка, опять анекдот... И все из конторской жизни...».

5

Вот что было тогда...

— Ваше имя?

— Мстислав.

— Полностью (раздраженно).

— Мстислав Романович Рудаков.

— Род занятий?

— Учащийся, гимназист.

— Призыву подлежите?

— Освобожден. Катарр горла.

— Зачем вам нужно в город Ишим?

— Это мой дом... Сюда я наездом, по торговым делам.

— Вы сказали, что вы — гимназист.

— Да, но сейчас, не забудьте, каникулярное время, — и я помогаю отцу.

— Вы имеете отсюда товар; думаю, затруднительно будет дать разрешение на перевозку...

— Увы, я порожняком. Я приезжал выкупать векселя.

Комендантский ад'ютант выписывает пропуск, хлопает печатью и подает его молодому человеку. Тот кланяется и идет к двери. Ад'ютант звонко и резко щелкает шпорами. Гимназист остановился и почувствовал на себе липнувший взгляд.

— Вы что-то сказали? — повернулся он к офицеру.

— Да, — ад'ютант трогает свой защитного цвета плотные английской работы аксельбанты, — как это у вас там насчет прокламаций?

— Простите, я не понял... — Гимназист идет обратно к столу.

— Ничего, ничего... Когда выйдете, — скажите за дверь, чтоб шел следующий.

Мстислав Романович Рудаков стоит на крыльце комендантского управления и рассматривает свой пропуск. Розовая бумажка с правом проезда по железной дороге и водным путям до города Ишима. Мстислав Романович теревит тонкими пальцами свои желтоватые, перистые, ершистые усы. Сошел по ступенькам, купил газету — и прочел очевидное еще по предшествовавшим сводкам сообщение о сдаче того города, откуда бежала Таня Берсенева.

Строгая складочка, — крохотная, но выразительная, — где-то по правому надбровию, вздрагивает, врезывается и снова исчезает, точно ветры разровняли неглубокое русло высохшей речушки. Мстислав Романович медленно идет за угол, шаги его не уложены в определенный ритм, он думает.

У мыслей витиеватый, разбросанный ход. Мысли отдаются в шагах, они, как расплывчатая печать на пропуске, ползут через край, срываються куда-то вниз, втаптываются в пыль. Стива пытается' дать им строгое обрамление, резкие прямоугольно обрубленные границы, — законченность — и — кррр!.. с боковой левой стороны, как у пропуса, же, зубчики отрыва от корешка.

Нет, конечно, дело не в этом; не в том, как согласиться с самим собой, в какой загон затолкать все это беспокойство и вздор... (Стива спотыкается и прикусывает щеку.)

Как добраться до Тани? Теперь постановка ясна — надо перебираться через фронт (рано или поздно, все равно нужно). Таня — это личное, глубочайшее. Прокламации (о которых спрашивал комендантский ад'ютант) тоже глубочайшее, но общественное, и все-таки — чужеватое, не совсем свое, но глубочайшее, — теперь, правда, их с собой нет (все!), — и о них не следует говорить (думать — да). Личное — Таня. Мобилизация здесь, — вокруг этого имени, голубоглазого, страшно нежного воспоминания (работа, режим, схоластика и всякие выкрутасы ужасно отдаляют), — задание тут не причем, хочется плечика, элементарного плечика, подпереть усталые, переполошенные девятнадцать лет, и все это (агитацию, пропаганду, полевого суд в случае чего) сменять на голубоглазую нежность.

Но ведь пушки рвякают звонко и заливчато, как натруженные борьбой волкодавы, в сердце Тани естественная робость и страх (не классовая же ненависть!), — и она бежит сюда, в продолговатую Сибирь, где за телеграфными столбами, в полосе отчуждения уже начинается фронт, — в лучшем случае подразумевается, — кедровые стены пышут деревянными пушками партизан, не суйся! И это «не суйся!» — оно не для Тани, а для...

В первую очередь на восток проехали люди в хаки, с толстыми, короткодулыми, превосходными винтовками; они вывешивали из теплушек ноги в безукоризненно накрученных обмотках, на фуражках у них блестели странные кокарды — велосипедное колесо, увенчанное короной, и со львом и единорогом по бокам; узкая ленточка французского девиза «Dieu est mon droit» — в целом батальон велосипедистов Майдльсекского полка его величества британского короля.

Солдаты скалили хорошо вычищенные зубы, ветер обдувал гладко выбритые щеки и щеточки рыжеватых усов, медные, здоровые, крепкие, как кэпстен, голоса гремели в такт колесам и отдавались в тайге (сейчас же за телеграфными столбами, там, где уже был фронт).

Песня была кратка и выразительна:

Good—by-ye!
 Good—by-ye!
 Zook the silver lines in sky!
 Good bye, Novonick,
 Good-bye, bolsheviks,
 — good-bye! ¹⁾

Пропев ее раз, они дружно и радостно хохотали, эти счастливые наемники, уезжавшие от опасностей, и немедленно затягивали песню вновь. Нет сомнения, что полковник Уорд, командир англичан, по поводу этой песни получил соответственные представления от омского правительства.

Выше сосен пузырьками, комариками тянутся облака вправо, влево, вперед, назад, — беспартийными движениями порхают невидимые и непримечательные скопища паров. А поезд идет на запад, и Стива чувствует себя белой вороной, что вот он едет на запад, и контроль пузырится всякий раз, что это за билет у пассажира такой дальний, — до самого фронта почти. Документы проверяют особо бдительно, даже нюхают.

Через три дня начали тосковать: простояли на станции Тайшет восемнадцать часов, — пропускали вперед военные грузы, безнадежно и взрывчато пытели паровозы погремушистых бронепоездов впереди и позади товарного, снарядного, амуниционного состава. Стива слонялся по перрону (вся жизнь тогда была на перронах — вдоль всей продолговатой Сибири), — покупал раков, семечки, арбу-

¹⁾ Прощай, прощай! Взгляни на небо в серебряных полосах... Прощай, Новониколаевск, прощайте, большевики, прощайте!

зы — и сорил, как все. Было скучно, непритязательно и не особенно беспокояно. На щите, где со времени германской войны еще значилось:

«Прейскурант для воинских чинов
по установленным ценам»

лепилось объявление, писанное окурком, обмокнутым в чернила:

«Коллектив (зачеркнуто). Инициативная группа драмат. ансамбля во вновь отстроенном помещении 1 и 2 кл. даст спектакль Монна Вана Метерлинка второе действие и две картины из леса Островского.

Доклад. (зачеркнуто).

Начало в 7 часов».

И рядом: «Информационное Агентство при Штабе Верховного Главнокомандующего. Документы измены большевиков Родине. Серия 4-ая».

Стива со скукой рассматривает типографические воспроизведения и реденькие клише патриотической серии. Плакат огромный и унылый. Весь в потугах. Кряжистые чалдоны искоса поглядывают на громогласные сообщения о каких-то переводах денег от германского генерального штаба стокгольмскому большевистскому бюро, обязательство, выданное большевиком Караханом некоему шведскому подданному (конечно, — германскому агенту) Карлу Паульсену в том, что он, Карахан, должен разрушить на российской территории 4.000 фабрик и заводов, принадлежащих русским. Обязательство (сфотографированное и воспроизведенное на плакате) содержало анонимный пункт — расписку Карахана в получении следуемого по сему договору. Агентство Верховного Главнокомандующего воздевало (в пояснениях к документу) возмущенные длани в виде пачки громадных вопросительных знаков и восклицало: «Какие Иудины деньги получены этими разбойниками!». Плакат кончался анонсом (буквально): «В скором времени ИНАГ* выпустит серию № 5 и № 6 имеющих в его распоряжении компрометирующих документов».

Ясно, — все ходят, покупают раков, семечки, арбузы и сорят. Скучища.

6

В стук колес можно уложить частушки, Вагнера и даже плач. Реденькое, пустотное всхлипыванье, горестный, безмолвный причет. Слух машинален, — слезы не путают ритмического вздрагивания, — вагон обширен и тяжел, человек, плачущий в темноте на колеблющихся нарах, безвольно применяет свои рыдания к бродяжьей присказке невольного жилья, далям и телеграфным столбам.

Эта ночь была темна, дождлива и тревожна. Безымянный, многоликий вагон проносился по мокрым рельсам куда-то пятым, шестым, пятнадцатым от паровоза, — закупоренный, неизвестный, ненужный и с

пенужными людьми. И в дождь, секущий и холодный, с неотличимой гладкости и придавленности неба, может, даже так, просто продираясь сквозь неподвижный камыш водяных струй,—мчалось гуськом безымянное гремящее стадо. И была ли большая безнадежность в горестях времен и народов, как обрубленный тупорылый бег теплушки, точно отвисающей челюстью, клацающей буферами,—страх, ограниченность, железные ставни, икота свечного огарка в болтающемся казематном фонаре, храп, пеленки и стучающаяся об стенку и гудящая, нелепая, невыносимая, с инкрустацией из перламутра и черепахи — чья-то мандолина. И вот так в животный ужас, распорядок служб тяги и движения, в вой дождя (а может, в шелест камыша) проскакивает прыжка колес, — полная частушек, Вагнера и плача.

Темно. Темно и тревожно. Лес, откосы, бесконечные стояния, и опять вперед в спазмах и решимости несется эшелон. Лес, лес — слитный, неумолимый. И люди в нем мшистые, трескучие, чертоломные. Бороды с навязшими в них шишками. В вывороченных тулупах эти люди, с дубинами в правых руках, и на левых — тяжелые толстые рукавицы. Злые оголтелые волки идут напролом, и ловит звериный фосфоресцирующий глаз мрачную насупленность, настороженность и вызов с этого шерстистого лица. Волк прыгает с задохом в распяленной глотке, воздух, — как комья, и зубы, мгновенно обсохшие и жаркие, вливаются в мягкость и теплоту рукавицы. Но язык зверя не чувствует клейкого аромата крови,—рукавица на левой руке непроницаема,—и что же,—опять насупленные брови и дерзость шерстистой морды человека, — рукавица жмет нижнюю челюсть, охватывает, пригибает, а дубина уже положена на левое предплечье, скользит вниз, и человек словно остругивает свою руку, — страшный удар, — вот он душный вкус крови, который топорщит шерсть, подкашивает ноги и, кажется, еще удар, от которого напрочь отрывается спина...

Точно так же столкнулись две беспощадности,—в войне и зверстве, и страхи прыгали на стыках рельс, слухи шелестели таежной хвоей, — недаром блазнят такие мужики, — и' это будто бы партизанщина! А в ночи что? Вопли дождя, да шершавая темень. Пусть покрестит и поцелует на ночь скорбная Ольга Андреевна, — девичье сердце не свечной огарок, не бездарная мандолина, — нет покоя. Вон колеса опять мотнулись и стали, — паровоз ходил за водой, часа два пройдет, — опять поедет сквозь сторожкий лес и, может, перед тем, как сыпаться под откос с развинченных рельс, послушаем, как это частушки, Вагнер и плач укладываются в бесконечный бег. Главное—плач: обильный, жаркий, безмолвный, невидимый,—отвернувшись к стенке, и так в подкликанной усталости Таня засыпает.

Скучища. И ясно, что все ходят, покупают раков, семечки, арбузы, и сорят.

Пойти разве, воспользоваться случаем, на спектакль драматического ансамбля? Где хоть он состоится и во сколько? Стива круто поворачивается на каблуках, идет к щиту с надписью «Прейскурант для воинских чинов по установленным ценам»: там он давеча выдал афишу.

Но на станционной двери виднеется лоскут бумаги, — может, это тоже афиша, — зачем идти до бывшего воинского рынка. Стива проходит к станции и, — он немного поражен, он немного раздосадован, слегка смущен, — это даже весело!

Он подходит к плакату вплотную и, не понимая, что это, в чем дело, читает аккуратные — крупными приметными буквами — отточенные строки:

«Верочка или Пузик!

Окончательно остановлюсь в Иркутске,
справьтесь в адресном столе. Рекомендую
пождать А. и С. Черных. Белье есть.

Ваш Николай № 10.000».

Стива прочел и ничего не понял. Плакат был прикреплен гвоздиками, пропущенными предварительно через кусочки картона от папиросной коробки (папиросы «Выдумка» фабрики Лопато, Харбин). Видно — дело ставилось солидно, и Николай Десятитысячный мог не бояться за свое творение: уж ветер-то не сорвет.

И, как нарочно, — третий звонок; так и не поняв ничего, — третий звонок выкидывает сухопутные мысли, — ничего не поняв, Стива кидается в вагон чертовски глупого поезда, едущего и даже кого-то везущего на запад в то время, когда все бегут на восток.

Неотвязно в памяти этот вздор гудит и колотится выдуманными словами, и лезут Верочка и Пузик напролом к своему Десятитысячному Николаю, побросав позади всех остальных. Даже смешно. А Николай Десятитысячный серьезно сообщает, что у него есть белье...

Ба! Конечно! В белье вся сила и суть. Разве не бегут позади остальные Николаи, остальные Владимирсы, Алексеи, Иваны — с попугайчьиими клетками, арифмометрами, обязуя своего историка быть зубоскалом и фельетонистом, — раз он обязан, фотографически обязан упомянуть о канотье, визитке, полосатых брюках и сандалиях, о чловеке, который весь размах на будущее держит в руках в виде бутерброда с кетовой икрой, когда впереди — сибирская магистраль, бегство, неизвестность, чорт знает что.

«...Анечка, мое письмо становится апелляцией к вам, прошлому — всему. Неужели все же недоразумение, которое мне так хочется устранить, — в сущности лишь лирическая бесполезность, не правда ли?»

так вот — недоразумение, — лишенный всякой ценности повод, — заставляет меня писать вам.

Забыть. Но забыть — это не значит не вспомнить. А если так, то испытать то же напряжение, ту же огромную значимость отложенной, ценной, до боли близкой вещи.

Поэтому я не поселил в себе длительного воспоминания и привычки к нему. Да и не было времени. Теперь, конечно, катастрофа. Я пишу вам.

Это так легко сравнить: ваше письмо ко мне в Пензу и мое. Пришел стертый дорогой человек в солдатской шинели, подал мне пакет трехнедельной давности. Я расписался: общество «Трударвос» ручалось в известной степени за добросовестность доставки.

В письме было, я помню: Приезжай. Приезжай. Это было в октябре восемнадцатого года.

Казалось бы, все. Я не приехал. Вы в Америке. Я в России. И сейчас двадцать седьмой год. Ведь и так, по совести, все, Анечка! Глупый, одинокий, неусловленный сигнал это письмо. Лирическая бесполезность.

Порой надо смотреть на любовь так, как смотрит Густав. Вы помните горбатого Густава, он был злобным и жестоким намеком на человека? И поэтому его ощущения и чувства были тоже в свою очередь намеком на чувства и ощущения. Женщина, которую он любил, была терроризована. Мало того, что он докучал ей своим обществом, — он утверждал во всех свои неоспоримые права на нее, замыкал это в формулу уже свершенного, оконченного дела. Эта была страсть, внушавшая беспомощную жалость, и эта жалость с ее стороны была налицо. Горбатый Густав, казалось, жил своим темным, страшным, притязательным чувством.

Время раз'единило их. Она полюбила такого, который был ей назначен природой. Густав, узнав, не мучился... Он ждал и при этом приговаривал, что девчонке нужно перебеситься.

Случай (фон — гражданская война) свел ту женщину и любимого ею человека. Даю декорацию и действие. Лес, проливной дождь, полушатар из веток, — где он лежит в лихорадке (что, как — неважно). Нужен огонь, костер, — нужен во что бы то ни стало. И эта женщина часами собирает мало-мальски сухой горючий материал, — нужно поджечь — одна последняя спичка. Роман. Фильма. Робинзонство. Но я даю декорацию такую, как она есть, и я знаю, — и все знают, — спичка была единственная. Тогда женщина снимает свою кожаную шапочку, вынимает целлулоидные гребенки, на плечи рассыпаются тяжелые волосы. Женщина берет тупой нож и на чурбане пилит свои чудные косы. Гребни и пряди вспыхивают и горят, как порох: спичка одна — костер должен загореться. Через час к больному склонилась обезображенная лохматая голова. Мужчина не обратил на это внимания, — его клонило ко сну, было тепло, и на зубках не прыгал край жестяной закопченной кружки с горячим питьем.

Густав узнал и об этом. Он ходит по улицам, встречается знакомых, хватает их за пуговицы своими длинными иссушенными пальцами. Обычно он рассказывает эту историю возмущенным саркастическим тоном. Ни для кого нет сомнений в том, что Густав идиот. Обычно он восклицает, заканчивая: Ну, вот, видите, слава богу, что меня отнесло от этой женщины».

Темная сентиментальная историчка. Вместо вас, Анечка, у меня только историйки.

И все потому, что нам не удалось встретиться. Апелляция историйки. Лирическая бесполезность».

9

Сюжеты слагаются просто и невдумчиво. Жестокость времени отучила удивляться. Загадки не мучительны, и случайности не примечательны.

Владимир Афанасьевич попал в чрезвычайно медлительный эшелон. Ольга Андреевна, Таня, дети с каждым днем все более и более удалялись от него, он же ехал в полной уверенности в том, что их, как и при отправлении, разделял интервал в одни сутки. Но день за днем в промежутки между ними вступали новые и новые эшелоны,— железнодорожный график трещал, свинцовая пробка забивала магистраль.

Платформа была домом и дымом. Владимир Афанасьевич вряд ли придумал бы, что ему делать, если б его посадили с этой платформы. Четыре колеса на рельсах стали его фундаментом, а молчаливая трехдюймовка под брезентовым кожухом — обстановкой. Он спал между ее колес, вытянув ноги под лафет и закрываясь визиткой. Бездумье украшало это путешествие.

Однажды рано утром, перед самым отходом эшелона с какой-то станции, на платформу залез новый пассажир. Высокий, тяжелый лакированный ящик и сверток с провизией были его багажом. Человек улыбнулся Владимиру Афанасьевичу, сел на пол, раскинув ноги, и стал есть. Владимир Афанасьевич последовал его примеру, — достал из-под пушки свое канотье, наполненное купленной накануне красной смородиной, и с жадностью принялся обсасывать веточки.

Новый спутник внимательно посмотрел на него и покачал головой. Владимир Афанасьевич вопросительно насторожился.

— Что же это вы натошак с утра смородину едите? Заболеете.

— Ого! У меня желудок уже привык. Боевой желудок. Ого!

— По хозяину!..

— Ого. Хи-хи-хи...

Владимир Афанасьевич похлопал себя по похудевшим ляжкам. Пропыленные полосатые брючки клубились от его ударов. Владимир Афанасьевич потрогал щетину на щеках и уставился на незнакомца. Тот снова улыбнулся.

— А как ваше боевое звание, господин проезжий?

— Хи-хи-хи!.. Я — скульптор. Скульптор Хрусталеv. Слышали?

— Про Носаря слышал. Вы не Носарь?

— Что это за Носарь? Ах, да, — помню. Революционер такой...

— Совершенно-с верно. Так вы, значит, не Носарь. А моя фамилия Василий Васильевич Зотов, по профессии землемер.

— Очень рад, Василий Васильевич! Забавное столкновение.

Зотов гулко рассмеялся.

— Дас-с! Забавное. Цель поездки, очевидно-с, одна и та же. Сошлись, так сказать, мы с вами на этой платформе. Буквально-с. Ха-ха-ха! А вообще-с, не знаю.

Владимир Афанасьевич обрадовался.

— Каламбурчик! Хи-хи!

Он не удержался, схватил Зотова за плечи, слегка потряс и отбежал к пушке.

Зотов спросил про трехдюймовку: ваша? Немного погодя он уже угощал Владимира Афанасьевича холодным мясом.

— Хорошо еще продукты доставать в скольком угодно количестве можно. Денег не хватит, — теодолит продам.

Он показал на лакированный ящик.

Владимир Афанасьевич беспечно махнул рукой.

— Э! Все дело в штанах, а там хоть ничего не будь!

— Ишь вы! Времена-то как меняются... Вы там, со скульптурой своей, всякие Греции, Рим и, главное, одних голоштанников признаете.

— Ну, а теперь — штаны. От голоштанников, изволите убедиться, надо убежать.

Земемер потупился.

— Приходится, чорт возьми, — сказал он лойяльно.

— Сибирская Одиссея.

— Знаю. Это из Гомера.

— Да, Гомер. И вот, чем хуже? Сосны вокруг, как вспененные волны, солнце, облака, и покачивает. Главное, полное неведение — что и куда. Ветерочки позванивают вдогонку.

— Прямо на еловой арфе запузыривай, — добавил Зотов.

— На Эоловой, Василий Васильевич.

— А не все ли равно. В скольких водах ни мойся, в скольких заведениях ни учись, а бежать так все мастера.

— Вы сибиряк?

— Чалдон, можно сказать, кондовый. Службу по боку и домой.

— Сразу слышно, по говору.

— Ах, вы про говор... Нет, выговор у меня чистый... Насчет арфы вот разве ошибочка.

Владимир Афанасьевич опять захихикал.

— Тут не до арфочек. Были бы пушечки. Семь рюмочек по семь — рупь сорок семь!

Владимир Афанасьевич несет чистейшую блажь. Зотов думает: «Ладно ему головку солнышком напекло!»

На следующей станции стояли долго и муторно. Наконец, проби́ли два звонка. Тут Зотов встрепенулся как-то и обратился с лукавцей к Владимиру Афанасьевичу:

— А что, если я сбегаю, — кедровых шишечек куплю и, как говорится, это самое — самосидочки бутылочку.

— Вот дружба! Вот дружба! — залопотал Владимир Афанасьевич, — вы только к отходу не опоздайте. Вот дружба!

— Догоню, на ходу заскочу... А не догоню, — вы точнехонько у семафора скиньте мой теодолит. Не повредится... Хоть с воздушного шара кидай.

— Ну, еще — опаздывать!

Зотов спрыгнул с платформы и побежал в привокзальную улицу торопкими шагами.

Владимир Афанасьевич в беспокойстве принялся ходить по платформе, облизываясь и похлопывая себя по ляжкам. Он тоскливо поглядывал в завитки домов и загородок, куда скрылся землемер. Он подмигивал пушке, присаживался, обмахивался канотье, снова вскакивал и расхаживал по своей «Галере надежд», как он назвал платформу, — грубую углярную или балластную платформу. Третий звонок мрачно прозвучал в его ушах. Губы, небо, гортань Владимира Афанасьевича мгновенно пересохли, и горькая досада, что вот не придется выпить, захлестнула его.

Владимир Афанасьевич облокотился на пушку и, продолжая глядеть в улицу, прошептал: «О, время, остановись!» — и сейчас же поправился:

— Остановись, мгновенье, — ты прекрасно! — процитировал он довольно явственно, но в это время паровоз дернул, и Владимир Афанасьевич, выкатив вперед ступни, шлепнулся на платформу.

Он тотчас же вскочил и все время, пока поезд набирал ход, смотрел на оставляемую станцию, вот ему показалось, что кто-то бежит и машет ему вслед руками, но нет, это просто подразнило, бег колес становился круче и резче, вот показался костяк семафора с высоко поднятой рукой. Владимир Афанасьевич вспомнил о теодолите, подбежал к нему, схватился за ручку ящика, со злобой подумал о Зотове: «Растяпа! мямля! вот возьму и увезу его хреновину с собой! Ищи!» Приподнял тяжелый предмет и, боясь упасть с платформы, свалил его, в точности поровнявшись с семафором, тут же на забалластированную насыпь у самых рельс.

Когда Владимир Афанасьевич очнулся, гул в ушах и какое-то клетание в горле было первым, что дошло до его сознания. Он попытался открыть глаза, с трудом расклеился один, и медленно, медленно левой рукой Владимир Афанасьевич дотронулся до своего неоткрывшегося глаза. Лоскут кожи, содранный со лба, свисал и закрывал его. Одну половину лица стягивала кровавая лепешка, шерохова-

тая и жаркая. Неясным движением Владимир Афанасьевич отвел и попридержал ладонью этот лоскут, отогнув его на прежнее место. Теперь он видел обоими глазами; и то, что он видел, было густым, бурым, трескучим с искрами дымом, казалось, стлавшимся по лицу Владимира Афанасьевича, обволакивая его и обжигая. Тогда Владимир Афанасьевич упирается ладонью в землю и садится.

Эшелон был об'ят молчаливым пламенем. Под откосом топырились расщепленные теплушки, бегали люди; несколько недвижимых тел рядком лежали на траве. Владимир Афанасьевич тупыми глазами смотрит на эту непонятную, как сновидение, картину. Погнутая изжеванная мачта семафора — была только мало примечательной деталью. Шпалы стояли торчком с налипшими к ним и кое-где свисавшими дугами рельс, как поваленная ветром загородка. Владимир Афанасьевич видит и огромную рваную яму и груды налезших друг на друга горевших вагонов. Он снова упирается глазами в бывший семафор, — недолго соображает и со стоном валится на спину.

Когда он очнулся вторично, то сразу горько заплакал; его плач привлек чье-то внимание. Владимира Афанасьевича берут подмышки, сажают.

— А мы-то думали — вы совсем конченный.

Владимир Афанасьевич отбрасывает лоскут кожи с лица: должно быть, это навело на мысль о его смерти. Он опять замечает рядок недвижимых тел и спрашивает с сожалением и в то же время с жадной радостью и страхом:

— Тогда почему же меня не положили рядом вон с теми?..

— Эх, дедушка, сразу-то тебя не подберешь! Вон она какая серьезная.

Так вон оно что!

Молчаливая спутница его поездки, сбросив свой брезентовый плащ и сорвавшись с валявшегося неподалеку перевернутого лафета, пушка, — серьезная, грозная глыба металла, — своей замковой частью привалилась к его ноге. Колено и голень были разбиты и вдавлены в землю. Из-за пушки нелепо, точно произрастая, торчал остаток ноги, обутой в сандалию. Удивительно: боль не чувствовалась. Люди участливо смотрели в лицо Владимиру Афанасьевичу; белые пятна проступали сквозь сгустки крови. Владимир Афанасьевич слабо и неуверенно откинул докучливый, налезавший на глаз кожный лоскут и тихо выдохнул:

— Ну, так.

Люди взялись за палки и начали откатывать орудие.

... Потолок больницы известковый, белый, потолок санитарного вагона крашеный дающими прозелень свинцовыми белилами, — покой, бездумье, покачивание и слабость.

Ногу отрезали выше колена, голова круглилась в толстом жарком бинте.

— Партизанское покушение, — сказал фельдшер, — движение прервалось на двадцать часов. А что, разве двадцать часов мало в такой спешке! Это, ведь, еще два города потеряны.

«Да, да, двадцать часов, — думает Владимир Афанасьевич, — и это сделал я. Кто же другой...»

— Ну, а теперь посмотрим вашу голову, — развертывая бинт, продолжал фельдшер.

Владимир Афанасьевич просит зеркало. Шов на лбу бежал изломанной красной строчкой. А эта седая щетина на лице — ее раньше не было... Ах, вот почему тогда, на земле, его называли дедушкой..

— Вот с ногой неблагополучно, — слышит он голос фельдшера, — мы ее тю-тю!

Владимир Афанасьевич вытянул вверх здоровые руки и захихикал. Сразу оборвал и сказал необычайно серьезно и деловито:

— Ваше дело. Я ведь, знаете ли, скульптор.

10

Это был самый невиданный способ переписки. От Камышлова и Челябинска до Иркутска и, вероятно, дальше, максимально на участке Ишим — Красноярск, на всех станциях, станцияках и раз'ездах, на дверях, заборах, щитах для объявлений и распоряжений пестрели эти плакаты, писанные чернилами, писанные простыми и цветными карандашами, писанные, по возможности, приметными строками; оповещали они всяких родных и знакомых, растерявшихся на невообразимой дали в невообразимой кутерьме.

Обычно плакаты были обращены к кому-то плетущемуся позади, — в этом не было сомнения, — все подвигались только на восток, точно грудой эшелонов все стремилось сползти в волны Тихого океана.

Семейственные розыски, случаи, намерения, отчаянные любовные вопли, обращения ко всем, всем, всем о судьбе таких-то, приглашения, предостережения, мелкие будничные заботы, юмор похорон, пикниковые шутки, — все умещалось на лоскутках бумаги, все вывешивалось лавиной и пестрядью на стенах и заборах, и для всех это было священо и неприкосновенно.

Какой изумительный, занимательный, приключенческий пикник!

Мстислав Романович Рудаков ехал навстречу этому потоку. Мимо него проплывали отчаявшиеся толпы, как тяжелые грузовики, с которых взметывают огненные листовки, и эти толпы оставляли за собой бумажные скорбные, панические следы своих писем. Все буфетчики сделались отделениями писем до востребования, — письма прокрадывались вперед, — с деньгами за любезность буфетчиков, — и они перерывали эти торопливые писанные вагонными почерками конверты, искали, находили, радовали или убивали.

И по этой жестокой дороге, точно тропкой по запаутиненной, замшелой чаще, пробирался Стива. С каждым днем в нем росла уве-

ренность, что он встретит Таню и остановит ее, увезет с собой, и в то же время чувствовал, что так не случится, — где же разыскать ее тут, в такой кутерьме.

И он тоже начал налеплять на станции свои плакаты, — она не могла их не заметить, если она просматривала эти записки пробежавшего вперед стада. У Стивы нашлись цветные карандаши, — его плакатики пестрели, бросались в глаза.

«Т. Б. Б.

Остановитесь, обязательно остановитесь.

Укажите где. Я вернусь. Найду.

Еду на запад, к вам. Обязательно
вернусь искать, если не застану дома.

М».

Почерк, условная завитушка, намек, обычная любовная юношеская конспирация, — сомнений нет, — она не ошибется. Но вот и Омск — столица бегств, — дальше. Вот Куломзино, еще, еще станция; Стива идет, как всегда, на перрон — четыре кнопки, четвертушка бумаги в руках, он выбирает местечко, чтоб пришить плакатик.

Что это? Конец? Прозевал? Проехал бок-о-бок?

Стива комкает свою бумажку и с жадностью читает, что — уже нельзя всего разобрать, — химический карандаш стек от дождей, — но так ясна подпись: Т. Берсенева. — И обычный текст: догоняйте, догоняйте скорее, ждем, мучаемся...

Решение быстро и твердо: назад. Стива обводит глазами перрон, пути, уже видит себя в таком же унылом и отчаянном эшелоне, поворачивается и, лицом к лицу:

— Здравствуйте, Рудаков.

— Здравствуйте, товарищ Зотов!

— Тише. Без «товарищ». Ну, как, не пора ли нам перемахнуть через фронт к нашим?

— Слушаю.

— Партизаны?

— Все в порядке. Назначьте время для доклада...

— Нечего пороть горячку. Мы не чиновники...

Пауза.

— Итак, вы отстааете от поезда...

— Слушаю.

— В трех верстах поезд задержится. Рад, что вас встретит.

Ваше счастье. Были бы под откосом.

— Да... Как вы сказали, Зотов,—счастье?

«...Поэтому можно думать, что у меня нет и вас. Я загружаю письмо анекдотами в то время, когда хотел писать только интимное. Стива стал благодушным чиновником.

Все дело в нехватке романтики, Анечка. Вы представляете, что день за днем нас окружают тучные калории всяческих мирных благ. Сейчас форменная симфония сытости, это вам не девятнадцатый. Написал — и самому почти стыдно: казенное хвастовство какое-то.

Я теряю тон, я чувствую огрубение голоса и строк, а ведь надо помнить, что пишешь не девочке, а взрослой женщине. А все оттого, что романтика — дело жестокого и милого прошлого.

Из Пензы я поехал к вам. Но моя поездка совпадала с непреложными делами. Что ж, сейчас это непоправимо и даже недостойно сожаления. Я был в Сибири, проехал ее вдоль и поперек и все-таки не встретил вас. Должно быть, не приложил старания.

Вот, в сущности, и все. Ничего не было. Дико пускаться писать о любви. Ощутите ее. Совесть моя чиста. Вы понимаете, что я с вами. И та обида и разрушение, которые вы нанесли нам обоим, — моя вина. Я начинаю путать. Лирический упор поглотила лирическая бесполезность. Девять лет, Анечка.

Вы в Америке. Я в России. Письмо сплющивается в долгом путешествии. Его сушат континенты, и морская сырость в его складках.

И каждая минута, каждый час высмеивают мою привязанность.
Целую. Мстислав».

12

Ровной рукой Стива надписал адрес и отложил письмо в сторону.

На настольной промокашке слабо, шиворот-навыворот, можно было прочесть: «Сан-Франциско» и, немножко ниже, еще щепоточку непонятных слов:

енвосироБ еняьтаТ
.йовенесреБ .

Стива тоскливо и бездумно смотрит на эти закорючки, тяжелым частоколом валяющиеся налево, и строгая складочка, резкая и четкая; привычно бороздит правое надбровие.

Так. Правильно. Марка в правом верхнем углу конверта. В трепаньи колес можно услышать частушки, слезы, — все, что хотите, всегда.

Мысль одинаково бежит на запад и на восток, — вперед, назад... Как по промокашке.

Символика!

Стива, точно зачерпнув воды, держит в ладонях письмо; легонько подкидывает его, и вдруг бумажные клочья легчайшим бесшумным всплеском метнулись к потолку, рассыпались и зубчатыми белыми покойными пятнами приникли к сукну стола.

Июль 27.

Марьино.

П О Э Т

ЕВСЕЙ ЭРКИН

И вдруг — поверишь прочно,
Поймешь, как никогда:
Живи судьбой построчной,
И это — не беда!

У синего окошка,
Иль в сумерках ночных,
Задумчивый немножко
Ты начинаешь стих.

А если неудача,
Захлопни дверь!

Скорей—

На улицу, к бродячим
Просторам пустырей.

Дыши травой и пылью,
Взволнованный мечтой,
И мира избыток
Сверкает пред тобой.

Но это не советы,
То так ведет строка,
Поют в пути поэту
Удары каблука.

Вот лестница. И дома.
Прохлада. Никого.
Гони волненье, дрему!
В работу, мастерство!

И в сумерках зажженных,
В рабочей тишине,

Как часто стал мышенок
Перебегать ко мне.

Чем угостить мне гостя?
Что ищет, носом вниз?..
Я знаю, не из злости
Он угол перегрыз.

Во рту ни хлебной крошки,
Знать, у тебя нужда?
Моргнет огонь в окошке,
Веселая звезда.

Не обрывает темы
Ни тишина, ни звук.
Закончу я поэму,—
Мы запируем, друг.

Нам гонорар обоим
На пищу, на игру,
Чего пищать в обоях?
И вдруг — пропал в дыру...

Уж за полночь. И тает
В окошке серый свет,
И звезды облегают
В туманной синеве.

А ночь уйдет нечетко,
Расшатана и зла.
Чу, стук в перегородку---
Иного ремесла!



Ледники

Рассказ

ВЛ. ЛИДИН

Путники вышли в путь на рассвета осеннего, необыкновенно легкого и по-горному просветленного дня. Это были туристы, несколько немцев с их альпинистическим туповатым упорством одолевать вершины и горы, несколько студентов-грузин, несколько проводников-ледорубов и двое еще, присоединившихся к группе в день ее выступления, оба молодые географы, — Куломзин и Стахевич, — сверстники, друзья, однолетки... Как всегда, доступно и удивительно сиял ледник, пятитысячметровая вершина горы, призывая человека своим обманчивым блеском, заноса туманами и снежными бурями отважившихся одолеть этот путь, схоронивший в снегах не одного гонимого надземным влеченьем и упорством мечтателя. Седой старик с черными молодыми бровями, Миха Вакая, руководивший всей группой, трижды одолевший путь на ледник, с кавказской бескостной и безвозрастной легкостью первым устремился вперед, за ним — студенты-грузины, за ними — оба географа, и позади — привыкшие беречь и рассчитывать силы немцы-туристы и проводники. Сначала шли дугами и пастбищами, зарослями ячменя, горными покосами, головокружительно пахнущими острыми травами, селеньями, распластанными по склону горы, обвисшими над пропастями, откуда прелестно и задумчиво зеленели мох и высокая трава долин. Географы шли сперва рядом, увлеченные этим началом под'ема, восхождением на горы, как всегда, неотразимым для человека... Земной привычный мир оставался постепенно позади; жители селений в своих широких войлочных шляпах, верхами и пешком следом за арбой с сеном или овощами, увозимыми в долину, встречались на этом пути, равнодушно оглядывая сбычную и начальную торопливость людей, которым вечный блеск ледника казался незатуманенным сиянием призыва. Все, однако, бывало иначе: горы обманывали человека, снежные бури, туманы преграждали пути, много самолюбивых надежд опрокидывалось на этих восхождениях.

К полудню первые, ушедшие вперед, стали отставать, подтянулись задние, ушел вверх Куломзин — бритый, с синеватостью бро-

вей и лица, красивый человек, которому в своей мучности, близорукости, тяжеловатости завидовал часто Стахевич, вынесши это чувство еще с ученической совместной скамьи. Луга, ячменя остались, наконец, позади; грубее и скуднее простиралась трава; дышать становилось легче на этой горной высоте, воздух еще не был разрежен; анероид показывал 2.800 метров. Шли с остановками, оглядывая с вершин оставленную, распростертую землю. Открывались иные хребты, синие и лиловые склоны, уходящие гряды геологического векового хаоса, тысячелетняя белизна ледников, ущелья, полные синеватого дыма, облаков и туманов... Шире, великолепно раздвигался мир, который видел теперь человек с высот своего восхождения.

— Мишка, ты погляди... красота! — сказал Куломзин, поджидая отставшего, мокрого, с заведенными глазами товарища. — Протри очки, — дивный мир, брат... Видишь, хребты — ледник Алецвари, три с половиной тысячи метров одолели. Все-таки хорошо, что я тебя на это дело подбил.

Туристы подтягивались к ночному привалу; теперь шли впереди проводники-ледорубы со своими веревками и горными топориками, и впереди всех попрежнему — бескостный легчайший старик Миха Вакая. Краски выгорали и меркли, ущелья наполнялись дымами туманов, овечьими стадами ползли облака, припадая к вершинам. Ночевали на поляне у ледника; задул ветер, погода стала портиться. Утомленные ноги отдыхали, горячий чай с коньяком утолял разбухшее, пересохшее горло. Географы лежали друг подле друга, поодаль от всех, возле спальных своих мешков, готовых принять их для ночлега.

— Я рад, что вытащил тебя наверх, Мишка, — сказал Куломзин снова, — здесь выветривает из человека много греха и земной пакости... чувствуешь себя выше и лучше. И мне с тобой, в сущности, о многом переговорить надо... но это после, успеем.

Стахевич, изнуренный дорогой, необычайностью перехода, дремал, больше всего ожидая минуты, когда можно будет залезть в мешок и уснуть. С ветром пришли сумерки, арктическое дыхание ледника.

— Я спать буду, — сказал Стахевич, залезая в мешок, — сколько нам еще осталось итти?

— Тысячи две метров... только дорога там потруднее будет, — ответил Куломзин; думал он о другом.

Он не залез в мешок и остался еще сидеть на полянке. Постепенно угасал огонь костра, люди засыпали. Он сидел в одиночестве, думал, пока не продрог; затем он тоже забрался в мешок и уснул. Ветер, задувший к ночи, пробушевал и затих. Утро опять возникало в кристаллической ясности. Стали продолжать путь ледником. Признаки жизни исчезли, начались льды, нагромождения льдов, владеющие здесь веками, веками сползающие глетчерами, оползнями тысячетонных масс, отражающих эфир, вселенную, вечную голубизну нездымленных облаками небес. Путь ледником был круче, люди одо-

левали его с упорством; за ледником пошли морены. Морены сменяли льды, льды сменяли морены. Студенты-грузины скользили, обувь их была плоха, немцы уходили впереди, — и впереди всех попрежнему шел Миха Вакая. Угрюмые камни, мелкая празелень плесени, скудные неодоухотворенные цветочки вершин, не утоляющие жажду ледниковые ручьи. Туманы выползали из ущелий, нагоняя холод, сырость и дождь. Теперь первыми стали отставать немцы. Куломзин шел рядом с товарищем, чуть впереди; Стахевич отставал, задыхался, начиналась горная болезнь высоты: бился неистово пульс, дыхание не могло ухватить нужного воздуха, дышали ртом, уставали. Задолго до сумерек сделали привал на ночлег; анероид показывал 3.700 метров. Уставать стал даже Миха Вакая. Он лежал в стороне, черные брови, великолепный клюв его горбатого носа были обращены к небу. Распластанный усталостью, но все же счастливый от этого неповторимого горного мира, который он одолевал, Стахевич лежал, сняв очки, оглядывая ледниковые снеговые, необычайные после земной стесненности, просторы.

— Ты, Сашка, скажи, что хотел сказать, — проговорил он в раздумье, — я ведь давно чувствую, что ты что-то не до конца мне сказал. Теперь и слушать и говорить хорошо...

— Я скажу, — ответил Куломзин погодя. — Мы сейчас словно отрезаемся от того, нашего мира... ты поэтому и должен понять меня возвышенно, освободившись от всех наших земных чувств, тогда выйдет все по-хорошему. Я тебе завтра же все и скажу... дай только повыше поднимемся.

Стахевич сказал лениво:

— Загадки какие-то... ты прямо скажи.— Усталость одолевала его

— Я и скажу прямо, — ответил Куломзин, думая о своем.

Сумерки пришли скоро, с туманом, раньше, чем их ждали. Люди допили чай и стали готовиться ко сну. Сильнее всех чувств была усталость.

— Так ты все-таки скажи, — сказал Стахевич сквозь эту одолевавшую неотвратимую мглу и почти сейчас же уснул. Легкие дымки вились из отверстий спальных мешков. Люди спали. Большую сырость принесли туманы с собой.

Утром начали восхождение снова. Пошли фирновые плотные снежные поля, сиявшие, обжигавшие глаза сквозь дымчатые стекла очков, десятины снеговой белизны, сталактитов, нагромождений, отражающих в своих перспективах друг друга.

— Какая красота... какой мир, Сашка! — сказал Стахевич, одолевая снеговой этот склон. — Дышать нечем, а жить хочется, как никогда... все-таки — вот она, вселенная, а не там, на земле, как мы полагаем.

Отставали грузины, у двоих пошла носом кровь, неистово колыхалось сердце, встревоженное неслыханной высотой, возникшей в своем надземном тысячелетнем великолепии. К двум часам дня на снегу сделали привал.

— К вечеру будем на вершине ледника, — сказал Куломзин, — пять тысяч метров, Миша... вот, если хочешь понять — все пойми и не осуждай меня, по-высокому пойми, не по-земному...

— Я пойму, — ответил Стахевич, — говори.

Они опять сидели на снегу в отдалении.

— Меня все это мучило очень, — сказал Куломзин с трудом, — особенно перед тобой, перед другом... я о Верочке хочу сказать, о твоей покойной жене.

Стахевич поглядел на него и снял зачем-то дымчатые очки, которые надел он поверх своих обычных.

— Я, вероятно, очень плохо поступил в отношении тебя, но ты меня не осуждай, брат... а главное, не осуждай Верочку, она-то уж не виновата ни в чем. — И Куломзин облокотился о снег и стал говорить, глядя на непройденные снега и под'емы. — Дело в том, что, когда ты женился на ней, у меня была к ней давняя любовь, еще с Москвы... но ничего, кроме такого вот отдаленного чувства, не было. А в прошлом году, когда ты уехал в Москву на с'езд, — весна была... в Тифлисе, знаешь сам, — какая весна, и я себя не помнил и ее увлек... это была любовь, Миша, одно могу я сказать! Сейчас все это в прошлом, Веры уже нет, и об этом можно говорить, потому что между живыми должна быть правда, хотя бы здесь, на вершине.

Он молчал, молчал Стахевич.

— И что же, долго это все продолжалось? — спросил он вдруг хрипло.

— Только один раз, однажды вечером... есть такая минута у женщины, за которую нельзя ее осуждать. Она мне уже на другой день сказала, что это было безумие, что это никогда не повторится, что она любит только тебя одного. Вот это мне нужно было тебе сказать, особенно здесь, на вершине, где нет никакой нашей неправды... ты должен все понять и не осуждать, если можешь. Но мне легче от того, что я тебе это сказал, это ведь была большая неправда между нами... а надо быть людьми, настоящими людьми, Миша!

Отчаянно, обжигая сиянием глаза, Стахевич смотрел на снег, на фирновое необ'ятное поле. Широкий покой, как бы горнее очищение лежало на вековых этих, знавших тысячелетия, снегах.

— Все это, конечно, очень неожиданно и больно, — сказал он, наконец, — но я постараюсь... я так и думал, что это что-нибудь касательно Верочки.

Надвигались туманы. Они больше не сказали друг другу ни слова. Восхождение на вершину последним этапом, с бьющимися сердцами, продолжалось. Часами поднимались по ледниковому конусу, сиявшему своей нарастающей белизной. И первым, в четвертый раз в своей жизни, поднялся на вершину Миха Вакая. Он стоял над ледяным есскатом, орлиным клювом осеняя пройденный путь, подтягивались остальные, и следом за другом поднялся Стахевич на эту недосыгаемую легендарную высоту. Великий мир возник перед ним. Снеговые

пропасти, спуски, ледяные покатоности глетчеров, сияние солнца, отраженного тысячами ребрин льдов и снеговыми полями, загорающимися блеском, сверканием, излучением своих порфиринозных кристаллов. В бездне, в небытии, прошлой памятью жизни лежала оставленная земля. Это был горный восторг победы и новых, отрешенных от земных обыкновений и навыков, чувств. Захваченный этим зрелищем первозданных ледниковых стихий, Стахевич стоял и смотрел и нашел вдруг руку товарища.

— Я все постараюсь забыть, Саша, — сказал он, глядя мимо, не поворачивая лица, — я тоже во многом виноват перед Верой... очень во многом! Я не сумел, вероятно, сделать ее счастливой. И я знаю еще, что самое главное в жизни — правда... без правды не может быть дружбы.

Сжимая рукой его руку, Куломзин глядел тоже в надоблачный открытый простор. Необычайная легкость освобождения была сейчас. Сияние снегов, горный ветер как бы выветривали последние следы темного гнездилища в нем. Это было очищение, он его ждал; вершины, влекшие его к себе, не обманули его. Они долго стояли так друг подле друга. Меркли и вновь озарялись горы. Ледниковая тишина баюкала эту колыбель мирозданья. Счастливые, освобожденные от многих чувств, люди начали обратный путь. Опять пошли скаты ледника, впереди осторожно спускались проводники-ледорубы, вырубая ступеньки. Путь становился опасным. Так шли за ступенькой ступеньку в этом нисхождении. Утомление, горная болезнь, кровотечения из носа начали одолевать. Недавнее ощущение счастья сменялось усталостью, раздражением. Внезапно из ущелий надвинулись облака, стало темно, забушевала снежная буря, налетевшая в миг, как всегда в горах. Со гнями тонн сваливался ветер, готовый обрушить глетчеры, снеговые обвалы, людей вместе с ними. Носильщики позади изнемогали под ношей. Все же сползали вниз, укрываясь за склоны. Измученные, обледеневшие люди остановились у подножия конуса. Надо было до вечера пройти фирновое поле, чтобы заночевать на морене. Куломзин дал товарищу последний глоток коньяку из фляги. Стахевич выпил, не отер рта, вид у него был растерянный, несчастный. Он не отряхивал с себя снега.

— Все-таки ужасно то, что ты набросил тень на память Верочки, — сказал он заледеневшими тугими губами, — до сих пор это было для меня самое высокое... Вероятно, ты прав во всем... но это ужасно!

Полчаса спустя начали пробираться по фирновому полю, занесенному неутихающей бурей. Шли шаг за шагом, друг возле друга, чтобы не отстать и не потеряться. Часами продолжался этот невысказанный, изнурительный путь. Буря стала стихать, наконец, заледенив, засыпав сухим не тающим снегом людей. К сумеркам пришли на морену и повалились, не разжигая огня, не растапливая снега, чтобы напиться. Сон смыл видения, память всего дня.

— Мне больно, Миша, от того, что ты сказал мне, — сказал Куломзин из своего мешка, — я верил, что ты сумеешь понять... люди не всегда виноваты в своих поступках, особенно если они несли в себе их, как тяжесть, и раскаялись.

— От этого мне не легче, — с внезапной и необычайно злобой ответил Стахевич, — твое раскаяние нужно тебе... а для меня оно ужасно, ужасно, пойми!

Он застонал в своем мешке, он хотел отодвинуться, близость к тому была для него непереносима. Куломзин лежал, не спал, одолевая оставшейся волей усталость. Усталость все же была сильнее всего. Утром пошли в путь мрачные, с плохими переработавшимися сердцами, с неутоленной жадью. Ледник, вершина оставались на пройденном пути. Опять пошли морены, склоны ледника, снова морены, камень, ледников ручьи, празелень заплесневелых скал. Внезапно рядом, у плеча, увидел Куломзин нагнавшего его на этой круче товарища.

— Скажи мне, Саша, — сказал Стахевич, опережая его, заглядывая ему близко в глаза, и неутолимая ненависть исказила в этот миг его дремлющее обыкновенно лицо, — неужели ты думаешь, что после всего этого возможна наша дружба?.. Ведь ты мне лгал в течение года, бесовестно, безжалостно лгал... вчера ты осквернил память Веры. Нет, я не могу, я не могу все это спокойно простить... это мерзость, ужас, — дружба, которая хуже вражды!..

Задыхаясь, обуреваемый этой силой, он устремился вперед, нагнал грузин, пошел с ними. Куломзин шел позади. Его синеватое красивое лицо проросло щетиной бессонниц, раздумий, усталости. Спускались по склонам, делали привалы, продолжали путь. Все ближе и ближе становилась земля. Aneroid отсчитывал эти тысячи покинутых метров. Просторы сужались, сдвигались земные теснины. На ночлег остановились у подножия ледника, на прежней знакомой поляне. Опять сияли далекие достигнутые склоны, цветущая снегами вершина ледника. К людям вернулись обычное земное расположение, порядок чувств. Стахевич расстелил свой мешок поодаль, готовился ко сну, ни разу не подошел к товарищу во время этого привала. Куломзин сидел в стороне в одиночестве. Большая грусть, большое раздумие были в тишине уже приближенного бытия человека. На утро должна была начаться протоптанная тропинка ледника, затем скудные поляны, затем пастбища, ячменя, земля. Тогда подошел он к товарищу, присел рядом с ним.

— Послушай, Миша, — в чрезмерной тоске сказал он ему, — но ведь там, на вершине, ты сам сказал, что все понял и все простил... если нужна тебе клятва — клянусь, я не хотел обиды тебе, не хотел обмана. Так вышло все, надо уметь просить... все же мы — люди! Там, наверху, я это почувствовал особенно, и ты тоже...

Стахевич молчал.

— Одно прошу тебя только, уйди... оставь меня одного! — сказал он из мешка, закрывая глаза — так было невыносимо для него это приближение.

В своем отдалении, в одиночестве, в холоде сумерек, наползающих вместе с туманами, Куломзин уснул, наконец. Это был долгий безрадостный сон возвращения. Сыро ложились туманы, выбираясь из ущелий, с вкрадчивой неуголенностью припадая к вершинам и скатам. Потом, отодвинутые восходом, утром, они привычно стали уползать в надежные убежища до новых сумерек. День восходил, большая птица прошла вдруг кругом, заслонив сияние холодных небес. Куломзин лежал еще с открытыми глазами, следя за ее неторопливым широким полетом. Он стал выползать из мешка и внезапно увидел, что поляна пуста, никого нет, примята жесткая скудная трава от ночного привала. Люди ушли, не заметив его, лежавшего в отдалении, товарищ не разбудил его. Он выбрался из мешка, обошел поляну, все было пусто. Горняя привычная, исхоженная тысячами экскурсий тропа спускалась вниз по склону ледника последним переходом. Земля была близка. Позади в эфирной своей отрешенности дремали ледники, первоначальное очищение веков, тысячелетняя белизна фирновых полей, не исхоженных человеком. Он собрал свой мешок, перевязал его за спиной по-альпийски и начал спуск вниз по той же человеческой и уже по-земному протоптанной экскурсиями тропинке.

Август, 1928.

Прозоровская.

Дневник Кости Рябцева

Н. ОГНЕВ

(Продолжение ¹⁾)

15 декабря.

Когда живешь, как я сейчас, то-есть без квартиры и безо всякого пристанища и только метишь с утра, у кого бы занять на обед, — то о чем-либо дельном как-то и не думается. А, между тем, кругом происходят разные вещи, над которыми стоило бы задуматься.

У меня становится все больше и больше знакомых, и с каждым из них что-нибудь случается, — иногда такие штуки, что ни в какой книге не прочтешь. Но только, так как я думаю, что главное во всяком деле — принципиальность, то, понятно, далеко не каждый случай меня интересует.

Сейчас много говорят и спорят насчет романтики. Романтика — это такая штука, главным образом, в литературе, когда человек как бы отрывается от земли, совершенно, в доску, забывает о том, что происходит кругом, и живет только тем, что кажется ему в его мыслях героическим и возвышенным. Некоторые говорят, что есть какая-то романтика в буднях и в повседневной жизни, но мне пока это непонятно. Вероятно, это надо понимать так, что можно найти какую-то красоту и геройство во всем, что окружает, а не только в том, что думать про геройство и разные подвиги. Но окружает-то меня обстановка, которую никак нельзя назвать красивой, а скорей, скучной и очень тяжелой. Например, по бульварам ночевать — что тут красивого? Или торчать с утра до вечера в читалке, нарочно заставляя себя запоминать и заучивать, так что к вечеру делаешься словно деревянный — тоже красоты мало. Или на лекциях, хотя некоторые бывают очень интересные. Ну, а в семинарах большинство ребят и девушек мямлит.

Много говорят теперь про одного известного поэта, который пьянствует и скандалничает. Я его стихи читал. Мне они не нравятся. Он пишет все больше про себя, словно на свете ничего другого

¹⁾ См. «Новый Мир», кн. 1, 2, 3 и 4 с. г.

нет. Почему он, например, не пишет про Волховстрой? У него денег масса, он их прокучивает; а, между тем, мог бы поехать на Волховстрой и найти там вдохновение для хорошего произведения. Это я так умом рассуждаю, потому что, наверное, в Волховстрое есть эта самая романтика будней.

Или еще вот Зоя Травникова, которую мы в школе звали «Черной Зоей», я с ней встретился на улице, и оказалось, что она никуда не может поступить и вообще без работы. В школе она интересовалась больше мертвецами, а теперь забыла про них и думать, — так ее прижала жизнь. Она очень похудела и мечется по городу в поисках работы. Она мне даже стихи свои дала, которые, конечно, никуда не годятся, но она говорит, что в этих стихах она все выразила, что чувствует. Вот эти стихи:

Кончено! Дошли мы до предела,
 Что найдем за роковой чертой?
 Так, казалось, школа надоела,
 Так стремились к радости иной.

Вдумайтесь: совсем бросаем школу,
 Не увидим ни людей, ни лиц.
 По дороге беспросветно новой
 Так легко все лучшее сгубить.
 Вуз, работа, подготовка, чтение —
 Что ни взять, бессмысленно теперь,
 Если в жизни не увидишь цели,
 Не увидишь в эту жизнь дверь.

Разложеньем, может, пахнут эти строки?
 Пусть вы крикнете — упадочница ты.
 Может быть, лишь я дошла до точки?
 Может быть, вперед пойдете вы?

Но я знаю, много мне подобных
 Думают, куда теперь свернуть.
 Перед жизнью темной и неровной
 Сердце заволакивает жуть.

16 декабря.

Странная история происходит с Партизаном. У меня такое представление создалось о нем, что он вообще человек молчаливый и занятой, и очень серьезный. А вчера он явился здорово выпивши и произнес целую речь, из которой я ничего не понял. Речь приблизительно такая:

— Вы все думаете, что вы очень хорошие, стопроцентные ребята, активные комсомольцы, строители, и все такое прочее. Ничего подобного. Вы все сволочи. И, между прочим, — я самая главная сволочь. Если б вы про меня кое-что знали, вы бы тоже так думали. Да где вам знать. Знаете, кто вы такие? Животики на ножках, это такое физиологическое новое насекомое...

Тут Ванька Петухов начал было его уговаривать, но ничего не достиг. Партизан во что бы то ни стало хотел произносить речь, а так как он здоровенный, сладить с ним никак нельзя. Решили терпеть.

— Есть жалкие, плохие люди на свете, — кричал Партизан, — ну, а я — самый плохой и жалкий. Но... берегитесь. Я вас всех знаю. Вы от меня не увернетесь. Если буржуям нужно пулемет поставить, то вас надо просто в клетку посадить всех. Один мне сегодня говорит в столовой: — Я — биолог. Я очень хорошо понимаю, что такое биология. Ну, а он был не биолог, а би-олух, то-есть двойной олух. И вы все тоже... би-олухи!

Тут один парень поднимается и говорит ему:

— Ты лучше перестань, Партизан, а то мы тебе руки за лопатки и в комендатуру без всяких.

И тут меня удивил Ванька Петухов. Он вдруг отозвал этого парня в сторону и говорит ему, чтобы он не лез к Партизану, а дал ему отораться. Со стороны Ваньки это было прямо удивительно: что он, струсил, что ли?

А Партизан продолжал:

— Этого мало сказать, что я сволочь и жалкий человек. Я — преступник... Со своей совестью преступник. Башка у меня прострелена и еще контузия и две штыковых, но... это вас не касается, дорогие сволочи. То-есть, я хотел сказать, что это ничего не значит с точки зрения миррровой революции. Воды дайте! Дайте воды, говорю, а то всех... сейчас!..

И вытащил кольт. Конечно, ему тут дали воды. Он спрятал кольт, поглядел на нас на всех и тихо говорит:

— А ежели... она... с ума сойдет? Что тогда будет? Мир перевернется, или што?

Когда его удалось успокоить и он завалился спать, я Ваньку спрашиваю:

— Тут что, девчина какая-нибудь замешана?

Ванька пожал плечами:

— Не имею понятия, — говорит. — Это, должно быть, у него в роде припадка: рана в голове сказывается.

— А не вытащить ли у него револьвер?

— Нет, оставь, Он продрыхнется и ничего, а сейчас лучше его не трогать, а то проснется, пожалуй.

Сейчас Партизан во сне повернулся ко мне лицом. Я чуть-было не вскрикнул.

У него открыты глаза, и он смотрит прямо на меня. Но потом подождал: ничего. Некоторые спят с открытыми глазами.

17 декабря.

Мне трудно сейчас сказать, — тяжелое или радостное чувство осталось у меня после встречи с Сильвой. Она захотела узнать, где

и как я живу, так что пришлось привести ее в общежитие. Ребят в комнате не было.

— Ну, что ж — и у нас дома не лучше, — сказала Сильва, оглядевшись. — Да еще хорошо, что здесь чисто. А то у некоторых ребят — я тут у одних бываю — такой катух, такая свинарня, что просто удивляешься, как это студенты, культурные люди, могут жить в такой грязи.

— Это у каких ребят ты бываешь? — спросил я. — У Жоржа Стремглавского, что ли?

— Что ты ко мне все время пристаешь с Жоржем? — разозлилась она. — Я видела, как ты ходишь все с одной по коридору, и нечего не говорю.

— А что ты можешь говорить? Это — Вера.

— Ну, Вера или Соня, — это мне все равно. Потом я видела, как ты несколько раз говорил со Стремглавским. О чем вы говорили?

— Видишь, видишь: тебя интересует все, что касается Жоржа, — сказал я. — Ни о чем особенном мы не говорили. Мне только тяжело и обидно, что он везде свой, а я везде чужой. Никак приткнуться, приклеиться не могу. Я теперь такое объяснение придумал: вуз состоит не из одной сплошной массы ребят и девочек с одинаковыми интересами, как это было в школе, а из массы мелких группок, которых объединяет какой-нибудь специальный интерес: главным образом, — учеба. Но иногда это бывают и шахматы, иногда — физкультура, иногда — пьянка, иногда — театр. А у меня такого специального интереса нет. Меня интересует все, вся жизнь. Это я и говорил Жоржу Стремглавскому.

— А он что на это?

— А он ответил, что и его также интересует все, но только он имеет свойство входить в какое-нибудь дело, забывая все остальное на какой-нибудь продолжительный срок. Поэтому у него больше корней в вузе, чем у меня.

— А знаешь что, по-моему, — сказала Сильва. — Все-таки, во многом школа виновата. Школа не привила почти никому из нас какого-нибудь определенного стремления. Лучше было бы учиться в техникуме или в школе со специальным уклоном. Тогда можно было бы иметь под собой твердую установку.

— А как же ты?

— Я — другое дело. У меня с детства было желание лечь. Даже страсть какая-то. Свою маму чуть до смерти не залечила. А недавно у Стремглавского болело ухо — я в два счета вылечила.

— Опять Стремглавский. Ты что: дразнишь меня, что ли?

— Совсе не дразню. Это с тобой стало невозможно разговаривать.

Мы разругались, и она ушла.

20 декабря.

Опять про Партизана. Этот парень начинает меня все больше и больше интересовать. Он такой человек, что к нему не подойдешь с каким-нибудь интересующим тебя вопросом, как ко всякому другому. Поэтому про него писать можно только то, чем он сам себя обнаружит перед другими. Особенно меня все время интересовало, про кого это он говорил (очевидно про девчину), когда в нетрезвом состоянии обзывал нас сволочами. Я не думаю, чтобы можно было все это целиком отнести насчет его раны в голове, и мне все кажется, что тут что-то такое страшное есть и помимо раны. Приходится ломать голову в одиночку, потому что Ванька Петухов или пропадает в институте или сидит над Марксом, а к самому Партизану приступить и думать нечего. Между прочим, странная вещь, но я видел его глаза всего один раз: это когда он повернулся ко мне во сне. А так — он ни на кого не смотрит, или глядит куда-то в сторону (может быть, в себя) и молчит.

Но вот вчера он как-будто чуть-чуть раскрылся, словно краешек театрального занавеса приподнял. Это дело было на литературном вечере, в клубе при общежитии. Там выступало несколько ребят, и все было очень скучно и довольно-таки бузовато. Читали разные стихи, потом все их хвалили. Потом один парень прочел рассказ про какого-то графа, как это граф поступил в коммунисты и потом оказался провокатором.

По окончании этого рассказа вдруг вылезает из рядов Партизан и говорит:

— Я тоже хочу прочесть.

Я очень заинтересовался.

— Мои переживания,— начал Партизан.— Это на фронте... со мной лично было. Я сам знаю, что плохо... Но это все равно. У остальных тоже плохо.

— Да ты валяй, читай без предисловий, — закричали с мест, и тогда Партизан прочел:

И ветер нас мучил, и снег нас колот,
И лошади ржали, и ныли колеса, —
Но в мокрые пашни без усталости вел
Нас хмурый латыш, молодой и белесый...
И мы проходили по мерзлой траве, —
Обмотки от стужи обледенели, —
Навстречу, как пропасть, как туча, как век,
Пробитые пулями мчались недели...
И вот мы пришли...

Не трещали костры, —
Мы руки у жалких сердец согревали —
Мы ждали резервов, мы слышали рык
Шрапнели, летящей из призрачной дали...
И наш командир нам сказал:

Не пора ль.

Ребята, уснуть, — а на завтра, быть может,

Резервы придут? — а не будет их — жаль.
 Нам больше, ребята, никто не поможет.
 Вокруг нас стояли в оврагах, в норах
 Враги — мы их слышали, мы различали
 Их шаг, их дыханье. В окрестных горах
 Мы видели отблеск неведомой стали...
 Они нас сжимали кольцом. И у нас
 Сердца колотились неровно и странно.
 Прорваться,
 прорваться,
 прорваться!!!

Погас

Последний огонь за рекою туманной.
 И хмурый латыш на прорыв нас повел —
 И лошади ржали, и ныли колеса, —
 И ветер нас мучил, и снег нас колотил —
 И вырос туман над водою белесой,
 Нас били штыками, нас пулями жгли,
 Пред нашим отрядом мосты разводили.
 Прорваться,
 прорваться,
 прорваться!!!

Пошли.

Пошли. Навалились. Нажали и взвыли.
 И взвыли!.. И вырвались! Ночь, как дождем
 Нас звездами медленными осыпала...
 Мне помнится, я огляделся кругом —
 Кругом только поздняя полночь стояла.
 Кругом расстилался неведомый луг, —
 И я без товарищей, без командира, —
 Один я остался с винтовкой сам-друг:
 Один среди ночного безлюдного мира...
 Прорваться!

И я неуклонно пошел
 В туман, ощущая биение крови...
 И вот, я иду, наклонившись, как вол,
 И пули в затворе, и штык наготове.

Я поглядел на Партизана только тогда, когда он кончил это читать. Он стоял, прижав руки к бокам, сжав кулаки и нагнув голову. Кругом стояла тишина. Сразу было видно, что все поражены. Потом кто-то крикнул:

— Bravo!—И все захлопали. Я хлопал изо всей силы, какая-то девочка крикнула: — Настоящий поэт, братцы! А мы и не знали!..

Тут хотели его даже качать, но Партизана уж и след простыл. И погэм, когда я пришел в комнату, то он лежал на койке, уткнув лицо в подушку. Меня очень подмывало завести с ним разговор о стихах и вообще о литературе, но я понял, что его трогать нельзя. Должно быть, поэты — не то больные, не то ненормальные люди, но уж, во всяком случае, — не такие, как все.

22 декабря.

Начался уже раз'езд на праздники, и в нашей комнате пока остались только Ванька Петухов, Бык, Партизан и я: Повсюду как-то опустело, так что привыкшему к постоянной массе народу человеку как-будто скучно. Сегодня, когда я пришел из читалки, в комнате был один только Бык. Он как-то особенно хитро на меня посмотрел и говорит:

— Наш принц Умбалла в роде как засыпался.

Я уже привык к тому, что у него все—принцы Умбаллы, поэтому спрашиваю:

— Ты про кого?

— Да все про того же... вашего прекрасного партизанского бойца.

Я обеспокоился и спрашиваю:

— Что с ним случилось?

— Да ничего не случилось, а только словно и он по девкам вкалывает.

— Врешь ты, брат, все,—сказал я. Я знал, что если Быка начать поддразнивать, то он обязательно проговорится.

— Я — вру? Посмотрим,—сказал Бык.

— Конечно! Тебе нагрели холку, теперь ты и рад на других балить.

Тут Бык вскочил с койки и поднес мне к самому лицу свой здоровенный кулачище:

— А это видал? — спрашивает.

— Ну и что ж? Ну и видал. А все-таки ты про Партизана ничего не знаешь.

— Хо-хо! Я-то не знаю? Вот ты—так не знаешь, кто здесь был.

— Очень хорошо знаю, кто был,—комендант деньги спрашивал.

— А вот и не комендант, а девка.

— Ну, это, наверное, к тебе за пятеркой?

— Хррры-то ко мне за пятеркой. Партизана спрашивала, а вовсе не меня.

— Да ведь его легко найти в институте,—зачем ее сюда принесло?

— А она не институтская. Приперла, так и вкалывает глазищами по всем койкам. Я говорю:—Что? Она говорит:—Мне не тебя надо.— И тут я дознался, что ей Партизана надо. Она хотя его имени не знает, так я по приметам.

— На что же он ей, если она его имени даже не знает?

— А уж это ейное дело. Я тогда начал с ней баловать, а она мне в морду дала и ушла.

Тут Бык глупо захохотал, повалился на койку и задрал кверху ноги. Когда пришел Ванька Петухов, я ему все это рассказал и он говорит, что ввязываться не нужно и что это, наверное, кто-нибудь из знакомых по фронту разыскивает Партизана.

Потом, когда пришел Партизан, Бык ему все это рассказал. Партизан сел на койку, уткнул скулы в руки, просидел так с полчаса, а потом взял у Ваньки рубль и смылся.

Тут что-то такое странное. Что-то непохоже на знакомую по фронту.

Мера пошлости

23 декабря.

Опять я связался с Корсунцевым и его дядькой. Вышло это вот как. Хотя я за последнее время отношусь к Корсунцеву с подозрением, но, по-моему, он не совершил никакого противопролетарского поступка, за который его нужно было бы отдать под суд. Поэтому вчера, когда он позвал меня обедать, я ничего предосудительного не нашел. Конечно, Корсунцев идеологически невыдержанный человек и даже, если судить строго, то его взгляды похожи на мещанские, но ведь для того, чтобы бороться с мелкобуржуазной стихией, нужно ее сначала узнать и изучить. Я очень хорошо понимаю, что, идя по этой дорожке, легко скатиться к оппортунизму, к обывательщине и даже к меньшевизму. Но для того, чтобы противостоять этому, — нужно все время наблюдать за собой со стороны, и тогда ничего не будет. Кроме того, всегда можно посоветоваться с Ванькой Петуховым. (Хотя, как это ни удивительно, у Ваньки сплошь и рядом не находится ответа на некоторые вопросы; но об этом после.)

Как выяснил вчерашний случай, можно кое-чему поучиться и на таких примерах, как Корсунцев и его дядька, только нужно применять постоянно острый нож идеологического анализа. Началось, как всегда, с водки.

Дядя Пересвет сидел у себя в номере и пил водку, когда мы с Корсунцевым пришли. После обеда он предложил нам итти с ним в цирк.

В цирке было несколько различных выступлений. Особенно мне не понравилось, как два клоуна — один весь в муке, а другой во фраке — острили на разные политические темы. По-моему, ничего остроумного нет, и они просто вымучивают из себя эти остроты. Что же касается остальной программы, то-есть разные акробатики и гимнастики под куполом, то все это произвело на меня захватывающее впечатление, и я следил за всем этим с замиранием сердца. Но особенно мне понравился какой-то веселый парень (не рыжий), который все время острил и играл на разных инструментах и он же пел. Мне очень хотелось бы быть таким, как он, и по очень простой причине. Ведь дело в том, что обыкновенно на разных вечеринках, да и вообще в жизни, никогда не найдешь в нужный момент нужного слова или остроты, а приходит в голову только потом. И в то время, когда другие ребята отличаются на все лады — одни поют, другие острят, третьи показывают силу своих бицепсов, — самому приходится, забившись в угол, молчать и завидовать другим.

Корсунцев как-будто понял мои мысли, подтолкнул меня под бок и говорит:

— А ловко этот парень разрабатывает. Тебе бы так, Костя.

С самого начала этот парень вышел как-будто бы из публики, зацепился за ковер и сказал:

— Невозможно заниматься, до чего здесь ковров наложено.

Может, в этом ничего особенного и нет, но только я смеялся вместе со всеми до боли в животе.

Потом притащили вилки и ножи, и этот парень начал на них разыгрывать целую симфонию, но внезапно перервал, стал подбрасывать вилки и ножи кверху и ловить их на лету. Потом он схватил тарелку и пустил ее по арене, а сам побежал за ней. Поймал ее и говорит:

— Не долго барахталась старушка.

— А ведь это он у тебя спер, дядька,—говорит Корсунцев.

— Ну, я его за это притяну,—отвечает дядя Пересвет.—Он у меня за это напрыгается.

— А вдруг наоборот?—говорит Корсунцев.—Не он у тебя, а ты у него? И скорей похоже на это: ты, наверное, слышал где-нибудь раньше, когда он выступал, и запомнил.

— А хотя бы и так? — говорит дядя Пересвет. — В этом ничего дурного нет. Острота все равно что анекдот,—есть общее достояние.

По-моему, тоже, если бы каждый должен был выдумывать свои остроты, то пришлось бы говорить (конечно, за исключением выступлений), может, одному человеку на тысячу, не больше. А этот цирковой парень выдумывает остроты, которыми должны потом пользоваться все. Только тогда может быть оживленный разговор. Это не исключает возможности и того, что можно придумывать собственные остроты. Так что, когда этот парень, сыграв на двух бутылках марш, сказал: «Во — и больше ничего», то я даже не подумал уличить Корсунцева в том, что он эту поговорку спер.

Потом этот парень на арене вдруг заплакал, а конференсье спрашивает:

— Чего это вы?

— Да как же,—говорит этот веселый циркач.—У меня жену арестовали.

— Что ж тут такого,—спрашивает конференсье,—арестовали, значит скоро выпустят.

— Вот потому-то я и плачу, что скоро выпустят,—ответил артист, и весь цирк захохотал. Если вдуматься хорошенько, то в этом ничего особенного нет, даже глупо, но в обыкновенном разговоре это должно создавать веселое настроение, и я обязательно запомню и попробую. Кроме того, этот циркач все время делает вид, что он очень неловкий, и что все предметы ему мешают, а на самом деле он очень ловкий, так что здесь получается контраст, и от этого всем становится весело. Это тоже надо обязательно попробовать; подзаняться

физкультурой, а потом наступать всем на ноги, задевать всех локтем или ногой—и моментально выправляться, делать вид, как-будто ничего не было. Такими путями можно достигнуть большого успеха, вместо того, чтобы ломать себе голову и все придумывать самому. Я пишу сейчас—и чувствую, что все это у меня выходит по-мальчишески, но если себя не проверять и не подучиваться в повседневной жизни, то всегда останешься в тени. Взять, например, Жоржа Стремглавского: ведь очень интересно изучить, откуда у него такой успех в жизни. Я, конечно, не берусь утверждать, что он всему выучился у клоунов и циркачей, но не выдумал же он все свои ухватки сам? А ведь он и чечотку умеет плясать, и изображать всех присутствующих в лицах, и свистеть разные музыкальные номера, и вообще с ним девочкам никогда не будет скучно.

Мне могут возразить, что перенимать чужие остроты — мещанство, — но если мещанство есть остановка в росте, то приобретение новых привычек и острот вовсе не означает остановку, а, наоборот, рост. Потом еще кто-нибудь возразит, что в семнадцать с половиной лет надо быть серьезным и больше обращать внимания на зачеты и вообще на учебу. Я и серьезен. Но, кроме учебы, бывают вечеринки, прогулки и просто встречаешься с людьми, и вот тут-то и нужно быть на высоте, а иначе с тобой разговаривать-то никто не станет.

После цирка мы пошли в ресторан. Там за ужином был интересный разговор.

— Что вы за люди, я не понимаю,—сказал дядя Пересвет и засмеялся, как паровоз. — Ни красоты от вас, ни радости. В наше время студенчество разве так жило? Во-первых, у каждого был предмет: курсистка какая-нибудь, или просто барышня. Это—для души, на предмет воздыхания. А для тела — швейка или модистка какая-нибудь, или просто посещали веселые дома. Это была жизнь, полнокровие; молодость была ключом. А у вас что? Тянете волынку, да зубы об гранит науки ломаете. А если прорвется какой-нибудь парень, покажет свою молодость,—его сейчас же в суд волокут или в газеты.

— Эх ты, старикашка,—ответил Корсунцев, дружески похлопав дядю по плечу. — Ничего дальше своего носа ты не видишь. Конечно, ребята попритихли, но и в наши дни имеется хороший лозунг: «бей сороку и ворону—попадешь на ясна сокола». В отношении чего прочего, а насчет женского продовольствия у нашего брата сверх, чем достаточно. Но должен сказать, что все это, конечно, временное. Все-таки неприятностей много. От другой скандала не оберешься. Алименты потом эти изобрели, чорт бы их побрал. Одним словом, как кончу вуз, так сейчас же женюсь в крепкую. Устрою себе уютенькое гнездышко, в лепешку расшибусь, а квартира будет не меньше трех комнат. Шикарно обставлю—и заживу.

— А на ком же ты женишься? — спросил я.

— А это и есть самое трудное. Знакомых милых девушек у меня много, но ни одна из них не годится мне в жены.

— А ты по старому способу поступи,—вернул дядя.—Собери всех этих твоих знакомых, а сам надень пиджак с неокончательно оторванной пуговицей. Которая первая тебе пуговицу пришьет—на той и женись.

— Как бы не так,—захохотал Корсунцев.—У некоторых и иголок вовсе нет, а другие из принципа пришивать не будут.

— Это из какого принципа? —спросил дядя.— Политграмота, что ли?

— Да нет, просто равноправие. Нет... твой способ, дядька, никуда не годится. Да мне и жена-то нужна не только для пришивания пуговиц. У меня требование шире. Она, например, и фокстрот должна танцевать, и одеваться как следует, и разговаривать о литературе и театре. И кроме того, она должна быть настолько интересна, чтобы уметь организовать вокруг себя общество. Я—человек общественный. И она должна быть тоже с общественной жилкой.

— А хозяйство у ней будет на десятом плане?—спросил дядя.

— Зачем на десятом плане. Для хозяйства будет прислуга. Жена и я будем жить преимущественно духовной жизнью.

— Это что же? Фокстрот—духовная жизнь, что ли?—очень ядовито спросил я.—Что-то непохоже на тебя, Корсунцев? А что ты проповедывал на-днях на диспуте о социально-бытовой установке вузовца? Вспомни-ка, как ты громил мещанство и всяческое обрастание. А разные квартирки, прислуги да фокстроты—это и есть обрастание.

— Эх ты, пижон,—презрительно ответил Корсунцев, выпил стакан вина и молодецки сплюнул в угол.—Надо знать, где что говорить. Вот ты, по-моему, обязательно ляпаешь везде не то, что надо. Кой тебя чорт, например, дернул за язык разводить идеологию у Пепелявых? Это похоже на дурака из сказки, который на свадьбе затащил панихиду, а на похоронах пустился в пляс. Жить, брат, тоже надо умеючи. Ну, скажи, пожалуйста, как на наших разных собраниях можно обойтись без речей, наполненных твердой идеологической установкой? Для этого только нужно уметь вертеть языком. А живая жизнь идет по другому пути... Она совершенно не считается с твоей идеологией.

— Да... В наше время тоже была идеология,—сказал дядька.—Только она у нас веселая была. Гаудеамус игитур. Это что такое, по вашему? Итак, возрадуемся. Вот что это значит. Тут вся программа жизни. Радуйся,—и боле никаких.

— Это уж очень нехитро,—мрачно сказал Корсунцев.—В нашей современности человек должен быть гораздо умней, хитрей и разносторонней. И, конечно, жену я себе подберу такую же.

— Интересно мне очень знать: где это ты ее подберешь? —спросил я.

— Не думаю, чтобы в нашем Эсесер. Тут такой не найдешь. Это придется поехать в Америку. Я даже специально английский язык изучаю

— А на какие шиши ты поедешь?—спросил я.

— А почему в Америку, а не во Францию или Германию?— поинтересовался дядька.

На мой вопрос Корсунцев не ответил, а дядьке объяснил:

— Потому что в Америке есть институт брака, который позволяет находить идеал в самой обыкновенной практической действительности.

— Что же это за институт? Расскажи. Это должно быть весело,—сказал дядька и велел подать еще красного вина, потому что семь бутылок, взятые сначала, были уже пусты.

— Замечательное достижение, этот институт,—сказал Корсунцев.—Наши обломы не скоро до него додумаются. Каждый гражданин, желающий жениться, или каждая гражданка, желающая выйти замуж, подает в институт об этом заявление с подробным описанием своих примет, например: цвета и длины волос, роста, цвета глаз и лица, о возрасте и состоянии здоровья и прочее. Кроме того, в заявлении должна быть освещена и умственная жизнь заявителя: чем он интересуется, какой круг знакомств имеет, и прочее. Дальше: сумма годового дохода и играет ли заявитель на бирже. Имеет ли пристрастие к спиртным напиткам. Состоял ли раньше в браке. Ну, одним словом, все, все, что только может охарактеризовать человека наиболее полно. Конечно, к заявлению прилагается фотографическая карточка во весь рост. Ну, а с другой стороны, в заявлении должно быть подробно, в анкетном порядке, указано—как представляет себе лицо, желающее вступить в брак, будущую жену или будущего мужа. Тут тоже должно быть всестороннее описание физических, моральных и финансовых свойств искомого объекта.

— Ну, и что же: тебе подбирают жену по мерке, как брюки в магазине готового платья?—спросил я.

— Погоди ты, Костька, чорт, не перебивай,—перебил дядька.— Уж очень интересно врет.

— Я вовсе не вру,—серьезно ответил Корсунцев.—Этот институт помещается в штате Огайо, можете сами навести справки. Но анкетами дело не кончается. Ты можешь, Рябцев, язвить, сколько хочешь,—от этого не изменится мое убеждение, что эта форма брака—наиболее совершенная. Недаром этот институт называется еврическим институтом, то-есть, основанным на науке об улучшении человеческого рода. Недели через две-три после подачи заявления заявителя приглашают в институт. Там ему предоставляют комнату с полным пансионом и пред'являют целый ряд фотографических карточек на выбор. Предположим, я выбрал из этих карточек женщину, которая кажется мне наиболее подходящей, и заявляю об этом администрации. Тогда меня в назначенный час ведут в совершенно темную комнату и сажают на возвышение. Через некоторое время меня освещают чрезвычайно ярко. В течение пяти секунд я нахожусь в этом освещении. Затем свет гаснет и через некоторое время зажигается снова, но уже в дру-

гом конце зала. Там находится в это время избранная мною по карточке женщина. Таким образом, происходит предъявление друг другу двух лиц, желающих вступить в брак. Если ни с той, ни с другой стороны препятствий не встречается — институт устраивает дальнейшее знакомство обоих людей. Для этого в институте к услугам будущей брачной пары имеются парки, сады, пруды, лягушки, соловьи,—одним словом, все, что нужно для влюбления. Но следует иметь в виду, что каждый может отказаться от продолжения знакомства после первого же свидания. Предположим, что у избранной мною женщины обнаружилось золотые зубы, которых я терпеть не могу, но которых я на карточке не мог разглядеть. Тогда я отказываюсь. И живу в институте до тех пор, пока мне не подберут вполне подходящую невесту. Тут же заключается брачный контракт, а для желающих институт держит попов любого вероисповедания.

— Ловко,—закричал дядька.—Ей-богу, завтра же еду в Америку. А пока — выпьем водочки-матушки. Что эту кислую дрянь лакать? Того и гляди, в голове сырость от нее заведется.

— А по-моему, это безобразие, — сказал я. Почему-то мне представилось, что Сильва, не зная, за кого ей выйти замуж, поехала в Америку и там выбирает себе мужчину, а на нее в свою очередь смотрят со всех точек зрения и расценивают на все лады.

— Почему безобразие?—спросил Корсунцев.—Опять что-нибудь спижонишь. Лучше, по-твоему, жениться на ком попало и как попало—так, как это практикуется у нас? А потом мучиться всю жизнь, или—еще того хуже, платить алименты трем или четырем чужим тебе женщинам?

— Ну, алименты придется тебе платить, а не мне,—возразил я.— А в этом твоём американском институте есть какое-то, на мой взгляд, оскорбление человека.

— В чем же тут оскорбление?—сказал Корсунцев.—Оскорбление наносится объекту против его желания. А здесь все делается по твоему желанию, сообразуясь со всеми твоими вкусами и привычками.

— Нет... тут механика какая-то. Механическое отношение к человеку, как—опять-таки повторяю—к брюкам в магазине готового платья. Или пригонка частей машины одна к другой... Вот. Нашел. Оскорбление в том, что все это не тобой самим делается, а чьими-то чужими руками, какой-то посторонней волей. Я даже не понимаю, как это ты, Корсунцев, такой самостоятельный парень и хочешь предоставить решение такого кардинального вопроса другим людям? Ведь это все равно, как если бы тебя по улицам водили, чтобы ты не попал под автобус. Любовь, это настолько частное дело, что против природы было бы устраивать разные институты.

— Нет, — кричал совершенно охмелевший дядя Пересвет и стукнул кулаком по столу.—Завтра же еду домой, гоню в шею свою ведьму, и—в Америку. Не долго барахталась старушка. Поймут там, в Америке-то, насчет старушки. Не поймут? Наплевать, я им по-фран-

цузски: не па лонтан, се барахте ля вьей фам... Слышь, племяш, а ежели она мне не понравится, а я уже женюсь—тогда как?

— Тогда терпи,—ответил Корсунцев, посмеиваясь. — Там, брат, крепко: развод там дорого стоит, да и не любят американцы разведенных.

— Как же тогда быть,—задумался дядька.—Ура! Придумал. Разводится я в Эсесер приеду. В загс. Возьми меня за рупь за сорок.

26 декабря.

Все раз'ехались и разошлись по домам на праздники. Я остался в комнате один. Партизан до самой последней минуты говорил, что он никуда не уедет и останется. Но потом внезапно вытащил свою корзину, уложился и ушел. Что за странность. Мне кажется, я видел его вчера на улице. А может, это был и не он. Если он не уехал, то зачем же он ушел из общежития? Станный парень все-таки. Бык перед от'ездом ходил от радости на руках по комнате и даже дружелюбно заговаривал с Ванькой Петуховым. Ванька звал меня очень приходить на производство, а корел Вайма настойчиво приглашал меня ехать вместе с ним.

— Паехалья Карелия, Рябцев,—говорил он. — Многи форель ловить будем.

Оказывается, у них ловят форель из-под льда или на водопаде. Я очень хотел поехать с ним, но на какие шиши? Если бы позаботиться раньше, то можно было бы достать бесплатный проезд, а сейчас поздно. Так я и остался один.

Отрыв от масс. Как у меня нет никого по-настоящему близких товарищей, и общественную работу я выполняю, как казенную, то для меня теперь ясно, что я оторвался от массы. На самом деле: в школе я был продукт среды и ее детище, а теперь я продукт чего? Меня еще не захватил коллектив вуза, хотя времени было слишком мало для этого. Вся эта двенадцатитысячная масса словно навалилась на меня и задавила. Но я в ней не растворился, не стал еще весь, целиком, принадлежать ей. В этом, конечно, есть индивидуализм, и на это нужно обратить серьезное внимание. Я думаю, что и Сильва стала мне отчасти чужда из-за этого, потому что она-то—яркий член коллектива, тут даже никаких сомнений нет, что она вместе со всей вузовской массой куда-то идет. Сколько я ни ломал голову над этим, выходит одно: Сильва вся поглощена учеьем, для нее ничего выше ее мертвецкой нету, всё остальное как-то на заднем плане, и даже люди в том числе. А отсюда как-то так выходит, что она двигается и растет вместе с коллективом (хотя далеко не все так прилежно и с таким энтузиазмом занимаются своим делом, как Сильва).

Ясно, что мне надо налечь на учеьем, и тогда явится все остальное. С будущего, 1926 года, я и займусь. Я твердо решил теперь, что буду совправцем по судебному отделению.

По поводу размычки с Сильвой придумываю такое оправдание себе, что я интересовался больше людьми и обстановкой, чем делом. Отчасти на это повлияли жилищные и семейные обстоятельства, но в большей части—сам виноват, сознаю.

28 декабря.

Вот уж никогда не знал и не думал, что у него есть мать. Меня это страшно взволновало. Получилось это через Никпетожа. Я его встретил на улице, и он мне сказал, что она меня разыскивает. Так как делать все равно нечего, то я решил пойти.

В заставленной сундуками и корзинками передней меня встретила небольшого роста женщина, и когда я сказал, кто я такой, то она схватилась обеими руками за мою руку и потащила в маленькую комнату. Она села напротив меня (я еще удивился, что у ней красные щеки, но потом сразу заметил, что краснота эта ненормальная: две полосы набухли, должно быть, от слез). Она сказала:

— Ну вот. Скажите, когда последний раз вы видели... Витеньку?

Я рассказал. Хотел сказать про письмо и про стихи, но потом вспомнил, что он велел передать только брату,—и осекся. И хорошо сделал, потому что она сказала:

— Скажите... меня все уверяют, что это был несчастный случай. Вот, мне и хотелось бы знать: правда это или нет?

— Кто уверяет?—спросил я, чтобы выиграть время.

— Начальник милиции. Он говорит, что никакой записки, как обычно оставляют эти... самоубийцы, при нем не нашли, и что протокол составлен, как на несчастный случай. Витенька сделал себе это ужасное... ружье и хотел попробовать...

Она заплакала. Я раздумывал над своим дурацким положением, а тем временем следил, как у ней слезы текли как раз по этим красным дорожкам на щеках. Потом она вскочила и говорит:

— Пока не отвечайте. Да, что ж это я, впрочем?.. Ведь вас чем-нибудь угостить надо... такой хороший Витин товарищ, а я его не угощаю. У меня хлеб есть... масло...

Она вытащила кусок булки и расплывшийся кусочек масла на тарелке. Конечно, я есть не стал, хотя и хотелось: уж очень мне было не по себе, словно я где-то в другом мире.

— Но на мой вопрос не отвечайте, — продолжала она. — Я вам кое-что покажу. Прочтите — и тогда скажите. Тогда ответьте.

Она достала из стола перевязанный черной лентой пакет, долго его развязывала, потом вытащила смятую бумажку и протянула ее мне. На этой бумажке почерком Виктора Шаховского было написано:

Если ты подошел к перекрестку дорог,
 Если ты утомился в борьбе,
 Если бог твой, могучий и пламенный бог,
 Уступил свое место судьбе,
 Если ты пережил все, что знал и что мог,—

Нет пощады — проклятье тебе.
Помни: кем бы ты ни был и чем ты ни будь —
Пустота заползет в твою душу.
Было время: в тоске изнывала душа,
Но тоской была жизнь хороша;
Было время: не мог ты смотреть на людей,
Но был полон ты злобы своей...
Пустота же раскинет свой черный шатер,
Пустота же кинжал свой воткнет...
И шатер будет пуст, и кинжал не остер,
Жизнь назад своих волн не вернет...
И ничто не зажжет в твоём сердце костер,
И никто выручать не придет.

Я очень внимательно, несколько раз перечитал это стихотворение, пока не запомнил наизусть, чтобы записать в дневник, как образец упадочничества и разложения аристократии. Потом она взяла у меня бережно листок и, завернув таким же манером, перевязав черной лентой, спрятала в стол. Потом спросила:

— Ну вот... теперь... ответьте: можно из этого заключить... из этих стихов, что Витенька... сам?..

— А не все ли это равно? — вырвалось у меня. Но я сейчас же пожалел об этом. Она так и впилась в меня светлыми, почти белыми глазами, придвинулась ко мне близко-близко и едва выдохнула:

— Как все равно? Вы, простите, объясните, что вы понимаете под этим: все равно. Но честно, честно отвечайте, вас... кровь матери спрашивает.

И тут мне показалось, что говорю я не с человеком; что это какое-то другое существо — может, безумное — хочет меня загипнотизировать: так все это было непохоже на то, что нас окружает и чем мы живем. В голове кувыркались и стремительно неслись какие-то обрывки мысли:

«Из чего сделана занавеска? — Так вот какая аристократия бывает.—Что же ей ответить? Ляпнуть разве, что он покончил с собой и что стихи только это и могут подтверждать, больше ничего. — Какие у ней страшные глаза. А почему ей это важно?..».

Тогда она встала, пошла куда-то в угол, и, словно в ответ на мои мысли, сказала:

— А! я теперь поняла. Конечно, для вас все равно, поэтому вы и спросили. Я и забыла, что вы из новых... этот, как его, — комсомол.

— Мне вас трудно понять, гражданка княгиня, — сказал я и встал. — Вы все-таки объясните поточней, чего вы от меня хотите. Не забывайте, что мы — классовые враги.

— Да, так! Витенька тоже хотел быть комсомолом. Ну, и хорошо, для вас хорошо, что он не сделался комсомолом. Иначе... я бы вас прокляла... как убийцу... страшным материнским проклятием... но вам и это ничего не говорит. Попробую объяснить. Видите, почему мне не все равно. Я — мать Виктора. Если предположить, что с ним был не-

счастный случай, то мне остается только мое страшное, почти невыносимое, сжигающее до пепла, горе.

Тут она закашлялась и кашляла очень долго, словно хотела меня разжалобить. И вообще тут я овладел собой и начал как-то со стороны смотреть на нее и на ее слова; мне даже показалось, что это похоже на театр: я — зритель, а она очень искусно играет, а сама думает о другом.

— Ну вот, — продолжала она, кончив кашлять. — А если, — нет... если он... сам, то, кроме моего материнского горя, я должна принять в себя еще и его необъятное, нечеловеческое горе, — то самое горе, которое заставило его разбить свою юную жизнь. И это — помимо того, что я должна перенести тяжчайшее оскорбление, которое он мне нанес, как матери, как женщине, как просто близкому человеку, наконец. Почему он не пришел ко мне... не сказал?.. Потому что я — княгиня. А он забыл, что я народу отдала лучшие свои годы? Ох, нет, Витенька! — вскричала она вдруг, схватив одной рукой другую, словно хотела ее сломать. — Нет, Витенька! Это княжество — крест, который послал нам с тобой господь бог... за грехи отцов наших. Я тебе, кроме того, и мама. Разве ты не помнишь, как маленьким приходил ко мне и сознавался во всех шалостях? А что тебе говорила мама? Разве она тебя наказывала? Разве она тебе сказала когда-нибудь дурное слово? Почему же ты теперь, теперь не пришел ко мне, не сказал, не спросил?.. Ведь я бы тебе все объяснила!!!

Я решил, что еще немного, и она бросится на меня. У меня уже давно во всю колотилось сердце. Я незаметно вышел за дверь и прислушался: что-то стукнуло. Я опять заглянул в дверь. Она лежала лицом вниз на постели и бормотала:

— Витенька, сыночек... ну, разве так можно?.. разве так можно, Витенька?!

С тяжелым чувством я шел по улице — и люди казались странными, новыми, радостными.

На углу стояла девчурка лет одиннадцати в рваной куцавейке и в пионерском галстуке. Она была без калош, и один башмак был подвязан веревкой: должно быть, подошва отставала. Был сильный мороз, и девочка все время подпрыгивала, стараясь согреться.

— Что, холодно? — спросил я.

— Двенадцать градусов по Реомюру, — сердито ответила девочка, не глядя на меня.

— Нет, тебе-то — холодно? — спросил я еще раз.

— А тебе какое дело? — ответила девочка. — Чего ты привязываешься? Пошел!

— Да я не понимаю, чего ты торчишь: ведь пальцы отморозишь. Я, как вожатый, должен тебя предупредить.

— Кабы ты был вожатый, то не привязывался бы ни с того, ни с сего. Связь держать мешаешь.

Девочка взмахнула платком, и на другом конце переулка я заметил другой платок, мотнувшийся в сером туманном воздухе.

Мне стало неловко, и я пошел домой. Но тяжелое чувство, появившееся после свидания с матерью Шаховского, прошло, и мне показалось смешно, что я хожу и собираю впечатления, словно репортер.

29 декабря.

Ломаю себе голову — и никак не могу понять сегодняшнюю историю. Я ходил к Никпетожу и имел с ним длинный разговор. Но этот разговор придется записать особо, когда будет время, а сейчас нужно дать себе отчет в том, что произошло.

Из под'езда (недалеко от Никпетожа) выскочила какая-то девчина в одном платке, хотя был мороз, и, дико озираясь, начала звать милиционера. Я ее спросил, что случилось, а она кричит:

— Идите все в свидетели!!! все! Где же милиционер? Постоянно торчит, когда его не нужно, а когда нужно — нету.

— Да что случилось-то? — спросил я.

— Да чего я-то хлопочу? — глядя куда-то мимо меня, спросила девчина. — Как-будто мне больше всех надо? А ты чего ко мне пристал? Сбегал бы лучше за милиционером.

— Да ведь для того, чтобы позвать милиционера, нужно знать, что случилось. Иначе ведь милиционер не пойдет.

— Что случилось-то? — переспросила она. — Объяснить невозможно: тут и смех и грех. Один парень пришел не в свое помещение и распоряжается.

— На что же тогда милиционер? — спросил я. — Ведь есть там жильцы, или никого нету? Да и что это за парень? Наша первая обязанность — борьба с хулиганством. Пойдем, я сам его попробую сейчас выкурить. А если не удастся — соседей на помощь позовем...

— Да видишь, какая вещь — сказала девчина, словно проникшись ко мне доверием. — Их и не разберешь. Это, понимаешь, моя подруга здесь живет. Так вот пристал к ней какой-то парень — уже с месяц тому, как начал приставать. Прямо на улице. Ну, она не знала все время, как от него отделаться, а последнее время он проследил, что она тут живет, и начал к ней заявляться. А сегодня, понимаешь, пришел, принес угощение, вино и вдруг объявляет, что она обещала с ним расписаться, и что он переезжает. Позвали хозяйку, Варвару Петровну, а он и ей то же самое порет. А Варвара Петровна поверила и ушла. Тогда моя подруга закатилась в истерику, а этот парень все не уходит, — ну я и побежала за милицией.

— Да что он: пьяный, что ли? — спросил я.

— Какой там пьяный. Трезвый, сурьезный такой, ну, только — очень настойчивый. Как тут быть?

Меня тут взяло подозрение: наверное, она ему в самом деле обещала, а теперь увилывает. Женщины вообще очень хитрые.

— А она раньше совсем не была с ним знакома? — спрашиваю.

— Ну, никак, никак! Я же тебе говорю, что месяц тому он начал на улице к ней приставать. При мне дело было.

— Ну, и он что-нибудь ей говорил, то-есть, наоборот: она ему что-нибудь отвечала?

— Да что она ему отвечала. Катись, да ступай к чорту, вот что она ему отвечала.

— Ну, может быть, она его к себе в гости звала?

— Вот уж ничего подобного! Никуда она его не звала. да и вообще никак не разговаривала.

— Вот странность. Но, может быть, между ними без твоего присутствия был какой-нибудь сговор? Ведь не бывает же дыма без огня?

— Уверю тебя, что никаких сговоров не было, — с досадой сказала она. — Девчонка его — ну, совершенно не знает, — ну, абсолютно.

— Хорошо, — неуверенно сказал я, — пойдем, посмотрим, что там такое.

Признаться сказать, я чувствовал себя очень неловко, только не подавал виду. Но потом взяло верх следующее: человек просит о помощи — значит, надо помочь. И я решительно распахнул дверь. Девчина в платке пряталась сзади меня. Уже когда я вошел в квартиру, она схватила меня за рукав и прошептала:

— А вдруг у него револьвер?..

— Чорт с ним, — ответил я. — Не имеет права стрелять.

Картина, представившаяся моим глазам, была поразительная. В небольшой комнате, в углу прижалась очень некрасивая и даже как будто горбатая девушка. Посреди комнаты стоял стол, и на нем — бутылка вина и закуски. А в другом углу, рядом с дверью, стоял... Партизан и презрительно усмехался.

— Вот и Рябцев пришел, — сказал он, едва я переступил порог комнаты. — Тоже может принять участие в свадебном пиршестве. — Садись, Рябцев, располагайся. Мы с Нюрой решили расписаться...

— Врет!.. — испуганно закричала девушка в углу. — Врет, я его не знаю, он мне совершенно даже незнакомый, пусть он уходит вон!..

— Ты не обращай внимания, Рябцев, — ласково улыбаясь, сказал Партизан. — Это с ней бывает. А так — она очень хорошая девушка — и любит меня. Правда, Нюра?

Но девчина выскочила из угла, схватила лежавшую на столе селедку и молча пустила в Партизана... Селедка перевернулась в воздухе и жирно чпокнулась об стену.

— Семейная сцена, — сказал Партизан. — Сегодня Нюра не в настроении. Пока пойдем, Рябцев.

— В чем тут дело? — спросил я, когда мы вышли на улицу.

— Как в чем? — ответил Партизан. — Собрались мы с ней жениться, а она немножко ломается: женщины.

— Да кто она такое, хотя бы? — поинтересовался я.

— Работница с фабрики «Люкс».

Я думал, что Партизан начнет изворачиваться, врать, может быть, будет молчать в ответ на мои вопросы, и приготовился покрыть его как следует. Но Партизан отвечал ясно и просто, серьезно глядя мне в глаза, так что мне и спрашивать ничего не оставалось...

Самое странное то, что Партизан исчез из общежития и живет неизвестно где. Похоже, что сбежал.

30 декабря.

В общежитии никого нет; мне как-то тоскливо на душе. Куда-то надо приложить свои силы, а то без активной деятельности я—как будто уже и не я.

Вчера было некогда, а сегодня постараюсь в подробности записать разговор с Никпетожем... Он, оказывается, бросил работу во второй ступени, и тоже на Ванькиной фабрике, и работает теперь в какой-то канцелярии. Встретил он меня очень любезно, и сначала разговор касался светлых сторон действительности. Я ему рассказал некоторые свои недоумения, например,—о праве вмешиваться в жизнь других, и он высказал тут интересную мысль. Потом он вдруг завел следующий разговор:

— Какой-то английский писатель высказал предположение, гипотезу, может быть, совершенно бездоказательную, но тем не менее интересную, насчет людей и пауков. Будто бы когда-то давно, в доисторические времена, землей владели пауки. Они были—бррр!—громкого роста и распоряжались, как хотели. У них было все: сила, хитрость, ловкость,—все, кроме мозга. Земля была затянута паутиной—крепкой, как английская бечевка. Своими страшными челюстями пауки уничтожали все живое, что только было на земле. Передвигаясь со страшной скоростью, — вы заметили, Костя что пауки не бегают, не ползают, а именно передвигаются?—передвигаясь со страшной скоростью, пауки окружали и уничтожали всякого противника, откуда бы он ни появился...

— Позвольте, Николай Петрович, но ведь это что-то дикое и совершенно противоречит эволюционной теории, которую мы восприняли в школе. Ведь всем известно, что наш родоначальник—рактрилобит. Постепенно развиваясь, мир увидел динозавров и птеродактилей, а вовсе не пауков. Откуда вы это взяли?

— Да я же говорю, что это предположение, художественная гипотеза какого-то английского писателя, я сейчас не помню какого...

— Болезненная фантазия.

— Фантазия, если хотите; насколько болезненная—не знаю. От ваших этих птеродактилей ничего не осталось даже в помине, а пауки... и сейчас... есть. Вы вот знаете или нет, что в Бразилии есть такой паук, в диаметре с ногами в полметра, который сидит на дереве и ждет, пока мимо него пройдет что-нибудь живое? Тогда он бросается

на свою жертву, убивает ее одним ударом ядовитых челюстей и затем пьет кровь.

— Как так от птеродактилей ничего не осталось? Это вы мне баки забиваете, Николай Петрович. Есть даже изображения, отпечатки птеродактилей в некоторых породах.

— Да, но пауки-то и живые есть, а не какие-нибудь там отпечатки. Согласно этой гипотезе, мозг обезьяны стал увеличиваться вдвое скорее, потому что природе было необходимо строгое и спокойное созидание, а вовсе не разрушение, которое вносили пауки. И вот, наконец, настал момент, когда обезьяний мозг настолько организовался, что обезьяны стали в состоянии бороться с пауками. Они заманивали пауков в их собственную паутину и уничтожали их.

— Ну, уж это я не знаю, Николай Петрович...—сказал я.—В последнее время от вас приходится слышать столько странного, что вы меня уже ничем не удивите. Да я и не знаю, к чему вы приплели эту сказку про пауков.

— Сказку?—переспросил Никпетож, загадочно хмыкнув.—Впрочем, что с вами разговариваю об этом: ведь вы—рационалист, материалист, марксист. А что вы скажете, гражданин рационалист,—зашептал вдруг Никпетож, нагнувшись ко мне.—Что вы скажете на такое соображение: откуда у человека это врожденное отвращение именно к паукам? Даже не отвращение, это слабо сказано, а страх, ужас перед пауками. Сколько угодно вы найдете людей, которые возьмут в руки потомка ваших динозавров — ящерицу. Мышей не боится и не чувствует к ним отвращения ни один мужчина. Змей берут в руки, и они подчиняются. А найдите мне человека, который согласился бы посадить себе за пазуху паука. Бррр,—говорить-то об этом страшно... Но это нужно преодолеть. Это необходимо преодолеть... Иначе можно дойти до сумасшествия. Вы знаете, Костя, что у меня болит верхняя корка большого мозга? Вот здесь. Это все от пауков. То-есть, от одного паука. Вон он сидит. Неприятная личность.

Вне себя от отвращения я вскочил на ноги и посмотрел, куда показывал Никпетож. Показывал он на середину комнаты, на пол. На полу ничего не было.

— Странные шутки, Николай Петрович,—сказал я.—Пол чистый, никакого паука там нет.

— Есть!—Никпетож встал, походил по комнате, старательно обходя указанное им на полу место.—Мало сказать: большущий. Громадный! Мохнатый! Он сейчас спит—день,—поэтому я так свободно и говорю.

— А ночью—что ж: двигается?—спросил я, поняв в чем дело.

— Да нет, не двигается, сукин сын!—с отчаянием воскликнул Никпетож.—Сидит. Разве что почесает ногу ногой И что ему надо, я не понимаю. У меня мозг хотя и болит, но есть. Я его могу победить. Мне бы только пулемет достать. У вас нет пулемета, Костя? Впрочем, не надо.

— Почему не надо?—спросил я механически, чтобы что-нибудь сказать.

— Хитрый! Я раз припас топор, хотел топором пустить в его мохнатую харю. А он смылся. Остались одни очертания на полу. Отпечаток... в роде вашего птеродактиля.

— Это галлюцинация, Николай Петрович, — сказал я тихо. — Вы больны. Вам надо лечиться скорей.

— Вы думаете, Костя? Может быть, и так. — Никпетож сразу стал каким-то расслабленным, сгорбился, словно из него кости вытряхнули.—Времени нет лечиться. И что самое ужасное, Костя, так это то, что будь вы на моем месте—вы бы его давно уничтожили, или проявили решительность действия по отношению к нему. А я вот... не могу. Нет у меня этого самого... как его,—боевого активизма. Не могу. Не могу.

Он очень крепко пожал мне на прощанье руку и еще раз повторил:

— Не могу!

1 января 1926 года.

Вчера я ходил на похороны известного поэта, и мне стало так на душе одиноко, что я решил зайти к Корсунцеву. Тут случилась неприятность. Я, по обыкновению, пройдя через коридор общежития, открыл дверь комнаты и вошел. Но в этот же самый момент кто-то из глубины комнаты закричал диким голосом: — «Нельзя!»—и я увидел совершенно красного Корсунцева и еще какую-то женщину, которую я сразу и не узнал. Только потом, когда она пронеслась мимо меня, я разглядел, что это уборщица из этого же общежития. Корсунцев на меня напустился, что я вхожу без стука. Я стал оправдываться, это и раньше так бывало. Потом я спросил Корсунцева, что неужели он не боится алиментов.

— Бывают вещи похуже алиментов, — отвечал Корсунцев. — Пойдем лучше к дядьке встречать новый год.

Сейчас пять часов дня, но я только что встал, и у меня болит голова.

3 января.

Никак я не мог ожидать того, что увижу на фабрике у Ваньки Петухова. Вчера я туда пошел повидаться с ним, как вдруг он встречает меня очень встревоженный и нахмуренный и говорит:

— Ты во-время пришел. Твои показания, пожалуй, будут необходимы.

— А что?

— А то, что случилась скверная история с Партизаном.

— Погоди-ка... — сказал я, — ведь ваша фабрика называется «Люкс»?

— Ну да, «Красный Люкс». А что?

— Хорошо; теперь скажи, что такое с Партизаном и зачем мои показания?

— Трудно сказать в двух словах. Тебе нужно будет охарактеризовать Партизана, как человека. Это, видишь, нечто в роде суда, устроенного по желанию самого Партизана. Имей в виду, что рабочие очень возбуждены.

— Да в чем он провинился?

— Обидел одну работницу.

— Ее зовут Нюра?

— Нюра. Откуда ты знаешь?

В этот момент мы уже вошли в помещение клуба, которое было набито битком. Люди чуть что не сидели друг у друга на плечах. Большинство было женщин. Пробравшись вслед за Ванькой к сцене, я вскарабкался за кулисы и увидел, что за столом президиума сидят немножко мне знакомые Зыкова, Пашка Брычев и Ганя Чиж. В углу сцены я заметил с'ежившуюся сутулую девушку, у которой я тогда застал Партизана. «Наконец-то эта странная история распузается»,— мелькнуло у меня в голове. Больше поговорить с Ванькой о деле не удалось.

Зыкова встала, позвонила в колокольчик и об'явила заседание суда открытым.

— Тут мы собрали общественный суд,— сказала Зыкова,— потому что дело такое довольно необыкновенное и опять-таки обстоит, что трудно подобрать социальную защиту. Есть, конечно, в советских законах такая статья, которая припавает за принуждение к сожительству. Но эта статья довольно-таки не подходит. В общем, обвиняется вузовский учащийся Трифонов (я только тут узнал фамилию Партизана), и как он сам из пролетарской среды, а не какой-нибудь нэпорылов или там спец, то он прбсил судить его строгим пролетарским судом безо всякого снисхождения, а потому будем судить его общим собранием и голосованием рук. Вот, товарищ Петухов доложит дело.

На сцену быстрыми шагами вышел Ванька Петухов.

— В ячейку несколько раз обращалась наша работница Нюра Квасина,—сказал он,—с таким заявлением, что к ней на улице пристал и потом не отвязывается, даже приходит в квартиру и утверждает, что она его невеста, некий гражданин. Ячейка не могла ничего сделать, потому что имя и адрес гражданина были неизвестны. Да и сам он очень искусно обводил вокруг пальца всех: и соседей Квасиной, и квартирную ее хозяйку, и даже милиционера. Так продолжалось свыше месяца. Квасина пробовала ночевать у подруг, не являлась домой по три, по четыре дня, но ничего не помогало. Неизвестный гражданин опять ловил ее на улице и начинал свои недопустимые разговорчики. Но случайно под новый год ребята зашли к Нюрке, то-есть я хотел сказать к Квасиной, и им удалось этого гражданина выяснить. К сожалению, это оказался довольно хорошо мне известный

лично, мой товарищ по вузу, Трифонов. Пусть он сам об'яснит, чего он, собственно говоря, добивался от Квасиной, я же только могу сказать, что у него в прошлом большие заслуги в гражданской войне, хотя, конечно, к данному делу это имеет очень маленькое отношение...

— Никакого отношения не имеет, скажи,—перебила Зыкова.

— Это уж сами рассудите,—спокойно продолжал Ванька.— В этом деле самое важное то, что Трифонов хочет сам себя обвинять. Это нам облегчает задачу, потому что его проступок больше, чем простое хулиганство, и этот проступок вообще довольно трудно квалифицировать. Так что я сейчас его позову.

Толпа в зале заволновалась, но Зыкова позвонила колокольчиком и сказала:

— Позвать-то ты его позови, а только слово будет предоставлено раньше пострадавшей Квасиной.

Партизан вошел и стал мрачно у занавеса.

— Квасина, рассказывай, в чем дело,—сказала Зыкова.

— Да я не могу... что рассказывать,—чуть слышно проговорила Квасина.

— Громче! Громче!!—закричали из рядов.

— Ну вот... этот вот самый... не знаю, как его зовут... все ко мне пристает,—глотая воздух, еле слышно проговорила девчина.—Я и не знаю его совсем... кто он такой... на квартиру приходит... вино зачем-то принес...

— Обижал он тебя?—спросила Зыкова.

— То-есть как: обижал?—не поняла Квасина.

— Ну... лапал, целовал, может, насильно?

— Ничего этого не было,—тихо ответила Квасина.

— Да ты, может, раньше была с ним знакома?

— Знать никогда не знала, пропади он совсем,—неожиданно громко выкрикнула Квасина.—Что он ко мне привязался, словно я из себя красивая или какая-нибудь приститутка? Я его не трогала. Подходит на улице, пиж-жоном одет, как миленький... «Нюра, говорит, как мы с вами знакомы, и я к вам, говорит, чувства питаю»... и будто я ему расписаться обещала... Я никогда такого и не слыхивала,—оборвала она вдруг, и по лицу у ней пошли красные пятна.

— Что, это верно, гражданин... Трифонов?—спросила Зыкова.

— Правда,—громко ответил Партизан.

— Может, вы нам расскажете, гражданин, зачем, то-есть, с какой довольно-таки нам непонятной целью, вы к ней приставали?—спросила Зыкова.

— Она еще сама не все рассказала,—заметил Партизан.

— Как, то-есть, не все?—удивилась Квасина. Она стояла против Партизана, с другой стороны рампы, и так и впивилась в него глазами, двигая головой за каждым его движением, словно так и ждала, что он начнет опять устраивать что-нибудь скверное.—Как не все? Ах, да! Это он подарки приносил. Ленту какую-то принес. На кой мне его

лента? Я сама заработаю, ленту куплю!.. Вы, товарищи, имейте в виду,—визгливо закричала она вдруг в залу,—что я все его подарки через окно вышвырнула! Очень он мне нужен с подарками... Он лове-расничают, а я от него подарки принимай... Какой версаль нашелся.

— Почему версаль?—спросил Ванька Петухов.

— А это в парижкой коммуне были буржуи, гниды, их версальями называли, так и он... Да ты что, смеешься, что ли, Петухов? Так я не буду... Ну вас всех.

— Да я вовсе не смеюсь, когда я смеялся, вспомни-ка, Квасина?—возразил Ванька Петухов. (И верно, я что-то не видал, чтобы Ванька смеялся.) Просто не понял сразу.

— И опять она не все сказала,—с какой-то кривой усмешкой изрек Партизан.

— А теперь я и совсем не буду,—крикнула Квасина.— Он вон и сам смеется, словно не его судят. На улице измывался, домой пришел—измывался, теперь еще сюда измываться пришел, что же это такое, товарищи?—прокричала Квасина одним духом. В зале негодующе зашумели. Партизан повернулся лицом к толпе и спокойно сказал:

— Я вовсе не смеялся, товарищи. Это у меня судорога рта, от ранения в голову.

— Может, все-таки, сам расскажешь, гражданин, как было дело?—недоумевающе предложила Зыкова.— Я что-то все меньше и меньше в этой истории начинаю понимать.

— Верно, пускай сам рассказывает. Да кто он такой? Что за человек, пусть скажет?—раздались крики из зала.

— Я все, все расскажу, товарищи,—просто сказал Партизан, обращаясь к толпе.—Я и просил по возможности обойтись без милиции, чтобы вы меня осудили своим судом. Только выслушайте спокойно, я ведь вам товарищ, из рабочей среды.

В зале наступила полная тишина. Люди насторожились. В первом ряду какая-то старуха поднесла к уху ладонь горсточкой, чтобы лучше слышать.

— Начну издалека,—сказал Партизан.—Я буду говорить с вами о гражданской войне не для того вовсе, чтобы оправдаться перед вами и выставить какие-то свои заслуги, а просто потому, что иначе трудно будет меня понять. Я был, верно, на всех фронтах и, как говорится, кровь проливал. Имею ранение в голову, в живот и потом еще всякие контузии. Опять-таки не для того, чтобы просить у вас какого-то снисхождения, я в снисхождении не нуждаюсь, а очень прошу, наоборот, строго рассудить мое дело, по всей вашей пролетарской совести. Нет, эти раны—просто оправдательные документы того, что я действительно участвовал в гражданской войне. Большинство из вас знает, товарищи, что такое из себя представляла эта война. Это было все равно, как если бы человека долго, десятками лет держать в заключении без воздуха и света—и потом сразу вдруг, внезапно

выпустить на свободу. Такой человек стал бы глотать воздух и свет не только легкими, нет, все существо такого человека с жадностью стало бы купаться в воздухе и свете. И вот таким воздухом и светом явилась для большинства из нас гражданская война. Мне сейчас тридцать с лишком лет, товарищи, а тогда было немножко свыше двадцати. Все во мне кипело и без того, а тут еще в голову ударил хмель гражданской войны. Из протухших царских окопов я попал в пахучие травами степи, на какую-то светлую волю, — и уже знал, твердо знал, что именно эту волю я и защищаю.

— Ты поэзию-то не разводи!—крикнули из зала.—Мастер глаза замазывать!..

— Тут как раз нужна поэзия, для понимания моего дела, — ответил Партизан.—Тут именно все воспринималось поэтически. Тут вся кровь и вся грязь войны обращались именно к поэзии. Не знаю, как другие, а я глядел не на землю, не на людей, а куда-то поверх... Это трудно объяснить, но башка, башка пылала... А иначе как же понять, что мы, вшивые и оборванные, опрокинули и уничтожили сытых, обутих, снабженных техникой. Вам прекрасно известно, товарищи, что нас вела революция, а революция—это и есть поэзия. А когда мы, с нашими пылающими башками и с неостывшими от жара пулеметов руками, пришли к разрушенным заводам и к почерневшим пожарищам для того, чтобы строить вновь, не секрет, что у многих и многих опустились руки и погасли факелы в башках. Ведь это настали будни, товарищи... А надышавшись воздухом степей и взвинченные пороховым задором, многие не могли сразу воспринять того, что и в буднях есть своя какая-то поэзия. А я вот—и до сих пор этого не воспринял.

— Погоди-кась, гражданин,—перебила вдруг Зыкова.—Я так думаю, товарищи, что он не по существу. Это что же, мы и будем тут разводы разводить: поэзия—не поэзия, воспринял—не воспринял? Чорт-те што! Нет, пускай он расскажет, за что он девушку обижал, а узоры его нам не нужны.

— Как так не нужны?—с силой сказал Партизан, и мне вспомнилось, как он читал стихи.—Дайте мне высказаться, товарищи. Я долго молчал. Мне теперь сказать надо.

— Дай ему сказать, Зыкова,—ответили из зала.—Пушай выговорится. Он все-таки, видать, наш...

— Да, стать над буднями, — как-будто задумчиво продолжал Партизан.—Задача нелегкая—стать над этими самыми буднями, когда сам весь в будничных делах, заботах, учебе, строительстве... Но ведь только тогда, когда станешь над буднями, обнаружится новая поэзия, романтика этих самых будней и взлет от земли куда-то ввысь...

Зыкова засмеялась.

— Может, это и смешно, даже наверное это смешно, — ну, а для меня в этом и заключался весь ужас. Ужас несоответствия между повседневностью и стремлением к поэзии, к романтике... Да нет, я все

не те слова говорю. Слова у меня все книжные, надуманные, но этому, по крайней мере, есть оправдание. Вы сами, вы—класс, послали меня учиться,—я добросовестно учился, и вот, выучился этим книжным словам. Шесть лет учебы не проходят даром, и мне, пожалуй, ближе язык интеллигента, чем мой родной, рабочий язык...

— Вот это что верно, то верно,—не удержалась Зыкова.

— Язык, а не сущность. Интеллигенция наша мне чужда, не понимает она меня.. Я и думал, что, может, вы поймете,—как-то устало продолжал Партизан.—Ну вот. Теперь история с этой Нюрой. Обыденка, повседневщина стала для меня невысказанной. Трудно тянуть одну и ту же песню под одну бирку с окружающим, товарищи. Вышло так, что я взбунтовался против будней, против испепеляющего их гнета. Ну, а мой бунт вышел жалким, никчемным, противным и враждебным своему классу, вам, социализму, всему, ради чего я живу... Я вне обычных рамок захотел построить свою жизнь — и вперся со всего разбегу в тупик. Я сказал себе:—вот девушка, она некрасивая, она горбатая, должно быть, ей живется тоскливо... попробую я сделать ее жизнь яркой, да и сам ринусь в бой против обычного, ненавистного мне этой своей обычностью, будничностью... Ну, вот, и ринулся. Подошел к ней на улице, стал уверять, что мы давно с ней знакомы, вообще задача была: воображение претворить в плоть и кровь, облечь живой жизнью фантазию... А вышло уродство. Я сам это сознаю. Она испугалась, стала звать на помощь сначала подругу, потом милицию... квартирную хозяйку, Варвару Петровну. Чорт!—С тоской воскликнул Партизан.—Я ей, этой Нюре, только хорошего хотел... а она против моей романтики позвала на помощь именно обычное, именно будни сейчас же пришли ей на выручку и опрокинули меня на обе лопатки. Я знал одного товарища, — помолчав, сказал Партизан, — который в почти аналогичном положении разбил себе череп ручной гранатой. Ну... а я—не такой. Я пришел к вам, братцы. Я... преступник перед вами... перед классом. Может, и вина моя вся в том, что я от вас как-то отошел, зашился в учебе. Ваш приговор—для меня окончательный будет.

Как только он кончил, в зале зашумели и зашевелились. Сразу можно было определить, что речью Партизана слушатели не очень довольны.

— Ну, так вот,—сказала Зыкова.—Кто желает? Я так думаю, что история эта все-таки непонятная. Мое мнение такое, что зря мы все это затеяли. Тут нужен правительственный, советский суд, он бы и разобрал, пускай этот гражданин там бы и разводил про поэзию и что он не может по будням жить, а только по праздникам. Там бы живо подобрали статью. И еще это не доказано, может, он ее изнасиловать хотел. А эти надстройки придумал для отвода глаз...

— Да ведь Квасина подтверждает, что ничего такого не было,—с досадой перебил Ванька Петухов.—Ты-то чего, Зыкова, разоряешься? Можно подумать, что ты спишь и видишь, как бы человека

в тюрьму упрятать. Все-таки не забывай—ведь товарищ. Я с ним полгода в одной комнате прожил и мог бы за него поручиться...

— Слушь-ка, ребята,—внезапно воодушевился Пашка Брычев.— А что, если так сделать?.. Ну, скажем... Нюрка Квасина все толкует, что она его и не знала совсем. А я, братцы, слушь-ка, сам по себе знаю: с девками, братцы,—ох, как трудно... Так, может, понимаешь, их честь честью познакомить... Ну, чтобы она его знала... Тогда братцы, все придет, слушь-ка, в свой аккурат. Да вы чего, черти, ржете?..

— Верно, товарищи, Пашке трудно с девками приходится,—покрывая общий хохот, крикнул какой-то рабочий из зала. Из-за стола президиума поднялась и вышла к рампе Ганя Чиж.

-- Я не-согласна с Зыковой, — сказала она. — Этот товарищ к нам пришел, нашего суда просит, а мы его будем отсылать. Он ценный—Петухов говорит. И я считаю,—его оставить, ну, только, конечно, чтобы он не позволял себе, как таковой... девушек не обижал бы, то-есть...

В зале послышался шум. Все головы обернулись назад: сквозь толпу к сцене продирался предфабкома Федорыч.

— Стой, ребята, не чепляйся, так нельзя, дай мне слово,—кричал он.—Даешь слово. Я вот что, я этого братишку знаю,—запыхавшись кричал он уже на сцене.—Это Васька Трифонов, он свой, мы с ним вместе вшей кормили. Как же, Васька-то? Очень он нам даже известен. Он у генерала Маевского на Харьковском вокзале из-под носу винегрет унес. Он тогда за полового официанта ходил, как разведчик... Вот сейчас провалиться. Смехота. Генерал винегрету хочет кушать, а Васька унес...

— Да брось, что ты шутуешь, Федорыч? — с досадой перебил Партизан.—Тут, милый друг, серьезное дело...

— Да я всерьез,—не соглашался Федорыч.—Тут такое дело, чортики с рожками: товарища встретил, а ты—шутуешь...

— Позвольте конкретное предложение,—сказал Ванька Петухов,—так как выяснилось, что Трифонова знаю не только я, а еще и Федорыч,—то предлагаю: Трифонова взять нам с ним на поруки, а от порицания или вообще какого-нибудь приговора — пока воздержаться.

Несмотря на то, что Зыкова была против, поднялся целый лес рук за Ванькино предложение.

Ванька сейчас же подошел ко мне, крепко стиснул руку и прошептал:

— Ты, Рябцев, иди сейчас же в общежитие с Партизаном, и глаз с него не спускай. Хорошо, если бы ты познакомил его с какими-нибудь хорошими девушками.

— А чего ты боишься? — спросил я.

— Да мало ли, — уклончиво ответил Ванька.

Сейчас Партизан лежит на койке и читает. Завтра попробую разыскать Веру.

(Окончание следует)

Легкая погода хороша

ник. ушаков

Выпадала пороша,
Выпадала хороша.

Легкая погода
хороша.
Покрывает всходы
пороша.

В поле обозначен
разный след.
Лисий и собачий
в том числе

Я напрасно поднял
карабин.
Что это сегодня
воробьи
грянули по грядам
(чирк и хруст),—
а оттуда градом
в красный куст?

Легкая погода
хороша.
В это время года
пороша.

Риги лучезарны
в этот час.

Вылетает парный
тарантас.

От него в полях
тень,
тень,
тень.

— Дора Юлианна,
добрый день!

Мне
не отвечают
на поклон.

Бронзовое чая
клен,
клен,
клен.

Сизый порошок тает
по кустам.
Снова золотая
пустота.

Я напрасно поднял
карабин: —

что это сегодня
воробьи
косяком трескучим
там и тут
зачерпнули сучья
на лету!

В е т е р

ПАВЕЛ ДРУЖИНИН

Ветер, ветер ветровой,
Затруби над головой;
Ветер, ветер-ветродуй,
В трубы трубные задуй.
В трубы трубно затруби,
Лютым знобом зазноби.
Лютым зверем зарычи,
Яро горе размечи.
Ходит ветер гоголем,
Бродит ветер по полю,
Скачет, кувыркается,
В лужицах купается;
Скачет по завалинкам,
Плачет ветер маленьким.
Свищет ветер свищиком,
Ноет ветер нищенкой.
Топают дорожками,
Хлопает окошками,
В ноги камнем валится,
Сетует да жалится
Ветровыми вздохами,

Ветровыми гудами:
— Ох, уж да и плохо мне,
Ох, уж да и худо мне!
Целый день-денешенек
Один единешенек.
Целый день да ночь ори,
Горло без ума дери.
Нет у ветра дочери,
Нет у ветра матери.
Нет ни сына, ни отца
У такого молодца;
Нет ни друга, ни жены,
Ни суммы, и ни казны...
Одинок на целом свете,
Одинок, как... в поле ветер!
Оттого над головой
Трубит ветер ветровой.
Трубит трубно не спроста
Ветер — круглый сирота,
На земле, как никому,
Скушно ветру одному!

За живой и мертвой водой

А. ВОРОНСКИЙ

(Продолжение ¹)

Нам угрожал голод. На другой после признаний Селезнева день, в новом этапном помещении, конвойные, избегая смотреть нам в глаза, выдали каравай хлеба. Мы долго грызли каменные корки, после чая уныло сидели или валялись на нарах, в избе стояла мрачная и пустая тишина. Вечером Кучуков собрал нас с конвойными на совещание.

— Товарищи, — заявил он, оживляясь, — с нами случилось несчастье. Надо что-нибудь предпринять, иначе придется голодать.

— Это уж как есть, — поспешил согласиться Селезнев. — Говорил я им, непутевым...

Его решительно перебили остальные конвойные.

— Закройся, сам первым был...

— Брось ты, ей-богу, языком трепать: тут о деле хотят поразмыслить, а ты пустое мелешь...

Кучуков вежливо заметил:

— В самом деле, товарищ Селезнев, воздержитесь от ваших замечаний и просите предварительно у меня слово.

— По мне как хотите, — обиженно, но вяло сказал Селезнев. — Я об чем, я о политиканах интересуюсь, чтоб вы довольны были, и о порядке заботу имею...

— Надо вносить конкретные предложения, — заявил Климович, будто не замечая Селезнева. — Со своей стороны предлагаю составить трудовую артель. Попытаемся сообща зарабатывать что-нибудь.

— Ничего не выйдет, — угрюмо заявили конвойные. — Какая тут работа зимой? Никто нас не возьмет. Мы эти места знаем.

— Тогда, может быть, придется продать кое-какие вещи? — спросил я собрание. Ответил Китаев:

— Своего у нас нет, а за казенное под суд попадешь... Вот рази, — он озорно подмигнул, показывая на Селезнева, — очки дареные можно спустить по сходной цене.

¹) См. «Новый Мир», кн. 9 с. г.

— Во, во, — со смехом поддержали его конвойные. Селезнев заерзал на лавке.

— От сумы да от тюрьмы не отказывайся, — промолвил Панкратов. — Побираться будем.

Ответил жестко Ногтев:

— Нет, побираться я не стану. Я лучше амбары, да клетки, да прилавки, да дворы пойду чистить. Не буду я всякому скоту в ноги кланяться: если на то дело идет, я шкворнем его угощу.

— Шкворнем, — отозвался Китаев, — тебя, брат, поморы скорее угодят, чем ты их.

С нар поднялся Нефедов, усмехнулся, неторопливо надел шинель, подпоясался, добродушно сказал:

— Пустое все говорите. О деле надо думать. Есть у меня тут знакомые, пойду к ним, глядишь — и принесу чего-нибудь.

— Объявляю заседание закрытым, — громогласно заявил Кучуков, очевидно, воображая, будто он на собрании в две-три тысячи человек.

Мы лениво разбрелись по местам. Спустя час или два, возвратился Нефедов, медленно развязал башлык, потер щеки, подошел к столу, вынул из кармана шинели бутылку водки, несколько шанег, серебряный рубль.

— Свет не без добрых людей. Китаев, сбегай в лавку, купи пшена и трески. Всем хватит и на завтра останется.

Его простое, гладкое лицо с белесыми бровями и ресницами улыбалось довольной, широкой улыбкой. Я спросил Нефедова:

— Где все это посчастливилось вам достать?

Нефедов загадочно ответил:

— Сорока на хвосте принесла. Да вы не сомневайтесь, дело чистое, ей-ей.

Потом мы ели душистый кулеш и еще более душистую треску.

Бутылка водки была распита вдохновенно. Нефедов держался хлебо-сольным хозяином. Ночью конвойные долго шептались у себя по углам. Когда на следующий день мы расположились снова отдыхать, Нефедов обратился к конвойным:

— У кого, други, на селе есть знакомые, или какие-никакие?..

Солдаты странно переглянулись, кое-кто двусмысленно ухмыльнулся.

Селезнев поучительно ответил:

— Умей воровать, умей и ответ держать, сем-ка, я схожу. Я — удачливый. Есть у меня тут приятели.

К обеду он принес шанег и свежих сельдей. Вид у него был торжественный и самоотверженный. Конвойные подшучивали над Селезневым, чего-то не договаривая.

— Клынуло?..

— Ты, Селезнев, старайся, пример показывай, ты — старшой...

— Главное, очки надевай, очки тут первое дело...

Селезнев самодовольно и молодцевато крутил усы.

В новом посаде знакомые нашлись опять у Нефедова. Мне показалось странным и подозрительным такое обилие приятелей, земляков и знакомых

у конвойных. Еще более непонятны были шутки, намеки и разговоры, которыми они обменивались. Встретившись во время прогулки с Нефедовым, я откровенно высказал ему эти свои сомнения, спросил, каким путем солдаты достают деньги, водку, хлеб. Нефедов сначала замаялся, потом неопределенно усмехнулся, потер нос, поправил привычным движением пояс.

— Ай, не догадались, а дело-то совсем простецкое. Вы только своим товарищам не сказывайте, особливо этому косоплечему, который все в книгу читает. Мы промежду себя сговорились никакого вида вам не показывать: неловко нам перед вами... Ну, одним словом, женки посадские нас выручают. Ребята мы здоровые, до бабьей ласки охочие, а тутошним женкам это самое только и подавай. Вдов тут много, солдаток. У которых — мужья в отлучке. Теперь поморы на промыслы уехали. А живут, сами видите, в довольстве, в безбедности. Ты придешь к ней, к женке-то, ну... то, да се, — она тебя накормит и в дорогу что-нибудь сунет. Народ в этих краях не жадный, сожалительный... Вот все и дело... Мы же понимаем — раз прогуляли ваши гроши, должны сами об вас заботиться. У нас тоже свое правильное понятие имеется, мы не нехристи какие, али-бо душегубы. Вы только живите без сомнения, до вас все это не касается.

Нефедов смущенно заглядывал мне в глаза, точно искал поддержки и оправдания.

— Так не годится, — пробормотал я растерянно, — надо найти какой-нибудь другой выход.

— Чего ж тут хорошего, — согласился с готовностью Нефедов, — а только ничего другого не надумашь.

О разговоре с Нефедовым я рассказал Кучукову и Климовичу. Кучуков морщился, качал головой, прищелкивал языком, капля на кончике носа у него увеличилась. — Очень, очень, знаете ли, неудобно, — говорил он. Климович молча пожимал плечами, но по тому, как нервно сбрасывал он и надевал пенснэ, ходил из угла в угол, как невпопад отвечал на вопросы, нетрудно было заметить, что он тоже взволнован. Солдаты торговали собой и кормили нас. Это не соответствовало ни нашим чувствам, ни нашим убеждениям. Мы со всех сторон обсуждали «положение», искали «выход из тупика», предавались самобичеванию и рассуждениям. Но, пока мы все это делали, конвойные продолжали ходить «по землякам и знакомым». Селезнев пробовал уже снова начальственно распоряжаться.

— Кому ноне в наряд итить? — спрашивал он, строго посматривая на солдат.

— Итить, кажись, Китаеву, — отвечали конвойные и начинали шутить над ним.

— Ростом будто не вышел.

— Ростом—это ничего: губа подгуляла. У тебя, Китаев, не две губы, а почитай, три выходит.

Иногда Селезнев говорил:

— Кому ноне в наряд? Мне ноне в наряд.. Эх, служба, служба!

Свои новые обязанности и Селезнев и другие конвойные исполняли истово и деловито. Наиболее деловым оказался Нефедов. Он уже третий год

сопровождал арестантов, знал посадки и села, и действительно, имел в них много знакомых «женок». Его называли разводящим. Он был здоров, крепок и статен. Торгуя собой, солдаты считали, что они, растратив наши деньги, проштрафились, обязаны поэтому доставать нам хлеб, треску, чай, сахар. Мы не слыхали от них ни одного упрека, не заметили ни одного косого взгляда, никто из них даже в шутку не предложил нам сходить к «землякам». Кажется, они смотрели на нас, на политических, как на людей иной, отличной от них породы: мы «благородные», «вполне интеллигентные», — еще у них было «к политике» безотчетное, бессознательное, хотя и очень неопределенное уважение.

Но как ни старались конвойные, все же у нас нередко выпадали голодные дни. «Земляки» находились далеко не всегда, не везде, нас было десять едоков, солдатского «заработка» не хватало. Изредка нас поддерживали добровольные приношения. Иногда сердобольная хозяйка этапной избы, жалеючи нас, «рестантов», и видя, по словам Кучукова, наши «двусмысленные переживания», приносила в дар каравай хлеба, картошку; рыбаки-поморы уделяли рыбы с уловов. Однажды к нам вошел сухой и кволий старик, изъеденный временем, с желтой бородой, прикрыл плотно за собой дверь, поставил на пол ведро, наполненное мелкой рыбой, сказал негромко, но внятно: — кушайте на здоровье. — Мы стали расспрашивать его. — Сын у меня на каторге, — ответил он коротко, вздохнув глубоко. — За убийство... сгоряча человека убил... не обессудьте... — Внимательно оглядев нас, он вышел из избы боком и как-то незаметно.

Кое-что добывал воровством Ногтев. Воровал он чаще всего по базарам, приносил мясо, махорку, калачи, — в одном посаде ему удалось стащить с прилавка кусок ситца. Он приходил злой, напряженный, с зеленым, с сухим и с зловещим лицом, бросал небрежно сворованное на стол, говорил сквозь зубы повелительно Семену или кому-нибудь из конвойных: — Вари живей, жрать охота. — Ел много, по-волчьи. Солдаты от краденого не отказывались, но и одобрений не выражали.

— Ты смотри, парень, осторожней будь. Не ровен час поймут — живым не уйдешь.

— Одна дорога.

— Это как человек сам себе положит.

— Мало ли что я себе положил, с этим не считаются. Меня не спрашивали, когда в тюрьму сажали; не смотрели на меня, когда хозяйство разоряли, — какого-же рожна я глядеть на них буду. Палить их надо.

Ногтев свирепо ненавидел помещиков, чиновников, купцов, священников, деревенских богатеев. Злоба его была огромная, лютая, такая, что он даже не умел, не мог о ненавистных ему людях рассуждать. В его упрямой голове копошились мысли одна мстительней другой, его грудь распирали дикие, кровожадные желания. Но он ненавидел за свои, за личные обиды, он ненавидел в одиночку и в одиночку он готов был и отстаивать себя. Он равнодушно относился ко всему общественному, не любил людей, презирал их, не хотел, не умел соединять свою жизнь с жизнью, с уделом других. Впрочем, он мог пристать к людям, но лишь на время, для отдельного нападения, для разгрома,

ни в чем, однако, никому не уступая, не поддаваясь влиянию. Нас, политических, Ногтев считал барами, дармоедами, полагая, что мы чудачим от хорошей, от сытной жизни, — наши тюремные мытарства он расценивал тоже как неумную блажь. — Вы — сами по себе, а мы, мужланы, сами по себе. От вас и пахнет не по-нашенски... Вы — студенты, ученые, куда нам до вас, — говаривал он с деланным и с ехидным самоуничижением. К политическим разговорам относился безразлично, был скрытен, неуживчив. Если бы он лишился своей ненависти, ему нечем стало бы жить.

Мы продолжали передвигаться по маршруту. Давно уже стерлись многие черты отличия между нами — арестантами и конвойными. Мы составляли одну кочующую ватагу, — голодную и бездомную; мы жили одними интересами — насущными и неотложными. С утра нужно было делать двадцать — двадцать пять верст, укрываться от холодов, добираться до этапной избы, добывать пищу, отсыпаться. Мы были вырваны из обычных условий, из быта. Сословия, учреждения, законы, чиновники, города, культура — все это осталось позади нас, перестало на нас влиять, и тогда обнаружилось, что мы должны жить сообща и помогать друг другу. Кругом нас стояли леса, лежали снега, выли ветры, волки, вьюги, метели, раскидывались неистощимой синью небеса, вставало и заходило солнце, спускались долгие, северные иссиня-черные ночи. И вышло так, что мы, бывалые, образованные люди, подвижные и молодые, очутившись лицом к лицу со снежными просторами, со стужами, оказались неприспособленными, бессильными — и нас должны были кормить люди, привыкшие к тяжелому труду, к лишениям и к тому, чтобы работать на других. И они это делали просто и дружески, сами того не понимая и думая, что они в долгу перед нами.

Изменился и внешний наш облик. Мы огрубели, оборвались, ходили лохматые, грязные, поотпускали себе бороды, усы, а у Кучукова на носу вырос даже куст черных и жестких волос, — он сокрушался, твердил об очередном несчастье. В арестантских полушубках, в бушлатах, в валенках, в рукавицах, подпоясанные ящичьими кушаками, полотенцами, веревками, ремнями, всегда полуголодные, мы выглядели отщепенцами, пасынками жизни, на нас смотрели иногда с жалостью, с сочувствием, но чаще с опаской, как бы ожидая одного лишь дурного. Все же мы обветрились, посвежели, поздоровели; у нас расправились спины, груди; звончей, чище стали голоса. Мы глубоко, по-детски спали, приучили себя к морозам, к перегонам, привыкли довольствоваться куском хлеба и трески.

Наша дорога пролегла лесами. Они стояли плотными массивами. Иногда их густо покрывал морозистый иней, они казались погруженными в серебряные сны. В них было что-то суровое и схимническое. Их усыпляющее безмолвие нарушалось лишь нашими голосами, скрипом полозьев, да еще своими лесными шорохами и звуками. Била крылом в ветках спугнутая партией птица, — рябчик, глухарь, — проносясь мимо нас косяком; тогда у конвойных разгорались глаза, руки невольно хватались за винтовки. Белки летали с сосны на сосну, показывая пушистый мелькающий хвост; неслышно падали легкие сонные хлопья снега. По сторонам виднелись запутанные петли беличьих, заячьих, собачьих, волчьих следов; волчьи следы шли ровной цепью, нога в ногу.

И в этих следах, в еле уловимых шорохах, в сумраке и в густоте чащоб, в том, как обсыпался с верхушек деревьев снег, будто его трогала неведомая, невидимая рука — чудилась своя сокровенная, потайная, оберегаемая от вражьего глаза жизнь. Снег лежал крупными, чистыми блестящими кристаллами, синий от теней; покрытые обильно им щетины елей и сосен покорно и устало клонились вниз, в вывороченных корневищах виднелись темные ямы, как раскрытые пасти. Иногда по лесу шел ровный, глухой, таежный шум. Он начинался где-то в лесных глубинах, приближался, проносился над головой, колебля и тревожа зеленые вершины, затихал в дальних тущобах, снова нарастал, навевая русские лесные думы и были. Вспоминались исконные, древние, заповедные киевские, муромские, брянские леса, непроходимая тайга. Вспоминалось, что сидел в дремучих дебрях Соловей-разбойник, как проезжал на бранном, на чубаром коне русокудрий Илья Муромец, как укрывались от злой, постылой татарской неволи беглецы. Многие видели наши леса. В угрюмом и жутком одиночестве издревле спасались в них отшельники, схимники, старцы; таились скиты бегунов, староверов, хлыстов; сжигали себя живьем в срубах изуверы за двуперстье; садились за дубовые столы братья-разбойники; лежали в кустах с оружейными запалами, с ножами, с кистенями, с дреколем лихие молодцы, поджидая, подкарауливая добычу; тут раздавались страшные полунощные посвисты, творился кровавый и скорый суд, отдавали богу души разгульные, хмельные купцы, спесивые бояре; сюда умыкали душу-радость — красных девиц; пробирались невидными тропами холопы, русские людишки, крепостные, отверженные, отчаянные люди, голытьба, непутевщина, убивцы, озорники, каторжные души, безбожники, искатели праведных мест, бунтари, царские противники. Всех их одинаково молчаливо и гостеприимно укрывали в своих падах в зеленом мраке тысячелетние леса, отогревая своим могучим, звериным дыханием. Каторжные души, разбойники, сектанты, бунтари, голь, воры, удалцы, неприкаянные, бездомные, безымянные горюны, безотцовщина, лиходеи в дар своему хозяину, своему пособнику и поборнику, на вечную память ему, в благодарность и в прославление принесли таинственное и мудрое, вещее, вечное сказание о граде Китеже, который ушел, опустился на дно лесного озера с домами, с колоколами, с церквами, со звонницами, с людьми, дабы сохранить, убедить справедливую жизнь от врагов-супостатов, от худого лиха, от неправды житейской. Лишь избранным, чистым сердцем в редкие, в просветленные мгновения звонят китежские колокола нездешним, напоминальным, призывным звоном. Всю боль свою, все свои муки, сумрак, печаль, тоску своих душ, свои надрывы, ненависть неугасимую, свои страстные надежды и помыслы воплотили в этом чудесном сказании люди лесов наших. И вот, кажется, стоят непроходимые, непреборимые леса, стоят и сторожат неведомый град, слушают, насупив смоляные, ежистые брови в священной думе, как звонят далеким, вечерним звоном сказочные колокола. О чем они звонят? О стародавней ли, ушедшей в века правде, об изуродованной ли, загубленной даром жизни окаянных, непокорных, строптивых людей, об их ли несбывшемся, не бывшем счастье, о горькой ли, пропавшей пропадом доле, о кручинах ли их, о судьбе ли их мачехе... но, может быть, и о том, что

сбудутся сроки, придут дни и возникнет из темных исторических пучин волшебный, чудодейственный град, засияет, заблестит огнями самоцветными, запыхает, затрепещет жар-птицей, птицей-фениксом, забьют в нем потоки живой и мертвой воды, приносящей жизнь и молодость, — и все люди—миллионы, народ—услышат, как новую благовую весть, как новую мудрость и радость, как пророчество и обещание, торжественный звон золотоканного колокола.

Он запоем забытый, дивный гимн,
 Песнь родины, песнь золотого детства,
 Песнь сладкую любви,
 Что всем звучит таинственно из сказочного царства,
 Знакомую и ласковую песнь
 И все ж неслыханную в мире.

...Гудят, шумят леса, навеяв думы о были-небыли.

Длинные перегоны заставляли нас изредка встречать в лесах ночь.

Месяц одиноко повисал над соснами зловецким красным диском. Лесной пан, огромный, лохматый, сумасшедшими, немигающими зелеными глазами смотрел отовсюду; в дальних концах дороги вспыхивали колдовские огни волчьих глаз; лесные прогалины, облитые лунным светом, пугали своей мертвенностью, напоминая подводное царство; лес еще больше дичал, жил страхом, нежитью, угрюмая тишина черными комьями висела в ветвях меж деревьями... Глухи, незыблемы северные леса в зимние ночи!..

...Нам посчастливилось быть очевидцами магнитной небесной бури. Ночью, часов в одиннадцать, кто-то из конвойных позвал нас из избы на улицу, мы наскоро оделись, вышли. От края до края небо было объято светоносным пламенем. С востока и с запада, с юга и с севера неслись огненные языки. Горели небеса. Я подошел к плетню, закинул голову вверх, положил затылок на край плетня. Мне показалось, что прямо надо мной в недостижимой вышине зияла бездонная воронка, огненные языки неслись по небу со всех концов, крутясь, свиваясь, перегоняя друг друга, стягиваясь и растягиваясь; они поглощались воронкой, исчезая в ней. Великое безмолвие царило на земле и на небе, точно все было заморожено великой, торжественной огненной мистерией. Иногда чудилось, что пламенные массы опускались с высот ниже, все ниже: вот-вот упадет огонь с неба, земля воспламенится, превратится в горящий, в жаркий шар, погибнет все живущее и произрастающее на ней. Грозное и прекрасное видение продолжалось около часа.

...В одном из посадков к партии пристала старая, шелудивая собака. Ее прозвали Шкилетом. Шкилет еде плелся за нами, покорно и грустно ждал куса хлеба, костей, подолгу возился с ними, дрожал от стужи, выскивал темные углы, стараясь быть незаметным. Он возбуждал жалость до гадливости, мы гнали его от себя, но деваться Шкилету было некуда, он не покидал нас. Конвойные решили избавиться от Шкилета: когда партия утром тронулась в путь, Шкилета отогнали палками, криком, комьями снега, Шкилет сначала бежал в отдалении, потом его стало не видно, но на очередной этапной стоянке он опять оказался с нами. Мы сговорились с хозяином избы, чтобы он не пускал его с нами. Он посадил Шкилета на цепь, соби-

раясь его удушить. Мы уехали. Вечером после перегона и обеда Панкратов пошел в избу, с досадой промолвил: — А Шкилет-то опять приплелся к нам.— Я вышел на двор, позвал Шкилета. Шкилет устало поднял морду, с черной отвислой губой, но с места не сдвинулся. Я кинул ему корку хлеба, он не притронулся к ней. Я хотел его приласкать. Шкилет безучастно отнесся к ласке. Я заглянул Шкилету в желтые глаза —они были скорбные, человечьи. Я увидел, что Шкилет понял окончательно и навсегда, что он стар, всем в тягость, что у него нет и не будет своего угла, что пришел конец его дням, что нет у него больше радости на земле — и, кто знает, может быть, хозяин этапной избы, где мы оставили Шкилета, уже набрасывал на него петлю, и Шкилет пережил смерть, последнее томление и лишь случайно ушел от гибели, вырвавшись из рук, и вот теперь ему все равно. Он так и не взял хлеба, не отзывался и не подходил к нам, но все же безучастно потащился за подводами утром, доплелся до места нашей ссылки,—там я потерял Шкилета из вида.

...Кое-где к нам приходили поморки, просили написать письмо, прошение, платили и натурой и деньгами. Однажды явился старик с кривым носом, с кривой бороденкой, с криво растущими усами, в затхлом длиннополом сюртуке, долго и нудно рассказывал о своей тяжбе с властями, просил составить прошение. Он торговал лесом, принадлежал, очевидно, к разряду неисправимых сутяг. Когда-то он поссорился с помощником исправника, подал на него жалобу исправнику, исправник оставил его жалобу «без последствий». Тогда старик пожаловался на исправника губернатору; не получив удовлетворения, послал соответствующую «бумагу» министру внутренних дел, затем на всех вместе— премьер-министру, наконец, дошел до царя. Царская канцелярия отозвалась выговором по адресу неугомонного просителя. Тогда он решил искать управы и на министров, и на канцелярию, и на царя у... царицы. Мы и должны были составить жалобу «ее императорскому величеству». Тщетно мы отговаривали торговца,—он упорно стоял на своем. Мы написали пространное и довольно игривое прошение, в котором власти от помощника исправника и до царя включительно обвинялись в нерадивом и в преступном отношении к подчиненным и к подданным. Торговец потирал от удовольствия руки, когда мы вычитывали ему наиболее хлесткие места, хлопал себя по коленкам, теребил бороду.—Верно, в самую точку; где же правда-то, один бог остался,—поощрял он нас. В заключение заявил, что за правду он готов хоть в ад пойти, выложил на стол трехрублевую кредитку, позже прислал с приказчиком муки, яиц, сахару. Чем окончилось все это несуразное дело, осталось неизвестным.

...Селезнев заболел от «женок». Несколько дней он ходил мрачный и даже перестал надевать пенснэ. Я в шутку спросил его, не потерял ли он их. Селезнев утер рукавами губы, дернул себя за ус, махнул рукой, подавленно ответил:

— Не подходят нам эти пинснэ. Дело оборачивается даже совсем в другую сторону... Это, например, как по-вашему выходит,—чтобы пинснэ заграничной работы и... с бубоном ходить,—подходит одно к другому, или нет, спрошу я вас? Нет, окончательно это не подходящая статья. В другой конец дышло вышло. Видно так нашему брату на роду написано. Ты стараешься,—по-хоро-

шему, по-честному хочешь сделать, чтобы никому не обидно было, не выпамши ходишь, образованных достигаешь, а тебя в полное свинство линия гнет. Я, может, с малых лет в образованных людях быть хотел, насчет обхождения старался всякого. На ранцы на эти смотрел, когда сопливым мальчишкой у хозяина на побегушках был. Идешь по улице, вихор у тебя горит, потому надрали его, аж он стоит торчком, а тут тебе ранец в глаза лезет: бежит это барчук какой, белый, чистый, щечки у него розовые, в семи водах мытые, и ранец за спиной на ремнях с волосиками,—волосики блещут на солнце, а тебе—обида и стеснение в грудях, зависть берет и сознание имеешь: не собака ты, а человек, и ранец с волосиками тоже носить можешь не хуже других,—и за ручку, и по-благородному. А придешь к хозяину, он тебе—раз в ухо, раз—в другое, да еще раз, да еще в придачу, быдто у меня не два уха, а десять,—вот тебе и ранец с волосиками. Так с этими самыми рָазами и прожил цельную жизнь. У хозяина рָа́зы, в участке рָа́зы, от приятелей рָа́зы, в казарме рָа́зы. Окончательная невозможность... Посудите сами, какая тут справедливость есть? Взять, в пример, последнее дело. Я же по совести своей старался, я рвение имел, не лодырничал. Я, может, закрывши глаза к иной женке подходил; я торговался с ней заядлым манером, из-за каждого гривенника зуб имел, а что получилось? Венерическое награждение получилось в самом отличном виде... Тут очки не подходят и даже совсем странно носить их при таком подлом награждении... В калашный ряд с суконным рылом не ходят.

Все это было сказано Селезевым с глубокой искренностью, без обычных для него дурашливой напыщенности и наговатости. Я рассказал о случае с Селезевым товарищам. Больше всех всполошился Кучуков. Он хватался за голову, ахал, говорил о темноте, о невежестве, о неприятностях; дня через три, через четыре после моего рассказа решил созвать «общее собрание», для обсуждения «текущего момента в полном объеме и половой проблемы». Собрание состоялось вечером часов в девять у нас на нарах. Кучуков имел вид опечаленный, внушительный и загадочный. Конвойные насторожились, непонимающе, вопросительно и виновно смотрели на нас. Председательствовал и руководил собранием Кучуков, как главный его зачинщик.

— Товарищи,—сказал он высоким тенором, стоя у стола,—открывая настоящее собрание, разрешаю себе первым взять слово.—Начало речи Кучукова прозвучало довольно витиевато, но дальше он крякнул, заикнулся, натужился, покраснел, уперся руками в столик, опустил голову; с носа, украшенного черным кустом волос, закапали частые крупные капли.

— Товарищи,—продолжал он, оправившись от замешательства,—в нашей среде случилось несчастье, чреватое тяжелыми последствиями. Всем известно, что мы остались без денег и без хлеба, и товарищи конвойные вынуждены были доставать и то и другое... гм... некоторыми таинственными путями.

— Путь был один,—вставил Китаев,—очень даже обнаковенный.

— Прошу не перебивать, Китаев. Запишитесь, я потом дам вам слово... Итак... такие пути и способы не могли не привести к некоторым печальным

результатам, позволил бы я сказать себе... Поступают сведения вполне про-веренного и достоверного характера, что некоторые из товарищей конвой-ных... гм... гм... оказались в затруднительном положении, заболев... одной болезнью.

— Почем вы знаете,—пробормотал кто-то из солдат,—не то одна, не то не одна.

— Показаниями одного из товарищей, по крайней мере, точно устано-влен факт... несчастья с одним из конвойных... Гм... гм... гм... Надо прежде всего с максимальной точностью установить размеры и об'ем постигшего нас... бедствия с тем, чтобы предпринять нужные меры... Давным давно дока-зано, что эти... самые болезни, равно как и проституция, есть ничто иное, как социальное зло, с которым необходимо бороться обществен-ными методами.

— Выходит, — сказал осклабясь Нефедов, — что мы в политики и в сицилисты вышли... с бубуном и трензелем. В новые чины они произвели нас. — Кругом ядрено захохотали. Кучуков сконфузился, поспешил закон-чить свою речь.

— Одним словом, предлагаю прежде всего выяснить... кто выбыл из строя. — Кучуков в изнеможении сел на нары, обливаясь потом и расте-рянно окидывая взглядом собравшихся, которые молчали. Молчание прервал Панкратов. С напускной простоватостью он промолвил:

— Первое слово Селезневу: он у нас старшой.

Селезнев помялся, потом быстро встал с нар, вытянулся, опустил руки по швам, уставился на Кучукова неподвижным взглядом, будто тот был его воинским начальником, хрипло спросил:

— Дозвольте сказать, господин председатель.

— Прошу вас,—любезно ответил Кучуков.

Селезнев некоторое время помедлил, потом выпалил:

— Которые ученые с очками, они тоже... награждение наше могут иметь?

— То-есть как? — не поняв его, спросил Кучуков.

— Вполне свободно... награждение... про какое вы говорили нам? Чтоб пинснэ и чтоб награждение?

Ответил Климович серьезно и поспешно:

— Вполне могут и имеют, товарищ Селезнев.

Селезнев тяжело сел на нары, угрюмо промолвил:

— Раз они могут при волосатых ранцах, то нам сам бог велел.. Только что же меня одного, вы других тоже спросите.

— Чего ж тут спрашивать,—заявил добродушно Нефедов,—дело ясное. Мы тоже имеем эту самую, как вы говорите, социальную...

Селезнев уже снова почувствовал себя старшим, начальственно оглядел конвойных, строго сказал:

— Сознавайсь, ребята, которые...

— Имею,—кратко отрубил Китаев.

— Куда все, туда и я,—прибавил Панкратов.

— Один в поле не воин,—со смешком заключил признания Настюхин.

— Как же это, товарищи... — пробормотал совершенно оглоушенный Кучуков, выражая и наше состояние. — Это ужасно.

— Ничего ужасного нет в этом, — успокаивающе заметил Нефедов. — Не извольте пугаться, я эти дела знаю... потому по третьему разу.

— Обнаковенное дело, — поддержал его Китаев. — Вы об одном подумайте, как хлеб-соль дале добывать будем, ежели мы в полной непригодности.

— Объявляю заседание закрытым, — пробормотал Кучуков.

Так кончилось наше гоноррейное собрание. Мы уговорили конвойных не ходить к «женкам», не пить, лечиться у посадских фельдшеров. С особой готовностью в больницу ходил Селезнев. Фельдшерам он толковал про «социальное», про ученых, которые, хотя и при очках, но тоже со всячинкой бывает, — встречаясь с нами, твердил, что в больницах все — по-благородному и по-интеллигентному. Он строго следил и за тем, чтобы остальные конвойные не отставали от него. — Собирайсь, ребята, без никаких двадцать, — командовал он по утрам, натягивая шинель. Из окна было видно, как гуськом за ним шагали Нефедов, Китаев, Настюхин, Панкратов, спеша до отправки партии попасть в больницу. Чтобы избежать голода, с согласия конвоя было решено продать два казенных полушубка — мой и Климовича. Составили протокол, засвидетельствованный хозяином этапной избы, урядником, конвоем и нами. В протоколе значилось, что полушубки украдены «неизвестными преступниками». Дальше мы ехали в ямщичьих тулупах.

Винтовки я отбирал теперь у конвойных больше по привычке: они уже угомонились.

Путь наш подходил к концу. Кучуков ходил веселый, он, наконец-то, добыл бритву, сбрил с носа куст, не дававший ему покоя. Климович подобрел, перестал перечислять пункты разногласий, мягче относился к конвойным, охотней помогал нам в нашем убогом хозяйстве. Самоедин Семен тоже оживился. Он безропотно выполнял самую грязную, черную работу, подметал пол, чистил картошку, рыбу, мыл посуду, раздувал угли в самоваре. Он рассказал нам, что на родине у него осталась невеста, и что он, лишь только вернется домой, женится на ней. У него будут свои олени, много оленей. Хмурым и злым оставался Ногтев, на вопросы отвечал грубо, лежал подолгу на нарах, сжав зубы и глядя остановившимися глазами на закопченный потолок. Когда его спрашивали, что он будет делать в ссылке, отвечал:

— Уйду домой, они еще попомнят обо мне, — грозил он своим односельчанам.

К месту назначения мы приехали ровно через два месяца после отправки из Архангельска. В полутемной передней полицейского уездного правления ко мне подбежал вертлявый, чернявый, худосочный человек в меховой шапке с торчащими наушниками, скороговоркой спросил:

— Вы бэк, или мэк? ¹⁾ Я — бэк. Идем ко мне, я на-днях уезжаю, передаю комнату.

¹⁾ Большевик или меньшевик.

Впервые за два месяца мне с прежней силой вспомнилось: подполье, город, наши споры, книги, журналы. Выполнив обычные формальности в правлении, я забрал вещи, отпра́вился вместе с энергичным «бэком» в его квартиру, но едва сделал по улице сто-двести шагов, как на перекрестке неожиданно столкнулся лицом к лицу с Яном. Мы обнялись. Гогоча, показывая по-прежнему ряд ослепительных, веселых зубов, заглядывая то и дело в лицо, Ян потащил меня к себе.

— И думать не думай устраиваться у кого-нибудь другого. Ко мне, ко мне и больше ни к кому, прохвост ты мой драгоценный.

По дороге к нему мы забросали друг друга вопросами о работе, о приятелях, об аресте, о тюрьмах, вспоминали о тамбовской семинарской коммуне.

— Кстати, где Валентин? — спросил Ян.

Я ответил, что Валентин работает нелегально в Москве.

На другой день гурьбой пришли в гости конвойные. Ян угостил их водкой, пивом, солеными грибами, брусникой, палтусиной. Мы долго орали песни. Селезнев, напялив пенснэ, плясал до остервенения, и до того свирепо стучал каблуками, точно намеревался во что бы то ни стало проломить пол. Ночевали вместе—на полу, на стульях и столах. Я достал конвойным немного денег. Конвойные просили не поминать их лихом. Я убеждал их вести себя скромней на обратной дороге, не пропивать казенных суточных. Конвойные божились и клялись, что они «ни в коем разе», что они и сами понимают и т. д. Селезнев на прощанье сказал:

— Будьте благонадежны. Сами видели. Доехали, как следует быть: никого не убили, никого не зарезали, без сурьезного скандалу. Ты озоруй, а про службу не забывай. Едем в полной исправности, верно я говорю?

Я поспешил с ним согласиться, заметив, что он навеселе и готов еще потолковать о винтовке, как о «свяченой вещи», которая...

Комната у Яна мне показалась холодной, и я перебрался на новую квартиру.

В с с ы л к е

Край дальний белого, сине-льдистого севера... сизое море, каменные острова, приливы, отливы, как вестники вечности, неугомонные ветры-морянки, низкое серое небо, топкая тундра с кривым березняком, леса, обросшие мохом и смолью, олени с нежно-влажными огромными глазами, белые ночи с непотухающими брусничными зорями и темные, черные студеные дни; лебяжьи снега плотно ложатся на девять месяцев; морозы колючи, иглисты, ядрены, крепки, как спирт; убоги древние церкви, часовни, кладбища с безвестными могилами, сокрытые могучими, гордо-стройными рыжими соснами... От севера пахнет ладаном, хвоей, можжевельником, костяникой, север дышит суровым, уверенным покоем, от севера веет девственной и строгой свободой...

...Уездный городок сжат глыбами скал на берегу буйной и быстрой реки, изрезанной порогами. Река впадает в Белое море. В городе живут поморы-староверы. Они отважны, обветрены ветрами, самостоятельны, своевольны, почти все грамотны. Большую часть года проводят на Мурмане, ловят треску,

сельдь, семгу. Живут в достатке. Просторные деревянные дома прочны, домотопоры. Чистая половина всегда оклеена обоями. В красных углах — древнего письма иконы с темными, со стертými ликами, усыпанные мелким жемчугом. При Екатерине этот жемчуг добывали в реке, позже жемчужный промысел был заброшен. В кухнях медная посуда блестит и сияет. По воскресным дням поморки надевают кокошники. Их шелковые старинного покроя платья топорщатся, туго облегают налитые станы и плечи, шуршат строго и кичливо. Поморки носят также золотые браслеты, кольца, серебром украшаться считают недостойным. Не сеют, не жнут, в огородах растет лишь репа да лук, даже картофель привозной. Помор горд, — он не пойдет грузить пароход, тачать сапоги, плотничать, но от контрабанды не отказывается. Так было в те годы...

...Ссылных в городе числилось человек семьдесят. Из них две трети политических, остальные — уголовные. У политических ссылных была своя общая организация, колония с кассой взаимопомощи, с библиотекой. Колония помогала нуждающимся, бегущим из ссылки, защищала интересы ссылных перед властями, разбирала, улаживала столкновения, ссоры. Существовала она полулегально. Все же ссылные жили пестрой, разрозненной жизнью, кружками, группами, в одиночку. Группы социал-демократов — большевиков, меньшевиков — являлись самыми сильными; за ними шли группы социалистов-революционеров, максималистов, анархистов, польских социалистов, дашнаков. Кружки «вольных пьяниц» были, однако, еще более многочисленными. Они нередко прославляли себя дебошами и скандалами. Когда я приехал, и город и колония много говорили о пьяных подвигах разжалованного поручика З а р у м о в а. Он ходил по улицам в офицерской шинели на распашку, без погон, в лихо заломленной и сдвинутой на затылок, без кокарды, фуражке. У него торчали стрелками черные усы, длинное лицо казалось надменным, а глаза дерзкими, бреттерскими. Не помню, за что его разжаловали и сослали, но он считался политическим. Незадолго до моего приезда Зарумов играл на биллиарде с жандармским вахмистром, обыграл его, заставил залезть по условиям игры под стол, кричать: — Я осел и последняя скотина. — Случай получил огласку, огласка дошла до жандармского правления в Архангельск, любитель биллиардных удовольствий в синем мундире был незамедлительно удален со службы. Поздней Зарумов поймал стражника где-то в клубе, сел на него верхом, угрозами и пинками принудил его тащить себя вниз по лестнице. Коня и всадника исправник отправил в арестантскую. Полиция и стражники Зарумова боялись, к концу зимы сплавил его в другой город, пока же он ходил с озорным, хмельным видом, окруженный группой опустившихся, запивших ссылных. Таких в то время оказалось немало. Были глухие, переломные годы. Часть ссылных осела, размагничилась, запьянствовала, заодинокствовала, забездельничала, выветрилась.

Группа большевиков была не многочисленная, но дружная.

Идейным вожаком являлся Вадим. Он отличался непоседливостью, товариществом и неукротимой способностью спорить. Спорил он больше и чаще всего с социалистами-революционерами, но не давал спуска и остальным направлениям. Он нападал на врага в спорах с таким неистовством, точно

собирался бить или убивать их. Вадим неизменно таскал с собой повсюду пачку книг по аграрному вопросу. Книги были исписаны на полях, испещрены восклицательными и вопросительными знаками, ехидными «sic», «O, tempora» и т. д. Книги эти он читал за обедом, за ужином, на улице, во время дружеских вечеров и даже в уборной. Скосив глаза, ероша бобриком подстриженные волосы, он нетерпеливо и быстро перелистывал страницы, в короткое время просматривая несколько газет, журналов, научных, исследовательских работ. Познания его были разнообразны, хотя и беспорядочны. Он умел схватывать существо книги, прочитав несколько страниц в начале, в середине, в конце и толково передать ее содержание. Заслышав о диспуте, он настаивался, бросал есть, срывался с места «поддать жару», писал подробнейшие конспекты докладов, своих речей, — на диспутах спорил до того, что его, говорят, не раз выводили из собраний, бивали, подробнейшие конспекты при этом совершенно забывались. Это приводило его в отчаяние. — Удивительное дело, обдумаешь, запишешь, а когда начинаешь говорить, самое-то главное и забываешь сказать. — После диспутов Вадим влетал в комнату разгоряченный, потный, измученный, восторженный и негодующий.

— Ты понимаешь, эсеры опять преподнесли обычную жвачку из Давида и Бернштейна. Немыслимо! Я им долблю об удельном весе крупных хозяйств, а они тычут меня носом в парцеллы. Идиотизм, полное тупоумие! Об отрезках вспомнили — чудовищно!.. И потом, ты понимаешь, до чего они доигрались... — он делал паузу, выкатывал глаза из орбит, будто собираясь оповестить о самом мрачном и кровавом преступлении, — они допустили явные передержки из второго тома «Agrarfrage» Каутского! Как тебе это нравится?!

Поведав о передержках, он бессильно умолкал, ожидая, что собеседник будет потрясен до мельчайших фибр, что, впрочем, отнюдь не мешало ему сейчас же раскрывать книгу, вычитывать цитаты в таком изобилии, что у его соратника из глаз сыпались искры, и весь мир превращался в одну колоссальную цитату. За всем тем он был приветлив, общителен, подвижен и отнюдь не обидчив. Его все знали, он тоже знал всех. Он ходил в обществе самоотверженных девиц, дам, поклонниц и поклонников, друзей и врагов. Несмотря на свою шумливость и непоседливость, он никогда не надоедал. Он был не плохой и организатор, но в этом уступал Акиму.

Николаевский рабочий Аким был практик. О нем говорили: «Аким садится в тюрьму редко, но метко, надолго». Он сроднился с революционным подпольем, оно стало его родиной. Его жизнь с юности была связана с заводом и с революцией. Явки, комитеты, рабочие группы, тайные типографии, паспортное бюро, организации побегов, складов для литературы, аресты, переброска работников, — вся эта напряженная, опасная волчья жизнь была его жизнью. Каждый, кто с ним встречался и с ним работал, чувствовал прежде всего, что он надежен, каждый говорил себе: — Да, на него можно положиться до конца. — Испытывалось особое ощущение спокойного доверия, уверенности в деле при виде его плотной, коренастой фигуры, его словно иссеченного в боях с красным загаром лица, при виде его внимательных, взвешивающих твердых глаз. Он казался старше своего

возраста: ему было не больше тридцати лет, но ему давали и лет сорок. Аким был несколько сутул, — когда ходил, ступал отчетливо на пятки, руки при ходьбе держал ровно, неподвижно, говорил мало, смеялся редко, но тогда около глаз собиралось множество лучистых морщин, отчего его лицо неожиданно добрело. В подполье он принадлежал к работникам, известным только узкому кругу товарищей, но в этом кругу знали, что Акимов в России единицы. Он читал книги медленно, надевая очки, и в это время мрачнел и заметно старился. В ссылке Аким влюбился в рыжеволосую ссыльную Эсфирь. Любовь свою Аким тщательно оберегал и от посторонних и от дружеских глаз, не позволяя ни шуток, ни намеков на его отношения к Эсфири. Эсфирь охотно принимала Акима, но потом увлеклась студентом эсером. Аким круто оборвал встречи с ней, прожил в ссылке не больше месяца, бежал в Петербург, был спустя несколько месяцев арестован, судим, отправлен в ссылку на поселение, из ссылки бежал, работал тайно бессменно до самой революции. Когда Октябрь установил Республику Советов, Аким и здесь ухитрился остаться подпольщиком, до самой своей смерти выполняя самые опасные поручения, работая на Украине во времена Скоропадского, Деникина. Я прожил с ним в ссылке несколько месяцев.

Ян тоже был практик. После нашей жизни в семинарской коммуне, он успел уже дважды отсидеть в тюрьме, работал в Баку, в Екатеринославе, в Донецком бассейне. За годы нашей разлуки он вырос, возмужал. Он сомневался в большевизме, опасаясь, что мы можем превратиться в узкую секту бланкистов; он ратовал за широкое, за самостоятельное рабочее движение, но в то же время был за подполье, против союза с либеральной буржуазией, сошелся с нашим кружком, жил с ним одной жизнью. Тюремь и ссылки, скитания и работа нисколько не убивали в нем здоровья и свежести. В ссылке он охотно и усердно пилил и колол дрова, переплетал книги, летом сплавлял бревна, грузил и разгружал пароходы. Не все, не всегда у него выходило удачно. Как-то он подрядился переклеить обоями комнаты у одного старовера-торговца. Обои были дорогие. Ян начал работать с обычным для него рвением и расторопностью, но, когда торговец полюбопытствовал и осмотрел первую оклеенную комнату, столовую, оказалось: обои со сложными рисунками были наклеены «вверх ногами». У Яна хватило добродушия и стойкости уверять купца, что теперь «по-новому» именно так этого сорта обои и наклеивают, но если он, хозяин, желает, чтобы Ян сделал по-иному, то он возражать не будет. Объяснения Яна купца не удовлетворили, он прогнал его, грозился с ним судиться, но почему-то этого не сделал. После «случая» Ян, однако, избегал встречаться с купцом, старательно обходя его дом.

Ян много читал, я всегда поражался его сметливости, его интуитивному умению схватывать существо вопроса; происходило это, вероятно, оттого, что он многое видел. Он умел резонировать, и мне казалось, что у Яна между мыслью и действием не бывает промежутка: он думал, действуя. Яна нельзя было воспроизвести в представлении спокойном: он всегда что-то говорил повышенным голосом, что-то делал, махал руками, шагал, курил, хохотал, хлопал по спине, пел, оглушительно сморкался, мускулы его лица отличались необычайной подвижностью и выразительностью.

Собирались мы обычно у Николая, семинариста, говорившего сильно на «о», приятного увальня с развалистой походкой, изрядно косолапого, с русой, окладистой бородкой. Николай любил задушевные разговоры о своей «драме жизни». Драма его состояла в том, что в Саратове жили две фельдшерицы подруги — Рая и Сима. Симу он, видите ли, любил телесно, а Раю — духовно. И Сима и Рая писали ему письма, считая себя его невестами. И Рае и Симе он отвечал, одинаково обнадеживая их и не зная, на ком же ему жениться. Но и Рая и Сима были далеко, а близко в ссылке — стоило только перейти улицу — жила Маруся, и, хотя она была и хуже и Раи и Симы, Николай тем не менее любовь к ближнему предпочел любви к дальнему. Это было вполне естественно, так как у Николая, по его заверениям, появились опасные для здоровья признаки: стучало в голову, в самый затылок. У Маруси от Николая родился ребенок. Когда истек срок ссылки, Николай поехал в Саратов, долго недоумевал и скорбел, как ему быть с Раей, с Симой и с Марусей, настолько долго, что и у Раи и у Симы появилось от него по ребенку. Но все это было позже, пока же Николай для разрешения «драмы» по вечерам приглашал собеседников, пил водку с чем попало, даже с молоком, «открывал душу», испрашивал советов, утверждал, что он запутался в «драме» из-за своего любвеобильного сердца, но еще больше из-за благородства, присущего ему в такой степени, что он, захмелев, называл себя не иначе как «Гобеленом» и почему-то вдобавок «Дортуаром». Так его и прозвали — Гобелен-Дортуар. Кто-то Гобелена переделал на Кобелена. А впрочем, он был и в самом деле сердечен и очень уступчив.

Недалеко от Николая жил ткач Василий. У него было очень длинное туловище и короткие ноги. Он говорил всегда суетливо и невразумительно, читал книги без подготовки и без разбора, отдавая предпочтение философии: Виндельбанду, Вундту, Дицгену, Фейербаху, Энгельсу. От этого чтения в его голове произошла величайшая перепутаница. Не глупый и наблюдательный от природы, он часто производил впечатление совсем сбитого с толку человека. Василий любил употреблять к месту и не к месту замысловатые обороты, иностранные слова, цветистые изречения. На одном из диспутов с анархистами, помню, он попросил слова. — Вот вы говорите, — заявил он, — анархия, коммуна, индивид, а я вас спрошу сейчас... — здесь он оглядел вызывающие противников, с азартом продолжал: — А я спрошу вас... что такое абсолют? — Он ехидно прищурился, ожидая ответа. Все молчали. — Не знаете, — не суйтесь рассуждать, абсолют вам почище индивида будет. — Василий любил помечтать вслух о будущем социалистическом обществе, уверял, что тогда у каждого «трудящегося» будут свои дома, и на крышах произрастут деревья и цветы. — Утром проснешься, взойдешь на крышу, польешь цветочки, погреешься на солнце, выпьешь кофию и — на работу, — и никакой тебе философии и психологии. — Очевидно, в конце концов, и философия и психология его угнетали.

Солидного и в годах Скобноровича именовали «Чок-бором». Толстый, курносый, с заплывшими глазками, скуластый, постоянно задыхающийся, он носил умопомрачительные широченные подтяжки и брюки. Чок-бором его прозвали потому, что он надоел приятелям и знакомым разговорами, как он

из простой берданки с помощью каких-то особо хитрых нарезов в дуле сделал ружье системы «чок-бор». Знающие люди утверждали, что он окончательно испортил ружье, но Чок-бор был об этом совсем иного мнения. Он представлялся страстным охотником, но, кроме галок и ворон, никогда с охоты ничего не приносил, по поводу чего, однако, унынию не предавался. У Чок-бора были приемный сын и жена немка—рыжеволосая и в бородавках. Немка была восхитительно глупа и ни слова не говорила по-русски, а Чок-бор ни слова не знал по-немецки. Неизвестно, как ухитрились они прожить вместе двенадцать лет, но Чок-бор проклинал свою судьбу, вспоминая о немке, называл ее ведьмой, чортовой перечницей, кикиморой, уверял, что единственное преимущество его брака перед всеми прочими заключается в том, что он может сколько и когда угодно «обкладывать» немку. Он производил при нас наглядные опыты, немка испуганно таращила глаза, мы смущались, Чок-бор выходил из терпения, брал знаменитое ружье с необычайными нарезками в дуле, уходил на охоту, возвращался домой мокрый и грязный. Каждый месяц он разводился с женой, но появлялись неожиданные и непредвиденные препятствия и осложнения, Чок-бор приходил к нам, чесал за ухом, отирал жирный пот с лица, говорил, безнадежно махая рукой:—Ничего не выходит с разводом, тянуть, видно, мне ляжку до самой смертушки.—Скорбел он недолго, утешаясь на товарищеских вечерах, где пел фальшивым дрожащим тенором, расстегнув жилет, раздирательные романсы:—«Если измена тебя поразила, если тоскуешь и плачешь, любя, если в борьбе истощаются силы, если обиды терзают тебя...» и т. д. Он любил также произносить пространные речи на собраниях, неизменно начиная их словами:—Если, товарищи, посмотреть на этот вопрос с юридической точки зрения...—что свидетельствовало о принадлежности его к сословию Фемиды. Юридическая точка зрения редко принималась во внимание. Скобнорович относился к этому, как к неизбежности, полагая, что мы до юридической точки зрения не доросли.

Незаметно входила в комнату и неслышно садилась, непременно где-нибудь поодаль, в углу, в тени, опрятная, ко всем одинаково расположенная, черноокая и черноволосая Дина. Она всегда кому-нибудь помогала: шила, чинила белье, доставала деньги, искала нужную референту книгу, носила передачу ссыльным, сидевшим в арестном доме за нарушение административных предписаний, вела обширную деловую переписку. У нее была чахотка, но она никогда не говорила о своей болезни. Она знала, у кого какие родные, есть ли дети, жена «на воле», — а мы ничего не знали о ней, о том, как она живет. Было известно, что где-то на юге, у родных, Дина оставила дочь лет пяти-шести, но и о ней она рассказывала неохотно. Провожая ее вечером домой, я спросил ее однажды, почему она скрытная, Дина просто и коротко ответила:

— Я — не скрытная. Я не умею рассказывать о себе.

Она зябко поежила плечами, в полуоборот повернув ко мне голову. В лунном свете агатом сияли ее черные печальные глаза. Широкий мягкий рот был по-лягушечьи раздвинут, как у египетских мумий, придавая ее лицу что-то древнее и загадочное. В примирительной, скупой улыбке чудилось нечто прощальное, и вспоминалось вечернее заходящее солнце. С тех

пор прошло много лет. Дина давно умерла. Я видел за эти годы много и обычных и необычных людей, участвовал и очевидствовал в невиданных событиях, прочитал сотни прекрасных, великих книг, запомнил ряд знаменитых изречений, — но и годы, и люди, и события, и книги не стерли в моей памяти правдивых и таких чистых слов нашей скромной тогдашней подруги Дины: «Я не умею рассказывать о себе... я не умею рассказывать о себе». Я никогда о них не забуду, они дороги мне и священны, эти как-будто незначительные слова,—они запомнились на всю жизнь, от них делается легко и грустно.

Дина не умела не только рассказывать о себе, но, кажется, и думать о себе, не даром у нее были такие материнские, маленькие, заботливые руки. Для нее мы являлись не только товарищами, но и братьями — она смотрела на нас глазами старшей сестры. Она вносила в наш кружок женскую, семейную теплоту, которой нам так не хватало. При ней не выговаривались громкие и пустые слова, не хотелось лгать, ей легко было рассказывать о том, о чем редко говорят друг с другом в революционной среде,—о личном, о сокровенном. Дина никогда не отказывалась от поручений, она всегда куда-нибудь торопилась.

— Дина, куда вы спешите?

— К одному товарищу, по одному делу, в одно место.

— Что вы, Дина, делали вчера после обеда? Я заходил к вам и вас не застал.

— Я была у одного товарища, в одном месте, по одному делу.

Она знала всех ссыльных, ее тоже все знали, но никто из нас не знал ее фамилии.

Дина дружила с маленькой и полной Розой. О Розе Вадим рассказывал:

-- Ты понимаешь, — Вадим эти слова тянул и делал ударение на каждом слого, — ты понимаешь, всем хороша девица, но... слишком увлекается самообразованием.

— Это плохо?

— Это не плохо, это очень даже похвально, но... магнетизирует она нашего брата, ей-ей.—Товарищ,—говорит,—займитесь со мной по «Эрфуртской программе», я ничего не понимаю в кризисах. Ну, товарищ, естественно, начинает с ней заниматься. Сидит эта самая Розочка во время учебного часа и как-будто боится слово мимо ушей пропустить, а между прочим понемногу все придвигается к своему учителю, все придвигается, и смотрит все больше и больше, эдак пронзительно и завлекательно. Ты, понимаешь, говоришь, говоришь, говоришь, а она магнетизирует, легохонько к тебе прикасается, все прикасается. Ну, учитель, естественно, начинает сбиваться, путаться, гмыхать, носом сопеть, как паровоз какой, балдеть, а она набавляет, усиливает: глаза опустит, а глазаща у ней с ресницами, например, как опახала какие, веером вниз, аж ветер идет, — да еще грудь в придачу пустит, вверх и вниз, вверх и вниз, вверх и вниз. Ежели во-время не уберешься, готово дело: программа — к лешему на кулички, о кризисах ни слуху, ни синь-пороха, концентрация капитала — ко всем дьяволам. Какой тут кризис, тут, брат, такие концентрации и экспроприации экспроприаторов происходят, что и во сне

не приснятся... И это даже все ничего и даже пользительно, только капризна очень, очень капризна. Репетиторов этих самых меняет без пощады и потом вообще... напориста. Иные сами первыми отбой бьют: — Я, мол, товарищ Роза, с прискорбием должен отказаться от занятий с вами, потому перегружен очень. — А другим она сама отказывает: — Товарищ Ефим, простите, я вам очень признательна за ваши чудные лекции и указания, но должна взять другого руководителя: мне нужно, чтобы со мной занимались еще и по-немецки, а вы по-немецки не знаете, я же собираюсь за границу.—Отставка, — одним словом... После приходится разбирать дела и поступки этих самых руководителей: либо один другому в морду даст, либо обозначит как-ким-нибудь неудобосказуемым наименованием с прилагательным в три фута...

Вадим злословил и балагурил. Правда состояла в том, что разбитная Роза с алым и подвижным языком, кончиком которого она то и дело подлизывала сохнувшие губы, искала себе мужа, и, так как намерения ее были положительны, а в ссылке семейственного человека найти было не легко, то ей, действительно, приходилось менять руководителей, тем более, что многие из них не прочь были выступить в качестве страстных, но ветреных поклонников и соблазнителей. Занималась же Роза прилежно, зубрила «Эрфуртскую программу» и комментарии к ней, будто должна была держать дипломный экзамен.

Молодой рабочий, металлист Андреев, с длинными болтающимися руками, флегматичный на первый взгляд,—обычно ко всему внимательно и сосредоточенно приглядывался, отличаясь большой застенчивостью. Когда голодал, ходил с книгой. Если его приглашали обедать, он поднимался с места, говаривал:—Спасибо, я сыт, лучше пойду почитаю Меринга, занятая книжица.— Жил он уединенно, к себе никого не приглашал, но собрания посещал исправно.

Латыш Бойтман, обросший зверски волосами, с глазами, глядящими исподлобья, но в сущности добрыми, походил на гнома. Он был до того неразговорчив, что редко отвечал даже на вопросы. По неделям пропадал в лесу на охоте, уезжал также часто в море на острова ловить рыбу. Стражники, которым поручалось следить, чтобы ссыльные не отлучались за черту города, вели с ним бесплодную войну из-за этих отлучек. Возвратившись с охоты или с рыбной ловли, Бойтман охотно дарил товарищам рябчиков, уток, рыбу.

К Яну часто заходил Иосиф Гольденберг. С утра до вечера, весело пошвыстывая, он лудил самовары, медную посуду, умывальники, чайники, исправлял примусы, делал ведра, набивал обручи на кадушки. Он много зарабатывал, щедро помогал товарищам.

Юного, вихрастого боевика-дружинника Терехова Вадим звал «забубенной головушкой». О своих боевых похождениях, о нападениях на городо-вых, о том, как с группой рабочих он отстреливался в лесу от казаков, Терехов повествовал, будто о прогулке или об ежедневных обычных делах.

Несмотря на административные стеснения, мы жили довольно привольно. Кругом нас были снега, льды, море, река, скалы, грубоватый, но крепкий и

здоровый поморский быт. Нам присылали бесплатно газеты, журналы, книги. Дни проходили однообразно, но не томительно, по крайней мере, в первый год ссылки. Мы часто собирались, спорили, получали исправно нелегальную литературу. Полиция нам докучала, но не очень назойливо. Раза два в неделю по квартирам ходили стражники проверять нас. Раз в месяц мы являлись в полицейское правление получать денежное пособие—восемь рублей с копейками. Запрещение не отлучаться дальше трех верст в округности от города не соблюдалось. Иногда с полицией происходили очередные стычки: то застанут собрание, то произведут обыски, то запретят показываться в районе лесопильного завода. Исправник—осанистый, седой старик—держал себя с нами вежливо-холодно. Его помощник—плюгавый, пьяница—был хуже, мы нередко с ним ссорились. Полицейский надзиратель и стражники нас побаивались.

Вспоминая годы ссылки и то время, я вижу прежде всего моих соратников, совольников и друзей. Я благодарю судьбу за то, что она подарила мне их. Мои лучшие помыслы до сих пор связаны с ними. Они для меня и семья, и родина, и милое прошлое, и славное будущее. Они цветут сейчас в моей душе, подобно редким цветам на горных склонах по соседству уже со снегом. За верное вольное содружество, за крепкие рукопожатия, за товарищеские беседы во вьюжные вечера, за смех, за шутку, за смелость, за дерзость, за неугомонные кочевья, за готовность помочь друг другу ценою жизни, за горячую веру-уверенность в самые горькие годы, за нашу чудесную единственную отважную ватагу!..

...Несколько дней спустя после моего приезда был маскарад на катке. Каток содержался колонией ссыльных. Чистый доход с катка, довольно, впрочем, ничтожный, шел в кассу взаимопомощи. Власти об этом знали, но делали вид, что не знают. Содержать каток ссыльным помогал начальник местной пограничной стражи. Он присылал солдат поливать каток, построил теплушку, сложил снежную гору. Сам он не катался, но часто приходил смотреть на катающихся, охотно беседовал со ссыльными, уходил домой, пил в одиночестве водку.

Я взял у Гольденберга коньки, вместе с Яном отправился на маскарад. Просторный, со скамьями для отдыха, с чистым и гладким льдом, каток защищался по краям густо насаженными елками. Светила луна, но на проволоках, протянутых через каток, качались разноцветные фонарики, кидая неверные, дрожащие тени. В теплушке хрипел надсадно граммофон. Прошел хор балалаечников-ссыльных. Показались замаскированные. Кучуков напялил на себя идиотскую маску—собачью голову. Узнать его было нетрудно. У него беспомощно раз'езжались в разные стороны ноги, подгибались колени, длинными руками он загребал воздух и время от времени проделывал ими таинственные и нелепые пассы, будто пытался кого-то гипнотизировать, совался из конца в конец, мешал кататься, сбил несколько человек с ног, вывалялся в снегу и успел уже ободрать себ бок. Николай завесил лицо черной тряпкой, в тряпке вырезал несколько дыр для глаз и рта; он косолапил, но направо и налево, кстати и некстати, стараясь быть изысканным, повторял: «Пардон, пардон». Вадим без маски и без книг по аграрному вопросу ожесточенно и безжалостно уродовал лед так, что осколки брызгами летели

во все стороны. Ян тряся на коньках, как в лихорадке, горбился, растопыривал пальцы, махал руками, точно собирался лететь. Чок-бор пыхтел, снимал шапку, гладил себя по лысине и, кажется, больше сидел на скамье, чем катался. Я заметил также тонкую, молодую женскую фигуру в темно-голубом костюме польского гусара с бархатной маской,—«гусар» держался на коньках уверенно и непринужденно. Эсер Нифонтов оделся монахом-капуцином. Был еще Мефистофель, китайка, негр, вымазанный сажей, а одному из ссыльных, анархисту Беликову, заgrimированному каторжанином с веревочными кандалами, пришлось на время уйти с катка и переодеться по требованию помощника исправника.

Отметив, что на катке нет опытных конькобежцев, я почему-то решил, будто я катаюсь лучше других, что я — строен, и что все обращают на меня внимание. Правда, прикрепив коньки, я с горечью убедился, что многому разучился, что голландских шагов я делать больше не умею, но это ничуть не умерило работы моего воображения. Я закладывал за спину руки, откидывал голову, сгибался, лавировал между катающимися, тормозил на мой взгляд очень изящно бег, был уверен, что женщины смотрят на мои пируэты восхищенно. Равнясь с ними и обгоняя их, я придавал своему лицу холодное и надменное выражение. Больше всего мне хотелось привлечь внимание «гусара», но так как этого не случилось, я решился сам пригласить маску «на несколько туров», как я мысленно говорил себе. Маска приняла мое предложение. Когда она, отвечая на вопросы, оборачивалась в мою сторону, я старался разгадать и восстановить черты ее лица. Маленькая провинциальная несуразица: у «гусара» около губ с правой стороны сидела искусственная родинка-мушка. Оттого, что верхнюю часть лица незнакомка закрыла, нижняя часть запоминалась с особой отчетливостью: у ней был почти еще детский пухлый подбородок, чуть-чуть приподнятая верхняя влажная губа, капризный рот, и около губ, в углах их, притаился свежий уют. Лунный свет блестел на ее зубах, когда она смеялась, дымился на лице, в темно-каштановых волосах,—от него лицо делалось как призрачным. Призрачным казался и ее подвижный и по-девичьи колеблющийся стан. На всем ее облике было хрупкое, голубое и лунное.

Началось с того, что мне решительно на этот раз не понравились мои рваные в пальцах перчатки. «Какой позор, — подумал я, — революционер-большевик, оказывается, может стыдиться своих худых перчаток!» Однако, несмотря на назидательное размышление, я судорожно сжимал пальцы в кулак, чтобы «гусару» не были видны дыры. Это мне не удавалось, я снял перчатки. Незнакомка заметила, что мои руки коченеют, спросила, почему я без перчаток. Я ответил, что мне жарко. Маска искоса взглянула на мои руки — они были иссиня-белые. — Неправда,—сказала она,—вы обморозитесь. — Я заверил ее, что это только так кажется, будто моим рукам холодно, кроме того, им, может быть, с виду и холодно, но на самом деле даже жарко, это часто случается. Маска весело рассмеялась, заглянула мне в лицо.

— Я знаю, почему вы сняли перчатки. Они у вас... не в порядке.

Покраснев, я оторопело ответил:

— Ничего подобного, они у меня в полном порядке.

Маска замедлила бег.

— Покажите.

Я не знал, что мне ответить. Наш разговор происходил в конце катка, у крутой и высокой снежной горы. Неожиданно для самого себя я пробормотал от смущения:

— Это неважно. Не хотите ли лучше скатиться вместе со мной на коньках с горы?

Маска в нерешительности посмотрела на гору.

— Я никогда с горы, да еще с такой большой, на коньках не каталась. Это не опасно?

— Нисколько не опасно, — горячо заявил я. — Вы держитесь крепче за меня, мы отлично с'едем. В свое время в Финляндии я катался на коньках почти каждый день с гор, еще более крутых.

Я лгал. В Финляндии с гор на коньках я никогда не катался, а лишь видел, как катались финны, — этим мой опыт и ограничивался. Но я больше всего боялся, что маска вспомнит о перчатках, и готов был провалиться в прорубь, сломать себе ногу, свихнуть шею для того, чтобы этого не было. Не дожидаясь согласия, я решительно двинулся вперед, потянув за собой маску, — она неуверенно последовала за мной. С трудом по обледенелым ступенькам забралась мы на гору. Посмотрев вниз, я испытал робость, но отступать показалось мне поздно. Неестественно - уверенным голосом я стал давать маске советы:

— Надо тверже держаться на ногах, дышать свободно, не падать духом, смотреть уверенно и бодро вперед, выравняться, если теряете равновесие.

В таком духе я долго наставлял спутницу, должно быть, потому, что хотел оттянуть решительный момент. Несносные перчатки! Наконец, я взял маску крепко за руку. Раз, два, три! — мы стремглав понеслись вниз. В ушах засвистал воздух, дыхание захватило, казалось, мы соскользнули в пропасть. Я не выдержал, колени мои подогнулись, ноги потеряли устойчивость. — Садитесь, — закричал я, лишаясь равновесия, и в то же время инстинктивно пытаюсь найти в спутнице опору, цепляясь крепче за ее руку и подаваясь к ней. В следующий момент я треснулся боком об лед, увлекая за собой маску, наши руки разомкнулись, мы оба полетели, сметая снег, ледяные камушки, ударяясь о боковые в четверть аршина барьеры. Мы пролетели еще саженой пять по ровному льду, оставив позади себя гору, пока остановились. Я первым поднялся со снега, с ужасом вспомнил, как нелепо задираю ноги при падении, бросился к спутнице, поспешно поднял ее, заботливо стал отряхивать с нее снег. Бархатная маска спала у нее с лица, я увидел японский разрез глаз, приподнятые к вискам брови, матовую белизну кожи. В ее глазах еще не прошел испуг, они были расширены и темны. Спутница жутко молчала. Я пробормотал в свое оправдание:

— Вышло не совсем удачно.

Спутница ничего не ответила.

— Да, — продолжал я упавшим, глухим голосом, — когда я был в Финляндии...

Спутница не дала мне закончить фразы.

— Не знаю, что было в Финляндии, но вы взялись не за свое дело: я упала по вашей милости. Вы не умеете кататься с гор на коньках.

— Простите... неудачный случай... сколько лет катался... — бормотал я, не глядя на нее и старательнейшим образом продолжая счищать снег с гусарского мундира.

От позора и растерянности я в забывчивости полез в карман, вытащил и надел перчатки. А может быть, я сделал это для того, чтобы лучше и удобнее было стряхивать снег.

Спутница усталилась на мои голые пальцы, торчавшие из дыр. Я ощутил на руках ожоги, не смея даже убрать рук.

— Вот видите, я была права: ваши перчатки не в порядке.

— Ничего подобного, — заявил я вопреки полной очевидности. — Это... только так кажется. — «Какой позор, — промелькнуло у меня в голове, — революционер-большевик и... чорт знает что».

— Это же чорт знает что... — машинально и неожиданно для себя пробурчал я, чувствуя себя идиотом и не во-время, поздно, спохватываясь. Спутница вопросительно и недоумевающе посмотрела на меня, спросила:

— Что вы сказали, что вы чертыхаетесь?

— Ничего подобного, — мрачно и упорно заявил я, едва сознавая, что я говорю.

Вдруг спутница рассмеялась открыто, звонко и заразительно. Я тоже рассмеялся, теряя свою растерянность. Мы посмотрели пристально друг другу в глаза. Она перестала смеяться, я тоже. Ее взгляд сделался неподвижным, напряженным и почти строгим. На мгновение меж нами как-будто исчезло невидимое, но постоянно ощущаемое людьми в их отношениях препятствие, и мы соприкоснулись обнаженными, совсем голыми взглядами. Как-будто в каждом из нас проснулось иное существо, неведомое нам самим, непонятное и настоящее. В этом было что-то колдовское, страшное и обворожительное. В глазах незнакомки была смерть и жизнь. Кто-то с катка бросил в нас комом снега—он попал мне в плечо. Я вздрогнул, отвел от нее взгляд, сказал, чтобы что-нибудь сказать:

— Когда я был в Финляндии...

Странное выражение в глазах незнакомки исчезло. Она сделала вид, что стала внимательной и, передразнивая, спросила насмешливо:

— Да, что же случилось, когда вы были в Финляндии?..

Неизвестно, что я ответил бы ей, но в это время я увидел около нас исправника. Засунув глубоко руки в карманы шинели, откинув назад голову, и, показывая седую, благообразную бороду, он мельком взглянул на меня, потом обратился к незнакомке внушительно и мягко:

— Ина, кто это тебя надоумил кататься на коньках с горы? Ведь так можно на веки искалечить себя. Пора домой, ты и без того уже давно на морозе.

«Какой позор для большевика-революционера: она — дочь исправника», — опять подумал я, снова чумея и оторопело смотря на исправника и на свою спутницу.

— Я сейчас, папа. Проводите меня до теплушки, ну?... — сказала Ина, обращаясь ко мне. Я подал ей руку, мы медленно направились к теплушке.

— Ужасно неровный лед, — заявил я Ине.

— Ничего подобного. — Она явно передразнивала меня. У теплушки, прощаясь, я, неизвестно к чему, сделал ей под козырек по-военному. Она быстро оглянулась, торопливым, как мне показалось, немного испуганным, заговорщицким и горячим шопотом промолвила:

— Вы завтра придете на каток? Приходите, будем кататься вместе.

— Непременно, — тоже шопотом ответил я, забегая вперед и отворяя дверь теплушки. От ее шопота мне сделалось вдруг душно; отъезжая, я расстегнул пальто и размотал шарф на шее.

На катке «бал-маскарад» продолжался. Кучуков снял маску, катался, изогнувшись в три погибели. Вадим уже затеял спор с эсерами в углу катка, громил социализацию земли, как мелкобуржуазную утопию. Николай истово волочил с собой барышню в меховой шапке, ковыляя и путаясь ногами, с умученным видом. Чок-бор сидел на скамье, курил и лениво подтягивал ремни на коньках; хор балалаечников рассыпался несложными русскими песнями, камаринской, польками. Я разыскал Яна, узнать подробнее о «гусаре». У исправника есть дочь Ирина, она год тому назад окончила гимназию, живет с отцом в то время, как семья находится в Архангельске. Ирина не отказывается от знакомства со ссыльными, отец ее балует. — Девчонка довольно ветреная, а главное — исправницкая дочка, — не то служит, не то собирается служить машинисткой у папаши в полиции, — заключил Ян свой рассказ о ней. Я снял коньки, поспешил домой. Луна закрылась тучами. В прогалинах загадочно сияли холодным стеклянным блеском, как будто соленые на вкус, звезды. Они говорили мне о неизвестных, о неизвестных судьбах. Дома я прежде всего нашел перочинный нож, искромсал старые перчатки, без числа вспоминал о шопоте, и опять мне делалось душно; потом укорял себя в распушенности и в чуждых пролетариату настроениях, решил на каток больше не ходить, но тут же поймал себя на том, что без слов, но упорно повторяю: «Приходите, будем кататься вместе, приходите, будем кататься вместе». — Не пойдешь, — со скрежетом приказывал я себе. Заснул я только под утро.

На другой день я прежде всего убедил себя, что без теплых перчаток зимой, да еще в ссылке, на севере, мне не обойтись. Поэтому, нисколько не то собирается служить машинисткой у папаши в полиции, — заключил бирал покупку, истратив на нее треть месячного пособия. Дальше я столь же рассудительно напомнил себе, что обещал Ине встретиться с ней на катке и что невежливо, неблагородно и непристойно нарушить обещание. Одним словом, вечером я катался с Иной, щегольски, по силе семинарской возможности, натягивая на пальцы лайковые теплые перчатки, и, когда Ина похвалила их, я не мог подавить довольной ухмылки, со стороны, вероятно, достаточно глупой и даже дурацкой. Ночью меня грызла совесть. «Неужели, — говорила она мне, — тебе приятно быть в обществе самой обыкновенной провинциальной барышни, дочки исправника? Что скажут ссыльные товарищи? Необходимо прекратить эти встречи, завтра ты не идешь на

каток». Но и завтра, и на четвертый, и на десятый день я продолжал бывать на катке, убеждая себя, что катание очень полезно для здоровья, а если следует кататься и на катке бывает Ина, и с ней катаются и другие ссыльные, — то почему мне нельзя на досуге приятно провести время? Но мне было более чем приятно. Каждый раз, когда я видел ее тонкую, в черном тулупчике фигуру, ее длинные косы и банты, уют в углах губ, японский, миндальный разрез глаз, приподнятые брови, при чем верхняя часть ее лица была восточной, хитрой, а нижняя—мягко очерченной русской, немного безвольной и еще неопределенной, — я испытывал радость и уносил с собой образ счастья. Между нами установилась безмолвная, дорогая мне близость. Если я выходил из теплушки на каток позже ее и бежал на коньках следом за ней, я знал по каким-то точным и неуловимым признакам,—по настороженной ли ее спине, или по выжидательно чуть-чуть вытянутой голове, — что она ждет, чтобы я пригласил ее. Наоборот, когда она каталась не со мной, я смотрел ей вслед и твердил про себя: «Сейчас она будет со мной, вот она обернется у этой елки с обрубленной верхушкой» — она оборачивалась и улыбалась мне через плечо, спустя две-три минуты мы вместе бежали по льду. Наши разговоры и беседы отличались обычной в этих случаях бессодержательностью. Я говорил ей: сегодня лед лучше, чем вчера, не за горами весна, коньки следует время от времени точить наждачной бумагой и т. д. Я рассказывал ей содержание прочитанных повестей, романов, сообщал газетные новости, избегая политических вопросов. Я любил, когда она слушала о таинственных происшествиях, о загадочных преступлениях — тогда лицо ее делалось наивным и любопытствующим, она смотрела на меня, широко раскрыв глаза, полуиспуганно, крепче сжимая мне руку. Она была прекрасна и счастлива своей молодостью восемнадцати лет. Она была молода и поэтому должна была находиться в постоянном, в непрерывном движении. Она не могла, не умела спокойно сидеть, не могла чего-нибудь не делать. Она каталась на коньках, кокетничала, болтала, поправляла волосы, растирала щеки, теребила косы, расспрашивала, шутила, капризничала, садилась и тут же вставала потому, что у нее была во всем этом простая потребность молодости. Она часто смеялась не от того, что видела и слышала смешное, а оттого, что того требовала ее девичья бессознательная чувственность. Смех у нее был полный, грудной, призывный, с глубокими, неожиданными серебряными переливами. Когда смеялась, она розовела. Она скучала и делалась вялой, если ей приходилось находиться в бездействии, — лицо ее серело, делалось старше и менее выразительным. Впрочем, во всем ее облике было много еще незаконченного, незапечатленного. Она жила свободной от докучных, житейских мыслей и забот, от напряженной, отвлеченной головной работы, от каких-либо навязчивых идей. Она решала вопросы не сомневаясь, ответы давала не задумываясь. С недоверием, с опасением она встречала мои редкие попытки привлечь ее внимание к сложным, к запутанным явлениям жизни, или когда я делался слишком рассудочным, впадал в поучительный тон. — Вы, очевидно, очень много знаете, — говорила она мне. Это звучало скорее как осуждение, и она старалась перевести разговор на другие, более близкие ей и понятные вещи.

Она бессознательно оберегала себя от всего, что требовало упорной умственной и нравственной работы. Больше того, она полу-враждебно и во всяком случае неприязненно-равнодушно относилась к моим политическим взглядам. Она это делала не в силу того, что продумала это свое отрицательное отношение, а в силу того, что не хотела ни думать, ни рассуждать. В ней было еще много детского и в то же время уже лукаво-женственного.

Я продолжал клеймить себя за общественную и личную неустойчивость; и самое странное, непонятное заключалось в том, что при встречах с Иной я чувствовал себя неопытным подростком, а на нее глядел, как на более старшего, житейски опытного человека, хотя своим рассудком я понимал, что это не так. Я — профессиональный революционер, дважды сидевший в тюрьме, руководивший округом, привыкший к опасностям и лишениям, — смущался перед Иной, робел, глупел, терялся. Она это чутьем видела и понимала, невольно усваивала в отношениях ко мне покровительственные манеры, в ее разговоре со мной иногда звучала снисходительность. Это было обидно, но изменить этого я не мог, не умел.

Я опасался неблагоприятных разговоров среди ссыльных по поводу моего знакомства с Иной. Ян и Вадим надо мной подсмеивались. Один случай помог мне. Существовало распоряжение, запрещающее местным жителям общаться с ссыльными. Распоряжение никогда строго не выполнялось, а то, что происходило на катке, нарушало его окончательно. Полицейское правление решило водворить порядок. По вечерам на катке стали появляться помощник исправника, надзиратель и стражники. Они подходили к ссыльным, которые катались с «местными», отзывали их в сторону, делали соответствующие внушения с предупреждениями, «протестантам» предлагали покинуть каток. Ссыльные решили сопротивляться. В очередное катание они усиленно приглашали местных девиц, а я, отчасти по наущению приятелей, отчасти по вольной воле, с особой настойчивостью ухаживал за Иной, соединяя приятное с полезным. Когда на катке появились помощник и стражники, ревностно и настойчиво начали преследовать нарушителей порядка, ссыльные с ехидством показывали на меня с Иной, советуя полицейскому чиновнику в первую очередь применить законность к дочери исправника. Помощник нерешительно потоптался на месте, поежил плечами, попытался безрезультатно «пронзить меня взглядом», после чего удалился. Вдгонку ему полетели насмешки. «Поле битвы» осталось за нами. Я сказал Ине, что ей придется иметь дело с отцом. Она пренебрежительно сжала губы. Мое положение упрочилось...

... На катке я познакомился с ссыльной Мирой и с ее мужем. Она обратилась ко мне с просьбой обучить ее кататься на коньках, что я и сделал, после чего стал часто у нее бывать. Мира и ее муж, социалисты-революционеры, жили уже второй год в ссылке и были известны среди ссыльных своим хлебосольством и гостеприимством. Они занимали просторную и теплую квартиру, служившую для ссыльных клубом. По вечерам сюда собирались играть в шахматы, в карты, поспорить, расходились далеко за пол-

ночь и нередко под хмельком. Андрей, муж Миры, высокий, худой, бледный, лет двадцати семи, имел состоятельных родителей,—воронежских купцов, получал от них ежемесячно шестьдесят—семьдесят рублей; в ссылке это было редкостью. Он казался мне бесцветным, но покладистым товарищем.

Приходили чаще всего к Мире. Она была привлекательна, умна и тактична. Она умела во-время обратить в шутку спор, грозивший перейти в ссору, она относилась к нам внимательно, с участием, но без навязчивости; ее ровный, всегда спокойный голос действовал успокаивающе, и в ней не было распушенности, ненужного амикошонства, свойств, обычных среди ссыльных. Мира редко смеялась, но всегда выглядела одинаково приветливо. Ее большие серые глаза смотрели сосредоточенно, но иногда взгляд становился слепым, мертвенным, пустым, как-будто она глядела и не видела. В эти мгновения в них появлялось что-то русалочье, дикое. Может быть, это происходило от того, что длинные ресницы у нее были неправильно, неровно посажены, особенно на изгибе век, и она чуть-чуть косила. На правой щеке у Мира лежало коричневое пятно, величиной с копейку, точно полученное от ожога, пятно не портило лица, наоборот, оно придавало ему что-то скорбное. Она страдала головными болями, припадками эпилепсии. В ней было нечто надломленное, печальное и тоскливое. Я любил слушать ее неторопливую речь, смотреть на сдержанные, размеренные ее движения...

... В апреле лед на реке и на катке испортился, посинел, вздулся. Снега кругом побурели, стали зернистыми. По-весеннему радостно голубели глубокие небеса, точно подъятые на новую высь, и вновь отверстые, по-весеннему веяли влажные, привольные морские ветры, от них шелушилась кожа на лице, и на губах оставался соленый вкус, и где-то к реке прорвались со скал студено-блещущие молодые, хмельные ручьи. И вот уже обнажились скалы, показав свои серые, изуродованные, изрытые временем и ветрами хребты, — и с каждым днем все гуще, все настойчивее делалось солнце. Оно неутомимо плавало в хрусткой синеве, распустив золотые косы в льющиеся, в несметные пряди. И уже сломался лед на реке, яростно, будто в предсмертных судорогах бился о каменные пороги, глыбы становились на дыбы неуклюжими чудовищами, грызли темный от воды камень, ломали зеленые клыки и зубы и неслись с негодующим шумом в море. Оно открылось величественное, во всю свою богатую ширь и спокойно-уверенную мощь; испещренное туманными, зовущими островами, оно колыхало на своих волнах века и вечность. Море всегда колыхает на своих волнах века и вечность. Угрюмые, скалистые берега приукрасились сочной зеленью, над тундрой, над лесами протянулись синеватые пологи... Весна... Северная весна долго заставляет себя ждать, но она приходит сразу. Она приходит, угоня куда-то на юг надоедливые черные ночи, — хилые, тщедушные дни оживают, богатырски растут, крепнут, и все начинает торопиться, густеть, наполняться соками, шуметь, рассыпаться птичьим переключком, все спешит жить в недолгие летние сроки... Проходят еще дни, и кругом все сереет. Серое море, серые острова, скалы, седые туманы, белесые ночи, белесое небо, седые росы, седые мхи, — пышность первого весеннего времени уже увяла, но в этой скромности, в этой блеклости тонов и цветов, в бедности и убогости их

есть северная, русская, тихая, скромная печаль. Все словно погружено в задумчивость и дрему, в благую, в строгую немотность. И только леса поражают своим зеленым изобилием. Да еще зори роскошествуют. Они полыхают от края до края, они неправдоподобны и неестественны, они неистовы в своей расточительности, они разбрасывают в небесном изумруде целые поля маков, острова кораллов, горы рубинов, груды чистейшего золота, они цветут пурпуром, багрянцем, киноварью, точно кто убрал скромную девушку — север — в красные заморские шелка, осыпал ее цветами из садов Ширази и благородными, редчайшими камнями. Иногда северные зори плещутся, плывут, тают и нежатся, но иногда раскидываются страстными космами, горят адским пламенем, дантовым адом, исподним вулканическим огнем. Северные зори таят в себе такое изобилие самых ярких и в то же время самых тонких, еле уловимых и восхитительных переходов, переливов, оттенков, что глаз удивляется этому безумству, этому пиру красок и цветов. Северные зори поют алые песни, звенят вечерним медным звоном, они рассказывают без слов воздушные чародейные сказки, пахнут крепким старым красным вином. Ах, они льют из опрокинутой голубой чаши божественное, небесное вино, — недаром пьянеют от северных зорь!

Весной, после того как растаял снег, я встречался с Иной случайно во время прогулок. Мы отдалялись друг от друга. В наших отношениях никогда не было ни прочности, ни простоты. Я не забывал, что она — дочь исправника, она помнила, что я — ссыльный. И я все реже и реже виделся с ней, ограничиваясь нередко при встречах обычным приветом, — но попрежнему, глядя на нее, я испытывал радость и, когда что-нибудь делал, мне отраднo было думать и представлять, что сказала бы вот в этом случае она, Ина.

В майский вечер я сидел однажды дома, просматривая журналы и газеты. В дверь постучали, вошла модистка Варюша.

— Ирина Петровна просила передать вам письмо и подождать ответа.

Я с некоторым удивлением распечатал конверт. Ина предложила зайти к Варюше: «Я сижу сейчас у нее на квартире, жду вас. Мне очень, очень нужно повидаться с вами».

— В чем дело? — осведомился я у Варюши.

— Вам лучше знать, — ответила она, улыбаясь и как-будто что-то имея в виду. — Мое дело небольшое: Ирина Петровна заходит ко мне, белье и платья заказывать, я обшиваю их.

Я вышел вместе с Варюшей.

Модистка Варюша — одинокая, молодая женщина — несколько лет тому назад потеряла своего мужа-рыбака, утонувшего на Мурмане. Оставшись с грудным ребенком, она в Архангельске прошла школу кройки, возвратилась в родной город, зарабатывала деньги шитьем. Кроме того, она сдавала свободную комнату ссыльным. Сдавала она ее, как говаривали в шутку, «с полным пансионом», то-есть сходясь с квартирантом. Ей приходилось содержать своих сожителей; она работала на них, кормила, пила, одевала. Но не даром поморки певали частушки: «Хорошо у речки жить, холодно купаться, хорошо ссыльных любить, трудно расставаться». Расставаться Варюше приходилось часто: то у квартиранта придет к концу срок ссылки,

то он убежит, то его переведут в другой город. Провожая «дружка», Варюша пекла пироги, пышки в дорогу, чинила белье, собирала последние рубли. Потом ее видели, как она, в слезах, тащилась следом за ссыльным с мешками, с узлами, с кульками и кулечками, поднималась по сходням на пароход, укладывала вещи в сани, висла у «дружка» на шее, убивалась, просила ее не забывать, — полюбовник конфузился, торопливо давал всякие обещания, невнятно клялся, Варюша махала платком, подолгу не сходила с места, возвращалась домой с опухшим лицом и с красными веками, горбилась над заказами. Дальше напрасно ждала писем, посылала телеграммы, уверяла, что скоро должна поехать к «своему», советовалась, как быть ей с домом, продать ли его, или обождать, а может быть, лучше сдать пока в аренду. Проходили месяцы, «свой» и «дружок» пропал нивесть где, на письма и телеграммы не отвечал, либо «отписывал» таким образом, что Варюша вновь заливалась слезами. Поплавав, Варюша принимала в дом нового квартиранта, у квартиранта появлялась свежая пиджачная пара, пальто, он ходил с сытым и довольным видом, Варюша молодеда, несмотря на новые хлопоты и работы. И вновь ее видели, как она тащила корзины и свертки, провожала кручинясь, при чем четырехлетний ее сынишка, Володя, при расстанях цепко держался за юбку «мамки» и, глядя на нее, ревмя ревел, растирая глаза докрасна кулаченками. В среде ссыльных Варюша считалась своим человеком, бывала у нас на вечеринках, многих обшивала, любила угощать. Была она по-мещански милостива: есть такие в наших уездных городах добрые, сердечные, приветливые Варюши-хлопотуньи, со вздернутыми носами, с белыми, «рассыпчатыми» телами, с большими синими, либо с серыми открытыми и спокойными глазами, с переваливающейся, но приткой походкой, усердные в работе, с очень ровным характером, готовые помочь, оказать услугу. Незадолго до моего приезда Варюша проводила одного из своих «дружков», живших у нее «на полном пансионе», — высокого малого, бездельника и пьяницу, который не только обирал ее, но и избивал до кровоподтеков. Варюша еще надеялась, что любезный Коленька, или Митенька, возьмет ее к себе не то в Самару, не то в Одессу.

Она провела меня в свою спальню. У стола, теребя косу, перекинутую через плечо на грудь, сидела Ина. Мы остались одни, я вопросительно взглянул на нее. Она была смущена и взволнована. Ее лицо порозовело, глаза блестели, они показались мне страдальческими. Я хотел сказать несколько обычных, ничего не говорящих фраз, но понял, что это неуместно, нервы мои напряглись, я перестал замечать обстановку, достал портсигар, руки дрожали. Стараясь скрыть дрожь и овладеть собой, я подошел к окну закурить, чтобы она не видела трясущихся пальцев и спички. В это время Ина сказала отдаленным и чужим ей голосом:

— Я прошу вас дать слово, что весь наш разговор останется меж нами.

— Безусловно, безусловно, — пробормотал я в совершенном смущении, боясь взглянуть на нее. — Можете положиться.. Ина... Никитична... Петровна.—«Сейчас она будет объясняться мне в любви,—решил я, в то же время чувствуя, как кровь отхлынула у меня от лица, — что делать, что делать?.. Какой позор, большевик-революционер, и.. что я ей скажу?»

Вошла Варюша, предложила чаю, мы отказались от чаю. Варюша замешкалась у комода.

Ина сидела, опустив глаза, с пылающими щеками. Мне стало ее жалко, и тут же я пожалел и себя. «Что делать, что сказать?.. Надо прежде всего вернуть себе спокойствие, выдержку»,—говорил я себе, задыхаясь от табачного дыма. Я вспомнил, что в семинарии, во время экзаменов, перед тем как отвечать, мы, чтобы успокоиться, щипали себя. Я с ожесточением, незаметно от Ины, впился пальцами себе в бедро, потом в бок, посадив два верных синяка. Щипки помогли. «Она сейчас объяснится мне в любви... Я ей отвечу, что мне надо обсудить, подумать... нет, сначала я поблагодарю ее, а потом скажу, что надо обсудить... Поцеловать мне у нее руку или нет, когда она будет мне объясняться? Или, может быть, мне поцеловать ее прямо в губы... но... тогда, при чем же обсуждение?.. Нет, все-таки лучше поцеловать. Да, поцелую в губы, а потом заявлю, что надо обсудить... Главное, в этих случаях развязность, все остальное приложится... Итак... она объясняется, я целую ее, руку или губы?... благодарю, заявлю, что надо обдумать, но прежде всего развязность»...

Новая мысль снова сбила меня с толку: «Почему я все это переживаю скорее, как несчастье и бедствие, а не как радость: я же радовался при встречах с Иной?». Размышлять, однако, было поздно, Варюша вышла из комнаты.

Ина сидела у стола в прежнем положении.

— К вашим услугам, Ирина Петровна,—заявил я преувеличенно громко и наигранно, садясь против нее у стола и стараясь быть развязным. Вышло это у меня, кажется, достаточно дрянно.

Ина ничего не ответила, но взглянула на меня серьезным и осуждающим взглядом. Я осекся. Наступила тягостная пауза. Вдруг Ина подалась ко мне, приложила руки к щекам, не глядя на меня, глухо и прерывисто спросила:

— Вы часто бываете у Миры?

Я с недоумением пристально взглянул на нее.

— Да, я часто захожу к ней.

Ина опустила голову еще ниже, так, что стал виден весь ее жемчужный и теплый пробор. Неизвестно к чему, я подумал, что, вероятно, очень трудно и хлопотливо делать по утрам прическу с таким ровным пробором, следить за ним целый день. Это напомнило мне кухню-артистку: она причесывалась не меньше двух часов, в ее спальне горела в полдень лампа, душно и сладко пахло паленым волосом, пудрой и духами.

— Почему вы спросили меня о Мире?

Молчание. Потом Ина с потемневшими глазами, глотая слова, торопливо прошептала:

— Потому что... потому что... Мира предательница... она служит в жандармском управлении.

Я вскочил со стула, зло и неприязненно крикнул:

— Это — неправда, это не может быть. Вы не смеете так говорить о Мире!

Странное дело, в тот же миг, несмотря на неожиданность того, что мне сказала Ина, я внутренне успокоился.

Ина тоже встала. Она стояла против меня, как мне показалось, враждебная и оскорбленная. Она сказала твердо:

— Это — правда. Она выдает вас, ссыльных. Я знаю.

Мы встретились глазами. Я отвел свои глаза первым.

— Откуда вы это узнали?

Про себя я уже решил, что верить Ине я не буду и не могу. Взбалмошная девчонка; она или ревнует меня к Мире, или обманывает и сплетничает. Вот так объяснение в любви... дурак, сплошной дурак!

— Мира бывает у папы. Он принимает ее на дому, в кабинете. Они запираются. Мира сидит у нас иногда больше часа. Отец однажды проговорился, когда я пристала к нему, он сказал, что Мира — опасный и нехороший человек. Он сам боится ее: она сама пишет письма прямо в Архангельское жандармское управление, и он даже не знает, о чем она пишет. Мира каждый месяц получает жалованье — пятьдесят рублей. Нет, я говорю правду, я не лгу, — закончила она горячо и просительно.

Да. Мне представились серые глаза Миры... маленькие, крепкие руки... скорбное пятно на щеке... радушие ее... Она не может быть предательницей, наша славная, чуткая, ссыльная Мира... Лжет другая, лжет исправническая дочка! Зачем? Может быть, у ее отца есть свои скрытые намерения! Может быть, он хочет внести в среду ссыльных разлад, посеять раздор! Может быть... Какой я дурак!...

Я прикинулся доверчивым. Стараясь показаться как можно более искренним, я спросил Ину вкрадчиво:

— Но какие могут быть доказательства тому, что вы мне сообщили?

Ина поняла, что я ей не верю, что я лишь сделал вид, будто всерьез отнесся к ее сообщению, она снова покраснела так, что мочки ее ушей сделались почти фиолетовыми, часто задышала, спавшим голосом промолвила:

— В январе среди ссыльных были аресты, они были сделаны по донесениям Миры.

Я жестко сказал:

— Это не доказательство, нужна точная проверка.

Ина дотронулась до моего рукава, беспомощно и растерянно спросила

— Вы мне не верите, да?

— Я верю вам, но тут... возможна ошибка.

Она снова стала теревить пальцами косу.

— Нет, вы мне не верите, я вижу. Вы очень плохо обо мне думаете... Хотите... я поклянусь вам чем угодно, — сказала она испуганно и шопотом, немного наклоняясь ко мне через стол.

— Вы говорите, — перебил я ее, — что Мира часто и подолгу бывает у господина исправника?

— Да, бывает у папы.

— Нельзя ли это проследить?

Ина выпрямилась, одно мгновение подумала, просветлела, радостно и с готовностью ответила, кивая по-детски головой:

— Хорошо. Можно, это легко можно сделать... Когда Мира придет к нам, я дам знать об этом, ну... через Варюшу. Вы тогда убедитесь, правда? Только это надо сделать осторожно... Если хотите, когда она снова придет, я опять скажу вам, хорошо?

Был светлый вечер. Касаюсь стекол окна, качались влажные ветки березы с набухшими почками. Березка была молодая, тонкая, покинутая, точно искала у сруба защиты и приюта. Вдали грузно и сумрачно морщились голые скалы, за ними у порогов кипела речная вода, в небе холодным пламенем разгоралась заря. Ина стояла у стола, положив на него руки. На ней было темно-коричневое шерстяное платье, с глухим высоким воротником, отороченным белыми кружевами. Кисти ее рук были худые. Она машинально водила мизинцем правой руки по серой в клетках скатерти, в то время как вся ее фигура ждала от меня ответа. Мизинец был нежный, беспомощный, с просвечивающей кожей, с морщинками, с розово-перламутровым коротко-подстриженным ногтем и маленьким заусенцем около него. И вот тут, глядя на этот мизинец, со страхом и ужасом я поверил ей. Я поверил, что она не лжет, что правдивы — и этот детский с заусенцем мизинец, и приподнятая верхняя пухлая губа, и девичий изгиб ее спины, плеч и шеи, и складки ее платья, и ее грудной голос, и ее японские глаза с шевелящимися бровями. Может быть, меня убедил еще контраст и своеобразная гармония этого контраста: мизинец был наивный и доверчивый, что ли, а лицо непривычно для Ины сосредоточенное, взволнованное и требующее от меня ответа. Я больше не сомневался. Мой ум был подавлен тем, что я видел. Я сказал:

— Да, это нужно проверить, но, простите за назойливый вопрос, почему вы нашли нужным рассказать мне про Миру?

.Она поняла по вопросу, что я ей верю, выпрямила шею, откинув голову, быстро ответила:

— Но ведь это очень противно и гадко. Она притворяется и обманывает вас всех. Она вам может сделать много злого... я хотела предупредить вас и ваших приятелей. — После паузы прибавила, может быть, уже с бессознательным кокетством, мельком окинув меня взглядом: — И я считаю вас своим хорошим знакомым.

Я поблагодарил ее, — хотя слова мои были и искренни, они прозвучали ненужно и даже фальшиво, — суетливо и неловко помог ей одеться, вышел от Варюши минут через десять после ухода Ины.

Припоминая на улице свой разговор с ней и Миру, я вновь стал сомневаться. В десятый, в двадцатый раз я перебирал в памяти встречи, беседы с Мирой, вечеринки в ее квартире, ее поведение, — я не мог остановиться ни на чем, что могло бы показаться подозрительным. Не без ехидства и не без горечи я также говорил себе: «Не поцеловать ли вам, милый друг, Ину в губы, ха, ха, ха, дубина ты эдакая».

— Не мешало бы, — пробормотал я вслух, ожесточаясь.

Вверху надо мной хрустально, далеким, высоким, протяжным криком курлыкали гаги, спешившие на острова к гнездам. В небе полыхали зори. Северные зори... они льют из опрокинутой голубой чаши божественное, небесное вино, — недаром пьянеют от северных зорь.

(Продолжение следует)

Пакт Келлога

OUTSIDER

I. История пакта

Подписанный 27 августа в Париже пакт, объявляющий войну вне закона (известный больше под наименованием пакта Келлога), является результатом переговоров, длившихся более года. При этом необходимо иметь в виду, что в первоначальной стадии переговоры происходили лишь между Соединенными Штатами и Францией. Во второй стадии в переговорах принимали участие и ряд других государств, фигурирующих затем в качестве так называемых первоначально подписавших пакт.

6 апреля 1927 г., по случаю 8-й годовщины вступления Соединенных Штатов в мировую войну, министр иностранных дел Франции Бриан обратился с посланием, адресованным американскому народу. В этом послании он предложил заключить между обеими республиками договор о вечной дружбе,— договор, запрещающий обращение к войне, как к средству национальной политики. Предложение Бриана встретило значительное сочувствие американского общественного мнения, и это обстоятельство дало возможность Бриану в июне 1927 г. отправить на имя государственного секретаря САСШ проект двустороннего договора, по проекту которого Франция и Соединенные Штаты взаимно обязывались никогда не прибегать к войне для урегулирования разногласий, могущих возникнуть между обоими государствами. Текст двустороннего договора, предложенного Брианом в июне 1927 г., состоял всего из трех параграфов, при чем в § 1 была изложена указанная выше идея отказа от войны, как орудия национальной политики обоих государств в их взаимных сношениях, а § 2 устанавливал, что все конфликты, могущие быть между обоими государствами—независимо от их происхождения и природы—должны разрешаться лишь при помощи мирных способов. Наконец, § 3 говорит о ратификации договора и о вступлении его в силу.

На июньскую ноту Бриана Келлог, по причинам, о которых мы скажем ниже, ответил лишь в декабре 1927 г. В ноте от 28 декабря 1927 г. Келлог, подтверждая получение проекта двустороннего договора, предложенного Брианом, и отмечая, что традиционная дружба, которая существует между Францией и Соединенными Штатами Америки, не зависит от существования

каких бы то ни было формальных обязательств, заявил, что вместо того, чтобы подписывать двусторонний договор, в роде предложенного Брианом, обе нации могли бы сделать нечто большее для всеобщего мира, объединившись в усилия достичь присоединения основных держав мира к декларации, в которой эти державы отказались бы от войны, как орудия национальной политики. Подобная декларация, — продолжал Келлог, — принятая основными государствами мира, несомненно послужила бы примером для всех прочих наций и заставила бы и их присоединиться к подобному договору. Келлог заявлял, что правительство САСШ готово войти в переговоры с французским правительством относительно заключения подобного договора между основными державами — договора, который был бы открыт для присоединения к нему всех наций.

Переписка между Брианом и Келлогом продолжалась до 31 марта 1928 г. (нота Бриана Келлогу). Этой нотой был закончен первый этап непосредственных переговоров между Францией и Соединенными Штатами. Убедившись, очевидно, в бесплодности дальнейшей дискуссии с Брианом, Келлог обратился с нотой непосредственно к Германии, Великобритании, Италии и Японии. Нотой от 13 апреля 1928 г., адресованной указанным выше правительствам, Келлог вкратце изложил историю своих переговоров с Брианом и формально запросил, имеют ли правительства Великобритании, Германии, Италии и Японии какие-либо возражения против подписания пакта в том виде, в каком он приложен к этой ноте. Этот текст был, впрочем, идентичен тексту двустороннего договора, предложенного Брианом Келлогу в июне 1927 г. Нота Келлога произвела весьма сильное впечатление на Бриана, обратившегося немедленно с просьбой ко всем державам не давать ответа Келлогу до ознакомления с контр-проектом, который им предложит французское правительство. 21 апреля французский контр-проект многостороннего договора был разослан правительствам Соединенных Штатов, Германии, Италии и Японии. Этот контр-проект включал все те французские оговорки, которые имелись в переписке между Брианом и Келлогом.

Правительства, к которым обратился Келлог со своим проектом и Бриан с французским контр-проектом, были поставлены перед необходимостью выбирать между американским и французским текстами. Первой из запрошенных держав ответила Германия, которая нотой от 27 апреля поспешила высказаться за американский проект. Касаясь возражений, включенных в текст французского контр-проекта, германская нота отмечает: «Что касается Германии, то соображения относительно возможного несоответствия между международными договорами и новым пактом могут относиться лишь к статуту Лиги Наций и Ренанскому пакту Локарно. Других международных обязательств подобного типа Германия не подписывала. Уважение к обязательствам, вытекающим из статута Лиги Наций и Ренанского пакта, должно, по мнению германского правительства, оставаться неизменным. Однако германское правительство убеждено, что обязательства, которые вытекают из указанных договоров, ни в какой мере не противоречат обязательствам, предусмотренным в американском проекте пакта. Наоборот, германское правительство считает, что формальное обязательство не прибегать к войне, как

к орудия национальной политики, может лишь служить укреплению основной идеи статута Лиги Наций и Ренанского пакта. Германское правительство полагает, что пакт, заключенный согласно тексту, представленному американским правительством, даже не ставит под вопрос суверенные права защиты, которыми обладает каждое государство. Равным образом вполне очевидно, что если какое-либо государство нарушает пакт, то другие договаривающиеся стороны получают полную свободу действий по отношению к этому государству». В заключение германская нота заявляет о согласии германского правительства подписать указанный пакт в американской редакции. Нота прибавляет, что, по мнению американского правительства, подписание этого пакта не может не иметь немедленных последствий по отношению к состоянию международных отношений. Эта новая гарантия поддержания мира должна, по мнению германского правительства, стимулировать усилия, направленные к всеобщему разоружению.

Великобритания ответила нотой от 19 мая. Эта нота исходит из той предпосылки, что больших противоречий между обоими проектами (американским и французским) не имеется. Однако великобританское правительство в указанной ноте предложило известные поправки к американскому проекту. Так, прежде всего, Чемберлен предложил включить в американский текст некоторые французские оговорки. В п. 9 своей ноты он пишет: «Для Великобританского правительства уважение к обязательствам, вытекающим из статута Лиги Наций, и к локальным договорам является основной идеей. Наша точка зрения по этому поводу вполне совпадает с точкой зрения германского правительства, выраженной в ноте от 27 апреля. Правительство Его Величества не согласится подписать никакого нового договора, ослабляющего или уменьшающего силу договоров, на которых покоится европейский мир. Можно одновременно утверждать, что интерес английского общественного мнения по отношению к тщательному исполнению этих обязательств настолько велик, что правительство Его Величества предпочитает со своей стороны включить в текст положение, соответствующее § 4 французского контр-проекта. Мы думаем, что по этому поводу не будет никаких возражений». Одновременно английская нота в п. 10 делает новую весьма существенную оговорку. Эта оговорка отредактирована следующим образом: «Редакция ст. 1 касательно отказа от войны в качестве орудия национальной политики делает желательным напоминание с моей стороны Вашему Превосходительству, что имеются известные области мира, благоденствие и целостность которых имеют специальный и жизненный интерес для нашего мира и безопасности. Правительство Его Величества всегда старалось в прошлом ясно установить, что вмешательство в эти области не может быть терпимым. Защита их против нападения является для Британской Империи мерой самозащиты. Необходимо ясно донести, что правительство Его Величества принимает новый пакт в том определенном понимании, что он не ограничивает его свободы действий в этом отношении. Правительство Соединенных Штатов имеет аналогичные интересы, в отношении которых оно заявляло, что игнорирование их иностранным государством оно (т. е. правительство САСШ) будет рассматривать, как

недружелюбный акт. Правительство Его Величества полагает поэтому, что, определяя свою позицию, оно отражает намерения и понимания правительства САСШ». С другой стороны, Англия возражает против предложения об универсальности пакта, указывая: 1) на то обстоятельство, что нет необходимости ожидать, чтобы все нации мира заявили о своем присоединении к нему, и 2) что имеются «государства, правительства которых не пользуются еще всеобщим признанием, а некоторые из них не были в состоянии достаточно обеспечить на собственной территории поддержание порядка и безопасности».

И т а л ь я н с к о е правительство в короткой ноте от 9 мая 1928 г. соглашалось подписать договор, предложенный САСШ, выразив пожелание передать текст этого договора на обсуждение юридических экспертов, при чем подчеркнуло, что это обсуждение может быть плодотворным лишь при участии юридического советника, делегированного правительством Соединенных Штатов.

Я п о н с к о е правительство ответило 26 мая 1928 г. В этом ответе выражалась уверенность в том, что «предложение Соединенных Штатов не включает в себе ничего, что бы могло лишить независимые государства их права законной защиты или что было бы несовместимо с обязательствами, вытекающими из договоров, гарантирующих всеобщий мир, и, в частности, из статута Лиги Наций и локарнских договоров». Японская нота высказала убеждение, что соглашение по поводу текста может быть достигнуто в результате переговоров между 6-ю державами, и выражала полное согласие принять участие в этом обсуждении.

В то же время Великобритания передала американскую ноту от 13 апреля своим доминионам. Южная Африка, Индия, Австралия, Канада, Ирландия и Новая Зеландия ответили на американскую ноту почти одновременно.

В период передачи ответа со стороны перечисленных государств Келлог произнес в Американском Обществе Международного Права речь, в которой останавливался на контр-проекте Бриана (на эту речь ссылаются, между прочим, ответные ноты британского правительства и правительства Ирландии). Соответствующую часть своей речи Келлог воспроизвел в ноте, посланной им 23 июня перечисленным выше державам и доминионам, а также Бельгии, Польше и Чехо-Словакии. Эта нота является основоположной для толкования пакта, и к ней нам еще придется возвращаться в дальнейшем.

В ноте от 23 июня Келлог решительно отклоняет какие бы то ни было изменения текста пакта, за исключением вступления, но соглашается, однако, включить в число первоначальных участников Бельгию, Польшу и Чехо-Словакию. Этим самым он устраняет ссылку Бриана на возможность противоречий между пактом и локарнскими соглашениями. В конце своей ноты Келлог ставит вопрос о том, принимается ли пакт в его собственной редакции или нет. На этот вопрос были получены утвердительные ответы от Германии, 12 июля, Франции—14 июля, Италии—15 июля, Польши—17 июля, Бельгии—18 июля, Великобритании—19 июля, Японии—20 июля, Чехо-Словакии—21 июля. В тот же период ответили британские доминионы.

Эти ответы, содержа в себе согласие на подписание пакта именно в том тексте, который был предложен Соединенными Штатами, интерпретируют, как понимаются обязательства пакта каждым из указанных правительств. К этим ответам мы перейдем дальше. Теперь же необходимо зафиксировать, что самый текст пакта остался неизменным в том виде, в каком его предложил Келлог. Указанными нотами закончилась переписка относительно пакта. Историю вопроса об участии СССР в этом пакте мы рассмотрим ниже.

27 августа 1928 г. в министерстве иностранных дел в Париже пакт был подписан Брианом от имени Франции, Келлогом от имени Соединенных Штатов, лордом Кешендэном от имени Великобритании, Штреземаном—Германии; графом Манцони—Италии, графом Ушида — Японии, Гимансом — Бельгии, Бенешом — Чехо-Словакии, Залесским — Польши, лордом Кешендэном — Индии, Маркланом — Австралии, Макензи Кингом—Канады, Смитом—Южно-Африканского Союза, Парром—Новой Зеландии и Мак-Калиганом—Свободного Государства Ирландии.

II. Юридическое значение оговорок к пакту Келлога

При изложении истории пакта Келлога мы отмечали те оговорки, которые были сделаны отдельными государствами в ходе самих переговоров. Основную группу этих оговорок составляют те, которые были сделаны Францией и Англией. Прежде чем перейти к исследованию оговорок по существу, необходимо выяснить их юридическое значение. В этом вопросе имеется исходящая от французских официальных кругов попытка доказать, что оговорки, сделанные, по крайней мере, Францией, имеют характер, обязательный для всех участников пакта. Так, официоз французского правительства «Т а н» в статье от 2 сентября 1928 г. заявляет: «Дипломатическая переписка, имевшая место между первоначальными участниками договора, разъясняет дух договора и условия, в которых он был заключен. Соглашение было осуществлено, и пакт подписан в результате ноты Келлога от 23 июня, которая содержала толкования пакта». Эта аргументация не выдерживает никакой критики. Совершенно естественно, что для государств, подписывающих тот или иной документ, равно как и для государств, присоединяющихся к этому документу, может быть обязателен лишь тот текст, который они подписали. Между тем, ни одна из оговорок, заявленных Францией и Англией, в текст, подписанный 27 августа 1928 г. в Париже, не вошла. Борьба между американским и французским текстами, борьба, на которой мы останавливались выше, именно и шла по пути включения или невключения оговорок в самый текст пакта. Выше мы отмечали, что французский контр-проект включал французские же оговорки в самый текст статей. Именно против этого и возражал Келлог, предлагая свой текст, в котором этих оговорок не было. Бриану пришлось уступить и сделать вид, что он удовлетворен теми разъяснениями, которые дал Келлог как в своей речи, произнесенной в Американском Обществе Международного Права, так, затем, и в ноте от 23 июня 1928 г. Но это был вынужденный жест со стороны Бриана, которому ничего не оста-

валось другого. Между тем, в конце той же ноты от 23 июня Келлог ставит всем первоначальным участникам пакта вопрос, принимают ли они пакт именно в его редакции (т. е. без оговорок), и на этот вопрос Келлог получил утвердительный ответ.

Какое же в таком случае значение имеют заявленные оговорки?

Известный французский журналист Сен-Брис пишет в газете «Журналь»: «Совершенно правильно, что согласно американской ноте оговорки обязывают только тех, кто их сделал». Таким образом, между отдельными участниками пакта, в сущности говоря, нет единства понимания обязательств, налагаемых этим договором.

Конкретный анализ заявленных оговорок может иллюстрировать указанное выше положение.

Как мы сказали выше, основные оговорки были сделаны правительствами Франции и Англии. В известной части эти оговорки между собою совпадают, в другой — нет.

Все оговорки могут быть сведены к следующему. Франция оговорила: 1) Право самозащиты. 2) Непротиворечие обязательств пакта обязательствам статута Лиги Наций. 3) Непротиворечие обязательств пакта обязательствам, вытекающим из локарнских соглашений. 4) Ненарушение обязательствами пакта обязательств, принятых Францией по отношению к государствам, нейтралитет которых она гарантирует. 5) Автоматическое падение обязательств пакта по отношению к государству, нарушившему самый пакт. 6) Вопрос об универсальности пакта.

Что касается Великобритании, то из указанных французских оговорок она повторяет оговорки, заявленные Францией по отношению к статуту Лиги Наций и локарнским договорам. Точно так же поступила и Германия. Одновременно Англия прибавила приведенную нами выше свою собственную оговорку, касающуюся областей, по отношению к которым Великобритания имеет специальные интересы. Эту оговорку никто из участников пакта не выдвигал и не принимал. Наконец, последняя оговорка сделана правительством Канады, которое совершенно определенно заявляло, что обязательства пакта оно принимает лишь по отношению к участникам пакта, а не ко всем государствам вообще.

Таковы оговорки, сделанные участниками пакта Келлога (об оговорках СССР, Турции, Литвы, и др. присоединившихся государств мы скажем ниже).

Выше мы указали, что оговорки, сделанные одним из участников пакта, не принимались другими его участниками. Сторонники обязательности оговорок ссылаются при этом на американскую ноту от 23 июня, которая якобы покрывает все сделанные оговорки и, таким образом, придает им общий обязательный характер. Между тем, Англии нота Келлога совершенно не касается и обходит полным молчанием основную английскую оговорку, формулирующую свободу действий Великобритании в отношении ряда областей «специального интереса». Отсюда следует, что даже с точки зрения «Тан», который указывал на ноту Келлога, как на обязательную

для всех участников документа, эта нота не обнимает всех оговорок, сделанных к пакту. Какова же в таком случае судьба английской оговорки? Нет никаких сомнений в том, что в случае, если Великобритании придется принимать то или иное решение на основании пакта Келлога, великобританское правительство будет толковать свои обязательства, вытекающие из этого пакта, именно в духе той оговорки, которую она сделала. Великобритания в п. 10 своей ноты оговорила, что по отношению к целому ряду областей (которые, кстати сказать, не поименованы в английской ноте и поэтому представляют собой неизвестную величину, зависящую исключительно от усмотрения английского правительства) «правительство Его Величества принимает новый пакт в том определенном понимании, что он не ограничивает его свободы действий в этом отношении».

Однако естественен вопрос, действительно ли толкование, которое будет давать своим обязательствам в этом случае английское правительство, для всех других участников пакта? Конечно, это толкование нисколько не обязательно. Оно равным образом не обязательно и для Соединенных Штатов, ибо в своей ноте от 23 июня Келлог обошел его молчанием и, таким образом, не выявил даже точки зрения Соединенных Штатов по этому вопросу. Что же касается французских оговорок, на которых он останавливался в указанной ноте, это было сделано в форме, далеко не совпадающей с той, в которой изложены эти оговорки Брианом.

Что касается оговорки, внесенной Канадой, то она устраняется фактом почти поголовного присоединения к пакту со стороны всех государств мира.

Сказанное выше приводит нас к следующим выводам.

1. Сделанные отдельными государствами оговорки, ограничивающие обязательства, вытекающие из пакта, имеют значение лишь для сделавших эти оговорки государств.

2. Эти оговорки представляют собой интерпретацию обязательств, принятых на себя авторами оговорок.

3. Все сделанные оговорки лишь частично совпадают друг с другом и перекрывают друг друга. В других частях они не совпадают.

4. Часть этих оговорок воспроизведена в ноте Келлога от 23 июня. Другая часть (например, основная английская оговорка) нотой Келлога не воспринята.

5. Нота Келлога имеет значение, как интерпретация тех обязательств, которые берет на себя Америка на основе пакта. Ряд оговорок, сделанных французским правительством и упомянутых в ноте от 23 июня, изложены в этой ноте в иной редакции, нежели редакция, предложенная Францией. Отсюда следует, что даже оговорки, упомянутые в ноте от 23 июня, имеют две разные интерпретации: одну — французскую и другую — американскую.

6. Все сказанное устанавливает факт неоднородности интерпретации обязательств пакта со стороны отдельных его участников. Однородным является только текст пакта как таковой. Только этот текст и имеет обязательную силу для всех его участников.

III. Политическое значение оговорок

Каково же политическое значение этих оговорок и какую цель они преследуют?

Прежде всего, следует вспомнить, что первоначально переговоры о пакте Келлога происходили только между Францией и Соединенными Штатами и что инициатором этих переговоров был Бриан. Инициатива Бриана исходила из совершенно ясной политической мысли. Трудно себе представить возможность непосредственной войны между Францией и Соединенными Штатами. Между обоими государствами нет непосредственных точек соприкосновения, нет такого различия интересов, которое могло бы привести их к войне. Между тем, для Франции далеко не безразлично, какую позицию займут Соединенные Штаты в том случае, если бы Франции пришлось вести европейскую войну. История вмешательства Соединенных Штатов в империалистскую войну 1914—18 гг. и та роль, которую Соединенные Штаты сыграли в этой войне, еще не изгладились из памяти. Если бы Соединенные Штаты подписали с Францией договор о вечном мире и об отказе от войны, этим самым удалось бы в определенной мере связать будущую политику Соединенных Штатов по отношению к Европе и предопределить их поведение на тот случай, если бы Франция участвовала в каком-либо европейском столкновении. Именно этого и добивался Бриан, предлагая весной 1927 г. Келлогу подписать договор об отказе от войны. При этом Бриан не боялся того, что подобный отказ от войны связывает равным образом и внешнюю политику Франции. Трудно было представить в настоящий момент обстановку, при наличии которой Франция напала бы на Соединенные Штаты. Поэтому, отказываясь на бумаге от такого нападения и торжественно обещая вечный мир по отношению к Соединенным Штатам, Бриан шел на меньшую жертву, чем та выгода, которую он получал в виду соответствующего обещания Соединенных Штатов. Попытка Бриана добиться двустороннего договора с Соединенными Штатами повторяет попытку Клемансо добиться во время Версальской конференции 1919 г. гарантийного договора с Соединенными Штатами. Как известно, этот договор был подписан. Он устанавливал обязательство Соединенных Штатов притти на помощь Франции в случае, если бы последняя подверглась нападению. Этот договор не был ратифицирован американским сенатом и не вошел в силу. Гарантийный договор Клемансо—Вильсона шел, конечно, дальше попытки Бриана. Гарантировать неприкосновенность французских границ и обязаться притти на помощь Франции в случае нападения на ее границы — это все, о чем могли мечтать французские политики по отношению к Соединенным Штатам. Однако получить обязательство Соединенных Штатов не воевать против Франции представляет собой сделку, в достаточной мере выгодную для французской дипломатии. Убедившись в полной невозможности получить гарантийные обязательства САСШ, Бриан пошел на меньшее, — в виде договора о взаимном отказе от войны.

Этой инициативой Бриана очень ловко воспользовался Келлог и превратил предложение Бриана о двустороннем договоре в переговоры о многостороннем и всеобщем договоре об отказе от войны.

Прежде всего необходимо обратить внимание на то, почему именно Соединенные Штаты добивались заключения подобного договора.

Развитие мощи американского капитализма достигло в данный момент своих величайших пределов. Никогда еще в истории мира не было настолько сильного развития капитала, как развитие капитала в современной Америке. Американский капитализм не имеет в данный момент равного себе, и совершенно справедливо (с точки зрения капиталистических отношений) претендует на мировую гегемонию. Для утверждения этой гегемонии американский капитал в данный период времени не нуждается в военной силе. Происходящее, начиная, примерно, с 1924 г., перемещение американских капиталов в европейское и в неевропейское народное хозяйство непосредственно не нуждается в военной силе для дальнейшего проникновения на мировые рынки. Это проникновение имеет место, во-первых, в силу бедности Европы капиталами и, во-вторых, в силу того, что на целом ряде мировых рынков европейские государства не в состоянии соперничать с Соединенными Штатами. Вернувшись после нескольких лет политики воздержания от вмешательства в европейские дела снова на арену европейской и мировой борьбы, Соединенные Штаты не имеют равного в этой конкуренции. Однако, помещая в изобилии свои капиталы в европейское народное хозяйство, Соединенные Штаты хотят иметь гарантию того, что проценты с этих капиталов, равно как и самые капиталы, будут возвращаться обратно в Америку. Для этого они должны быть гарантированы на определенный промежуток времени в мирном развитии Европы и ее хозяйства. Американский капитал в данный момент не заинтересован в военном столкновении, которое могло бы поставить под угрозу спокойное, правильное течение процентов на их деньги. Вот почему САСШ заинтересованы в замирении Европы и, следовательно, в отказе европейских государств от войны.

Такова основная причина, почему Келлог использовал сделанное ему весной 1927 г. Брианом предложение о заключении договора об отказе от войны.

Мы сказали, что эта причина основная, но она не является единственной.

Первая попытка Америки вмешаться в европейские дела и стать гегемоном Европы (а следовательно, и всего мира) имела место во время Версальской конференции 1918—19 гг. Предложенная президентом Вильсоном организация Лиги Наций включала в себя и Соединенные Штаты, которые, благодаря этому, получали бы формальную возможность участвовать в европейских делах и играть в них решающую роль. Сенат Соединенных Штатов Америки, отказывая в ратификации Версальского договора, отказался, вместе с тем, и одобрить вступление САСШ в Лигу Наций. Более того, сенат именно поэтому не ратифицировал Версальский договор, что не хотел вступления Соединенных Штатов в Лигу Наций, статут которой составлял неотъемлемую часть Версальского договора. В течение почти пяти лет, последовавших за Версальской конференцией, Соединенные Штаты упорно отказывались от формального вмешательства в европейские дела. Наоборот,

с 1924 г. политика Соединенных Штатов в этом отношении начинает меняться. Заинтересованность американского капитала в европейских делах увеличивается с каждым днем, и именно эта заинтересованность вынуждает Соединенные Штаты менять свою точку зрения по вопросу о формальном вмешательстве в европейские дела. Конечно, подобное формальное вмешательство могло бы иметь место, если бы Соединенные Штаты согласились вступить в Лигу Наций. Однако Лига Наций в течение 8 лет своего развития без Соединенных Штатов успела превратиться в чисто европейское учреждение, во главе которого находятся Франция и Англия. За это время оба названных государства заняли в Лиге настолько прочное положение, что Соединенным Штатам пришлось бы, в случае их вступления в Лигу, шаг за шагом отвоевывать себе то место, на которое может претендовать американский капитал. Подобная борьба не очень улыбается Соединенным Штатам. Пакт Келлога представляет собой первую попытку Соединенных Штатов создать организацию, параллельную Лиге Наций, — организацию, которая стала бы на место Лиги Наций. Эту организацию (или, вернее, зародыш ее) возглавляют в данный момент Соединенные Штаты. Такое возглавление произошло, во-первых, потому, что предложение подписать договор, объявляющий войну вне закона, исходило от Соединенных Штатов; потому, что ратификационные грамоты всех участников пакта будут храниться в Вашингтоне, и, наконец (и это самое главное), потому, что Соединенные Штаты делаются верховным судьей в решении вопроса о том, кто нарушит пакт в каждом отдельном случае.

Таковы две причины, в силу которых именно Соединенные Штаты предложили заключение договора об отказе от войны.

Эти причины выступления Соединенных Штатов объясняют тем самым все оговорки, выдвинутые как Францией, так и Англией по отношению к пакту, равно как и разъясняют их политический смысл.

Как Франция, так и Англия справедливо почуяли смысл предложения Соединенных Штатов. Уклониться от этого предложения они не имели никакой возможности, ибо предложение Келлога было сформулировано ясно, и никакое из европейских правительств не могло открыто отказаться подписать договор об отказе от войны. Этим самым оно выдало бы свою агрессивно-империалистскую природу и подверглось бы атаке со стороны различных групп пацифистски настроенной мелкой буржуазии. Им оставалось противопоставить этому предложению оговорки, которые представляют собой попытку, во-первых, расширить собственную свободу действий, а, во-вторых, защитить от посягательств САСШ Лигу Наций.

Конкретный анализ англо-французских оговорок подтверждает высказанную выше мысль.

Начнем с французских оговорок. Первая из них касается права самозащиты, или, иначе, права государства, подвергнувшегося нападению, защищаться от этого нападения, не нарушая тем самым обязательств пакта Келлога. Если мы вспомним то, что было сказано выше о невозможности в настоящих условиях различия между наступательной и оборонительной войной, будет совершенно ясно, что, делая эту оговорку, Франция выгова-

ривает для себя свободу действий в этом вопросе. Она заранее освобождает себя от обвинений в нарушении пакта. Наоборот, как мы уже указывали, Келлог отверг включение этой оговорки в самый текст пакта. Он действовал при этом, исходя из тех же самых мотивов, что и Бриан, настаивавший на включении этой оговорки. Признать заранее в самом тексте пакта права на оборонительную войну значит создавать легальный титул для дальнейших ссылок на него, — между тем, Келлог хотел добиться возможно большей свободы для Соединенных Штатов самим определять в будущем степень виновности того или иного государства.

Вторая оговорка Франции настаивает на закреплении того, что между пактом Келлога и статутом Лиги Наций не может быть противоречия. Политический смысл этой оговорки (на которой настаивала также и Англия) заключается в защите Лиги Наций и в подчеркивании первенствующего значения статута Лиги над пактом. Оспаривая эту оговорку, Келлог стал на ту точку зрения, что между его пактом и уставом Лиги Наций нет неизбежного противоречия. Правда, — говорит он, — устав Лиги Наций при некоторых обстоятельствах может быть истолкован в смысле разрешения войны, но это есть только разрешение, а не положительное требование. Последняя фраза, конечно, свидетельствует о том, что подобное противоречие между статутом Лиги Наций и пактом в действительности имеется. Статут Лиги Наций, действительно, устанавливает, например, в ст. 16 не только право на ведение войны, но и обязательство государств — членов Лиги Наций — по призыву Совета Лиги вести эту войну против того или иного государства. В своем ответе на цитированную оговорку Франции Келлог становится на ту точку зрения, что устав Лиги Наций только разрешает в подобном случае ведение войны, но вовсе не предписывает ее. Подобное толкование является натяжкой и действительности не соответствует. Но политический смысл такого толкования заключается в том, что в случае подобного расхождения между уставом Лиги Наций и пактом Соединенные Штаты отдадут предпочтение именно пакту Келлога. Вот почему Келлог отказался включить эту оговорку в текст пакта.

Третья оговорка Франции (опять-таки выдвинутая одновременно и Англией) касается локарнских соглашений. По отношению к локарнским договорам эта оговорка требует того же, что и по отношению к статуту Лиги Наций, а именно закрепления непротиворечия между пактом, с одной стороны, и обязательствами, вытекающими из локарнских договоров, — с другой. Опять-таки позиция Келлога в этом вопросе не соответствует действительному положению вещей. Келлог исходил из того, что объявление войны какой-либо державой, в нарушение локарнских соглашений, будет также нарушением пакта Келлога, и, следовательно, все остальные страны — участницы пакта — будут законным образом освобождены от налагаемых на них этим пактом запрещений и, значит, будут свободны выполнять свои локарнские обязательства. В силу этого Келлог утверждает, что локарнские обязательства получают, так сказать, двойную страховку. В действитель-

ности это верно лишь по отношению к случаю военного нарушения локарнских соглашений, т. е. в том случае, если, например, Германия при помощи военной силы нарушит свое обязательство, данное в Локарно. Но ведь локарнские соглашения знают и другие виды нарушений их, за какие нарушения сам локарнский договор разрешает применение военной силы, между тем, как в случае не военного нарушения локарнского договора пакт Келлога не разрешает ведения войны. Таким образом, пакт Келлога не укрепляет, а, наоборот, ослабляет позицию как Франции, так и Англии по отношению к обязательствам Локарно. И в этом случае Келлог, отказываясь включить французскую оговорку в текст пакта, расширял тем самым свободу действий Соединенных Штатов.

Четвертая оговорка Франции (эта оговорка является типично французской и никем, кроме Франции, не заявлена) касается французских обязательств по отношению к тем странам, с которыми Франция имеет договоры о нейтралитете. Бриан требовал, чтобы выполнение обязательств, вытекающих из этих договоров, не считалось нарушением пакта Келлога. По отношению к этой оговорке Келлог дал несколько ироническую отповедь. Прежде всего он заявил, что Соединенные Штаты не знают, о каких договорах идет речь, ибо Франция не перечислила этих договоров. Далее он заметил, что отношения между Францией и государствами, нейтралитет которых они гарантируют, достаточно близки и интимны для того, чтобы Франция могла убедить эти государства своевременно присоединиться к пакту Келлога. В этом случае, — продолжает Келлог, — некому будет нападать на указанные государства (ибо все государства мира обязуются не нападать ни на кого, и Франция тем самым будет освобождена от необходимости защищать нейтралитет государств, на которые никто не будет нападать). Приведенная аргументация, конечно, бьет мимо цели или, вернее, очень остроумно использует шаткость и двусмысленность французской оговорки. Келлог прекрасно понимает, о чем заботится Бриан. Дело идет вовсе не о договорах о нейтралитете, якобы заключенных Францией. Речь идет об ее союзных договорах, как, например, договор с Польшей, с Чехо-Словакией или с Румынией. Эти договоры являются не только договорами оборонительного характера, — из них вытекают обязательства Франции далеко не оборонительного характера. Именно об этих обязательствах и заботится Бриан, выдвигая свою оговорку. Отказ Келлога включить эту оговорку в текст пакта наносит серьезный удар французской политике союзов.

Пятая оговорка Бриана большого значения не имеет. Она касается взаимоотношений с государством, нарушившим пакт Келлога. Хотя Келлог отказался внести в текст пакта и эту оговорку, однако он признал ее само собою разумеющейся. Нарушение пакта со стороны кого-либо из участников его освобождает всех остальных участников от каких-либо обязательств по отношению к его нарушителю.

Последней, шестой, оговоркой Бриан сделал попытку оттянуть вступление пакта в силу, ставя это вступление в зависимость от приня-

тия всеми государствами самого текста договора и ратификации этого текста всеми участниками пакта. Можно думать, что при помощи этой оговорки Бриан хотел дальнейшей дискуссии о тексте пакта, надеясь во время этой дискуссии добиться включения тех или иных из своих оговорок в самый текст пакта. Келлог решительно отверг подобный мотив и, заручившись согласием на предложенный текст со стороны Великобритании, Италии, Японии и Германии, настоял на предложенной им процедуре подписания пакта и вступления его в силу.

Таковы все французские оговорки. Перейдем теперь к основной английской оговорке и к ее политическому значению.

Мы уже указывали выше, что основная английская оговорка заключала в себе декларацию правительства Великобритании, в силу которой оно оставляло за собой свободу действий в отношении ряда областей земного шара, специально даже не поименованных в английской ноте. Смысл оговорки заключался в том, что, если английское правительство найдет, что в этих областях затронуты его интересы, оно может, согласно своему собственному заявлению, действовать, как ему угодно, не только обороняясь, но и н а п а д а я на всех тех, кто затронет его интересы. Правительство Великобритании даже не потрудились указать в своей ноте, о каких областях земного шара идет речь, и какие из этих областей представляют специальный интерес для правительства его величества. Сформулированная в таком виде оговорка Англии делает ее обязательства по пакту Келлога и л я ю з о р н ы м и, ибо в каждый данный момент английское правительство сможет объявить ту или иную область мира входящей в сферу его интересов, и свои действия по отношению к этой области сделать абсолютно свободными от каких бы то ни было обязательств. Политический смысл этой оговорки совершенно ясен. Английское правительство хочет обеспечить неприкосновенность не только своих владений, но и всех тех мировых путей, которые являются связью между этими владениями. Оно хочет обеспечить эту неприкосновенность не только в виде гарантии от чьего бы то ни было нападения, но и сохранить за собой полную свободу действий по отношению к любой части земного шара, где только могут быть задеты его интересы. Центр тяжести этой оговорки, естественно, лежит в колониальных и полуколониальных владениях Англии. По отношению к этим областям земного шара Англия не хочет брать на себя никаких обязательств, которые могли бы хотя немного сократить ее полную свободу действий.

Вторая английская оговорка затрагивает вопрос об универсальности пакта. Английская нота от 19 мая 1928 г. высказывается против того, чтобы предложение подписать пакт было адресовано всем государствам. Английское правительство считает нужным напомнить, что «имеются государства, правительства которых не получили еще всеобщего признания и которые не в состоянии на своей территории поддержать порядок и безопасность». Вот почему, по мнению английского правительства, не следует предлагать решительно всем правительствам мира подписание пакта Келлога. Нет никакого сомнения в том, что, делая эту оговорку, английское правительство имело

в виду СССР, с одной стороны, и Китай — с другой. Совершенно очевидно, что консервативному кабинету Англии было в высшей степени нежелательно связывать себя какими бы то ни было обязательствами (в особенности обязательством не вести войну) по отношению именно к СССР и к Китаю.

В ноте от 23 июня Келлог обошел полным молчанием как основную оговорку Англии об областях специального интереса, так и оговорку относительно нежелания Англии распространить пакт Келлога на СССР и на Китай.

IV. Пакт Келлога и СССР

Изложенная выше история переговоров о пакте Келлога свидетельствует о том, что в числе держав, договаривавшихся о тексте пакта, не было СССР. Впервые в присутствии СССР было официально упомянуто о пакте на 5-й сессии Подготовительной Комиссии к Конференции по разоружению, происходившей в Женеве в марте 1928 года. На этой сессии советской программе мира — программе всеобщего и полного разоружения — был противопоставлен в речах ряда ораторов пакт Келлога в качестве контр-программы, при том более эффективной и действительной, нежели «неосуществимая» программа советской делегации. Трудно было понять при этом, почему государства, вооруженные до зубов, подписывая обязательство отказа от войн, представляют собой большую гарантию мира, нежели государства, разоруженные и не имеющие, таким образом, физической возможности вести войну. Тем не менее представители капиталистических государств, объединенные в Подготовительной Комиссии, отвергли не только советский проект о всеобщем и полном разоружении, но и отложили без всякой мотивировки обсуждение второго советского предложения о частичном разоружении. В качестве универсального средства мира была провозглашена тогда программа пакта Келлога.

В ответ на выступление некоторых ораторов, высказавшихся в пользу пакта Келлога, обеспечивающего, по их словам, максимальную безопасность для государств, председатель советской делегации тов. М. М. Литвинов заявил, что правительство СССР не возражает против попытки юридического отказа от ведения войны. Правительство СССР само прилагает всяческие усилия в борьбе за мир, и поэтому всякая попытка, в том же направлении встретит его поддержку. Однако тов. Литвинов тут же заметил, что советская делегация не верит в эффективность юридического отказа от войны до тех пор, пока этот юридический отказ не будет сопровождаться параллельным фактическим разоружением. Только тогда, когда будет отнята физическая возможность ведения войны, юридические обязательства в этом направлении будут действительными. Вот почему советская делегация полагает, что наиболее важным и срочным делом является проведение разоружения, и что именно в разоружении заложена основная гарантия мира.

Ни до 5-й сессии Подготовительной Комиссии, о которой мы только что говорили, ни после нее советское правительство не только не было приглашено к переговорам о пакте, запрещающем войну, но даже не было офи-

циально уведомлено об этих переговорах. По мере приближения момента подписания пакта стали раздаваться в европейской буржуазной печати голоса, свидетельствующие о том, что первоначальный замысел основных участников пакта Келлога обойти СССР и, следовательно, оставить себе полную свободу рук по отношению к советскому государству не встречает всеобщего сочувствия.

В конце июля английская газета «С т а р», критикуя позицию Чемберлена по вопросу о приглашении СССР подписать пакт Келлога, заявляла: «Что стоит пакт, раз Россия останется за его пределами?». Тогда же «Дейли Геральд» писал: «Отказ пригласить СССР подписать договор Келлога будет рассматриваться СССР и всем рабочим движением, как попытка оскорбления, как попытка обострить отношения между СССР и капиталистическими правительствами. Люди, на которых лежит ответственность за этот отказ, прикрытый предлогом стремления к миру, увеличивают военную опасность, которой они, якобы, стремятся избежать». Правая французская газета «Эко де Пари» приблизительно в то же время писала, что «пакт без участия СССР будет недействительным». Наконец, почти вся германская печать высказывалась за приглашение СССР подписать пакт Келлога.

5 августа 1928 г. народный комиссар по иностранным делам тов. Чичерин в интервью, данном им представителям печати, высказал точку зрения правительства СССР на пакт о запрещении войны. В этом интервью тов. Чичерин указал на то обстоятельство, что устранение советского правительства из числа участников переговоров о пакте, наводит прежде всего на мысль, что в действительные цели инициаторов этого пакта входило и входит стремление сделать из него орудие изоляции и борьбы против СССР. Указав на то обстоятельство, что значительная часть германской прессы, равно как некоторые английские и французские газеты высказывались за приглашение СССР к участию в пакте, тов. Чичерин заявил, что еще не поздно пригласить СССР для участия в переговорах. При этом тов. Чичерин отметил, что дальнейшее поведение инициаторов пакта по отношению к СССР будет служить доказательством того, что именно служит их действительной целью — мир или подготовка войны. Подчеркнув вновь основную цель политики мира СССР — стремление добиться гарантии длительного мира, и высказав при этом сожаление, что пакт Келлога обесценивается, во-первых, теми оговорками, которые были сделаны Францией и Англией, а, во-вторых, тем обстоятельством, что он не сопровождается обязательствами по вопросу о разоружении, тов. Чичерин официально заявил, что возможность участия правительства СССР в подписании пакта Келлога не исключается.

Интервью тов. Чичерина поставило вопрос о привлечении или непривлечении СССР к подписанию пакта Келлога в центре всей международной политики в течение последних трех недель, предшествовавших подписанию пакта. Противники привлечения СССР формулировали свои доводы, примерно, так, как это сделал французский официоз «Тан», который в номере от 8 августа писал, что «советское правительство, желая участвовать в обсужде-

нии пакта Келлога, преследует две цели: 1) разрушить принципиальное соглашение, с таким старанием выработанное между державами, и 2) получить, благодаря самому факту приглашения от имени Вашингтона, нечто в роде признания Соединенных Штатов, которые до сих пор не хотят иметь ни малейшего контакта с СССР». С другой стороны, германская печать указывала, что «отклонение участия СССР будет служить доказательством наличия, если не проекта блокады СССР, то, во всяком случае, желания держав изолировать Советский Союз». Наконец, американская печать в своем большинстве высказывалась за участие СССР в пакте. Так, «Нью-Йорк Уорлд» опубликовал заявление видного представителя Государственного Департамента, который заявил, что СССР должен был бы знать, что правительство САСШ желает, чтобы он присоединился к пакту Келлога. Эта же газета высмеивала опасения Государственного Департамента относительно того, не будет ли истолковано приглашение СССР в качестве признания СССР Соединенными Штатами. Точно в таком же духе высказывалась и газета «Балтимор Сен».

Между основными участниками пакта начались оживленные переговоры по вопросу о том, как поступить по отношению к СССР. Само собой разумеется, эти переговоры и точное их содержание остаются для нас неизвестными. Однако по целому ряду данных можно судить о том, что против приглашения СССР подписать пакт Келлога высказались Англия, с одной стороны, и Польша — с другой. Наоборот, есть основания думать, что правительство Соединенных Штатов и сам автор пакта Келлог высказались за привлечение СССР. Французское правительство заняло в этом вопросе колеблющуюся позицию, склоняясь, повидимому, скорее на сторону САСШ, нежели Англии.

Перед инициаторами пакта открывались две возможности: первая из них заключалась в привлечении СССР к самим переговорам о тексте пакта. Подобное привлечение к переговорам было для них чрезвычайно трудным делом. В момент, когда появилось интервью тов. Чичерина, переговоры о тексте были закончены, и ответы на основную ноту Соединенных Штатов от 23 июня были уже получены от всех правительств. Инициаторы пакта боялись, что, начиная новые переговоры с СССР по вопросу о тексте пакта, они рискуют снова затянуть окончательное принятие текста.

Вторая возможность была предусмотрена в самом пакте. Ст. 3 пакта в том виде, в котором она была сформулирована в американской ноте от 23 июня, устанавливала следующий порядок ратификации пакта, вступления его в силу и последующего присоединения к нему других государств: сначала пакт подписывают первые 15 государств, затем эти же 15 государств (в разное время) ратифицируют пакт, после чего он вступает в силу во взаимоотношениях между подписавшими государствами. Лишь после этого всем остальным государствам предоставляется возможность присоединения к пакту, при чем момент вступления в силу обязательств, изложенных в пакте, между присоединившимися государствами и первоначальными 15 участниками наступает тогда, когда вновь присоединившиеся государства ратифицируют свое присоединение. К этому следует прибавить, что первоначально не был

установлен вообще список государств, коим будет отправлено приглашение присоединиться к пакту.

Отвергая возможность приглашения СССР участвовать в переговорах о тексте пакта, его инициаторам оставалось пригласить СССР присоединиться к пакту на условиях, которые мы только что изложили. Однако участники пакта и, в особенности сам Келлог, понимали определенное неудобство, которое могло бы иметь место в результате подобной процедуры. В самом деле, если бы эта процедура оставалась в таком виде, в каком она была первоначально предусмотрена, получилось бы, что пакт вошел бы в силу во взаимоотношениях между первоначальными участниками его раньше, нежели в отношениях между этими участниками и, например, СССР. Между днем вступления в силу пакта по отношению к 15 его первым участникам и днем вступления его в силу по отношению к СССР получился бы известный промежуток времени, в течение которого все первоначальные участники пакта не были бы связаны никакими обязательствами не вести войну против СССР. Подобное положение могло бы быть учтено СССР, как желание поставить СССР в неравноправное положение, с одной стороны, и оставить по отношению к нему хотя бы на известный период времени «свободные руки» — с другой. Инициаторы пакта, учитывая все это и желая уйти от того вопроса, который был поставлен в интервью тов. Чичерина и который связывал их дальнейшее поведение по отношению к СССР с признанием факта их антисоветской политики, избрали третий путь, представляющий собой известный компромисс. Постановления п. 3 пакта были истолкованы ими (вернее Государственным Департаментом Соединенных Штатов) в таком виде, что присоединение всех государств к пакту могло иметь место немедленно после подписания самого пакта и не дожидаясь ратификации его первоначальными участниками. Далее вступление пакта в силу по отношению ко всем его участникам было назначено на один и тот же момент. Конкретно говоря, если бы, например, СССР присоединился к пакту 4 сентября и ратификовал это присоединение в порядке, установленном советской конституцией, — по отношению к нему обязательства пакта вступают в силу в тот самый день, когда пакт будет ратифицирован его первыми 15 участниками. Таким образом, не будет теперь уже такого промежутка времени, в течение которого обязательства пакта действовали бы в отношениях между его первоначальными участниками и не действовали по отношению к СССР или к какому-либо другому из присоединившихся государств.

Таков был ответ инициаторов пакта на интервью тов. Чичерина.

27 августа, в тот самый момент, когда в Париже подписывался пакт, французский посол в Москве г. Эрбетт, по поручению французского правительства, официально сделал вр. исполняющему обязанности наркома тов. Литвинову следующее заявление: 1) Что ограничение числа первоначальных участников пакта, по мысли правительства САСШ, соответствовало лишь практическим соображениям и цели облегчения скорейшего осуществления пакта, но что при этом всегда имелось в виду при его окон-

чательном оформлении обеспечить немедленное участие всех народов мира на тех же условиях и с теми же преимуществами, какие предоставлены первоначальным участникам пакта; 2) что в соответствии с этим, правительство САСШ уполномочено принимать заявления от всех государств, желающих присоединиться к пакту; 3) что представители правительства САСШ во всех иностранных государствах, кроме тех, представители которых уже подписали пакт, получили инструкции о сообщении правительствам, при которых они аккредитованы, текста подписанного в Париже пакта; 4) что правительство САСШ извъявляет готовность теперь же принимать акты о присоединении тех же государств; 5) что правительство Французской Республики приняло поручение довести через его (г. Эрбетта) посредство до сведения правительства СССР текст вышеупомянутого пакта и запросить его о согласии присоединиться к пакту; 6) что в утвердительном случае он (г. Эрбетт) уполномочен принять акт о присоединении для передачи его в Вашингтон.

Официальный запрос правительства СССР о том, желает ли оно присоединиться к пакту или нет, был передан через посредство французского посла в Москву в виду отсутствия официальных дипломатических сношений между правительством СССР и правительством САСШ.

Тов. М. М. Литвинов просил г. Эрбетта сообщить официально список всех правительств, которым послано аналогичное приглашение, равно как и всю документацию, относящуюся к дипломатической переписке о пакте, заявив при этом, что указанные сведения необходимы правительству СССР при обсуждении переданного французским послом предложения.

31 августа тов. Литвинов передал г. Эрбетту для сообщения правительству САСШ ответ правительства СССР на предложение присоединиться к пакту Келлога. В этом ответе высказывалось согласие правительства СССР присоединиться к указанному пакту.

6 сентября тов. Литвинов вручил французскому послу подписанный им в качестве временно исполняющего обязанности наркома акт присоединения СССР к пакту, осуждающему войну, подписанному в Париже 27 августа. В сопроводительной ноте тов. Литвинов выразил уверенность, что правительство СССР получит точный список стран, которым предложено присоединиться к пакту, а в дальнейшем уведомление о присоединении их и ратификациях отдельных правительств. Одновременно с решением правительства СССР о присоединении к пакту. Президиум ЦИК своим постановлением от 29 августа 1928 г. утвердил это решение. Таким образом, согласно советской конституции, акт присоединения правительства к пакту Келлога в дальнейшей ратификации не нуждается. В тот момент, когда пакт будет ратификован всеми 15 первоначально подписавшими его правительствами, его обязательства вступят в силу и в отношении СССР.

Какими мотивами руководилось правительство СССР, принимая решение о присоединении к пакту?

Начиная с того дня, когда контуры будущего пакта сделались ясными, советская печать не переставала критически относиться к методу, при помощи которого инициаторы пакта объявляли войну войне. Этот метод

юридического запрещения войны справедливо оценивался нами, как метод явно недостаточный и не эффективный. Мы не переставали утверждать, что никакое юридическое запрещение войны не может предотвратить военного катаклизма, поскольку оно, это запрещение, не будет сопровождаться одновременным уничтожением или хотя бы значительным уменьшением физических орудий истребления, равно как и роспуском постоянных армий, применяющих эти орудия. Мы заявили, что юридическая норма, запрещающая войну, является не первоначальным, а вторичным актом в деле борьбы против этого бича человечества. Именно стоя на этой точке зрения, советское правительство и его делегация в Женеве неизменно и настойчиво добивались обсуждения и осуществления мер, направленных на разоружение.

Инициаторы пакта Келлога не сочли нужным пойти по этому пути. Систематически саботируя какие бы то ни было разоружения и чувствуя на себе давление широких народных масс, искренне стремящихся к обеспечению длительного мира, они избрали другой путь, — путь юридических норм, запрещающих ведение войны. Для капиталистических государств, продолжающих непрерывно вооружаться, путь пакта Келлога оказался более удобным, чем путь последовательного разоружения. При своем заключении договор об отказе от войны создает иллюзию, что в деле борьбы за мир что-то сделано. Путем бешеной пропаганды печати создается соответствующая атмосфера, позволяющая на некоторое время отложить не только осуществление какого бы то ни было разоружения, но даже и самые разговоры о нем.

Из сказанного совершенно очевидно, что путь пакта Келлога не есть тот путь, который СССР считает правильным в деле борьбы за мир.

Текст пакта содержит в себе обязательство его участников отказаться от ведения войны, «как орудия национальной политики». Если бы это обязательство не сопровождалось никакими оговорками и ограничениями юридического эффекта, договор был бы исчерпан до конца. Однако, как мы указывали выше, инициаторы пакта сделали все для того, чтобы ограничить и без того слабое действие норм, запрещающих войну. Хотя оговорки, сделанные Францией и Англией, не вошли в самый текст пакта, однако они представляют собой формулировку того, как понимают основные участники свои обязательства, касающиеся всех прочих держав. В частности, мы уже цитировали оговорки Франции, касающиеся оборонительной войны, и военных действий, вытекающих из статута Лиги Наций, локарнского договора и, наконец, существующих договоров Франции с другими государствами. Достаточно остановиться лишь на первой из указанных оговорок для того, чтобы притти к заключению, что, например, война 1914—1918 г.г. с точки зрения французской оговорки могла бы не считаться нарушением пакта Келлога. Известно, что в этой войне не было нападающих сторон, а были лишь обороняющиеся. В данный момент более чем когда-либо чрезвычайно трудно найти отличительные признаки, характеризующие войну, как наступательную или оборонительную. Что же касается прочих оговорок Франции, то их сумма сводит к нулю обязательства отказа от войны, как орудия национальной политики.

Выше мы отмечали также основную оговорку, сделанную правительством Великобритании, и подчеркивали то обстоятельство, что эта оговорка может в любой момент превратить обязательства, взятые на себя Великобританией, в бессодержательную фразу. Совершенно очевидно, что, поскольку тот или другой участник пакта ограничивает свои обязательства по отношению к другим участникам, эти последние не преминут толковать эти свои обязательства так же ограничительно. Поскольку, например, Великобритания оставляет за собой свободу действий в ряде областей земного шара, не будет удивительно, если и прочие участники пакта, толкуя свои обязательства, станут на тот же путь, на который стала и Англия. В результате подобного толкования, как совершенно справедливо отмечает нота советского правительства, на земном шаре может не оказаться такого места, в отношении которого пакт мог бы иметь применение.

Наши соображения по вопросу о характере обязательств, вытекающих из пакта, к сожалению, не были приняты во внимание инициаторами пакта, которые не посчитались с выраженным правительством СССР желанием принять участие в выработке самого текста подписанного 27 августа договора. Вот почему правительство СССР не может, естественно, нести никакой ответственности за то, что этот текст не получил достаточной, недвусмысленной и категорической, формулировки. Нам этот текст был передан в готовом и законченном виде. Изменять или влиять в сторону какого-либо изменения текста мы не имели возможности. Тем не менее, само собой разумеется, правительство СССР не могло отказаться от того права, которое было предоставлено всем другим участникам пакта и которое в силу равноправия и суверенности всех участников договора принадлежит и СССР. Пользуясь, однако, этим правом, правительство СССР не пошло по пути, по которому пошли правительства Франции и Англии. Оговорки, сделанные нами, не только не уменьшают обязательств, вытекающих из пакта, но, наоборот, расширяют их. Таким образом, идея пакта Келлога в советских оговорках получила свое дальнейшее развитие и расширение.

Было бы сплошным лицемерием запрещать войну в формальном смысле этого слова и в то же время допускать, не считая нарушением пакта, фактическую войну, хотя бы не удовлетворяющую всем условиям, обозначенным в учебниках международного права.

Можно привести бесчисленное количество примеров из истории последнего времени, когда подлинные военные действия, несущие за собой все ужасы войны, формально войной не назывались. Так, вторая балканская война 1912 г. началась в атмосфере взаимных обвинений, клеветы и официальной лжи. Понадобилось около 40 тыс. человеческих жертв прежде, чем стороны официально признали, что между ними идет война, а не что-либо другое, при чем об'явление войны последовало через 4 месяца после первой стычки и через несколько — после генерального сражения. Государства, осуществлявшие в течение 1918—1920 г.г. интервенцию против советского государства, последнему, как известно, войны официально не об'являли. Борьба против национального правительства Турции в

1920—1922 г.г. велась великобританским правительством равным образом без формального объявления войны. Вся история империалистической борьбы в Китае, сопровождаемая бомбардировкой портов, высадкой иностранных войск и открытыми сражениями на территории Китая, никогда официально войной не называлась. Эти примеры можно было бы умножить. Однако и приведенных достаточно для того, чтобы считать обязательства пакта Келлога по отношению к войне в формальном значении этого слова недостаточными и требующими расширения.

Участники пакта Келлога, отказываясь от войны, обязуются разрешать возникающие между ними конфликты лишь мирными способами. Нота советского правительства совершенно справедливо указывает, что обязательной и естественной предпосылкой разрешения конфликта мирными способами является наличие нормальных дипломатических отношений между государствами. Вот почему то государство, которое отказывается от восстановления дипломатических отношений с каким-либо иным государством или имеет существующие с ним отношения, тем самым не выполняет своего обязательства разрешать конфликт мирными способами. Совершенно естественно, что отсутствие или разрыв дипломатических отношений ведет к чему угодно, но только не к мирному улажению конфликта. Сплошным лицемерием явится такое обязательство при наличии отказа от установления его основной предпосылки.

Вполне понятно, что СССР не может признать логичным и допустимым отказ от войны на ряду с разрешением ее применения на основе обязательств, вытекающих из пакта Лиги Наций и локарнских соглашений. Из того, что война будет происходить в соответствии с тем или иным параграфом устава Лиги Наций, ее ужасы для человечества будут не меньше, чем во всяком другом случае.

Таковы советские оговорки, не ограничивающие, а расширяющие действие пакта.

Делая эти оговорки, мы тем самым заявляем, как СССР понимает постановления пакта и к каковому пониманию он призывает всех остальных его участников.

Вскрывая недостатки и неполноту пакта, указывая на иллюзорность, внутреннюю противоречивость и недостаточность его постановлений, не только не сопровождаемых обязательствами по разоружению, но и вовсе не затрагивающих этого вопроса, мы, тем не менее, заявляем о своем присоединении к пакту. Это присоединение вытекает целиком и полностью из всех прежних заявлений правительства СССР, всегда утверждавшего, что оно готово использовать любую возможность, способную хотя бы и в минимальных размерах содействовать делу мира. Мы заявляли и заявляем, что самый пакт, как таковой, дело мира обеспечить не может, ибо его обязательства при наличии бешеного роста вооружений и учета всех ограничительных оговорок, сделанных его участниками, останутся мертвой буквой. Однако пакт Келлога, не будучи для нас самоцелью, как для его инициаторов, не заслоняя в наших глазах основной борьбы за разоружение, может и должен сделаться точкой приложения в дальнейшей борьбе советского

правительства за это единственное эффективное в данную эпоху средство избавления человечества от бремени милитаризма.

Мы смотрим на пакт Келлога не как на цель, а как на средство.

Для нас пакт Келлога не только не должен явиться тормозом в деле дальнейшей борьбы за разоружение, но, наоборот, должен послужить средством усиления и расширения этой борьбы.

Отклики мировой печати на ноту тов. Литвинова, извещавшую о решении правительства СССР присоединиться к пакту, не только не изменили, но, наоборот, укрепили правильность нашей постановки вопроса.

Не анализируя всего того, что мировая печать высказала за это время по поводу присоединения СССР к пакту, мы считаем нужным отметить несколько существенных моментов.

Совершенно бесспорным является со стороны всей печати признание огромного удельного веса СССР в вопросе обеспечения мира. Ни один орган буржуазной печати, включая наиболее враждебные СССР государства, не сумел уклониться от признания значения и роли СССР в этом основном вопросе внешней политики.

Приглашение СССР присоединиться к пакту оказалось вынужденным для инициаторов пакта под давлением общественного мнения широких масс обоих полушарий. Наше решение о присоединении, идя навстречу пожеланиям широких масс, ставит, действительно, обязательства инициаторов пакта по отношению к СССР под охрану и контроль этих масс. Именно этот момент, не высказываемый, само собой разумеется, открыто на столбцах буржуазной печати, показывает особое раздражение и недовольство ряда враждебно настроенных против нас государств. Совершенно очевидно, что факт присоединения СССР, накладывая на прочих участников пакта обязательство перед общественным мнением, лишает в некоторой, весьма ничтожной, правда, мере кое-кого из участников пакта той свободы действий по отношению к СССР, которую они так охотно хотели бы сохранить за собой. В этом ограничении свободы действий по отношению к СССР и лежит несомненно разгадка разглагольствования наиболее реакционных органов буржуазной печати на тему о наличии сильного противоречия между этим актом внешней политики СССР и принципами коммунизма. Эта подозрительная заботливость наших врагов о чистоте принципов коммунизма свидетельствует о нескрываемом раздражении вследствие того, что СССР, присоединяясь к пакту, несколько ограничивает аппетиты и намерения авторов антисоветских планов. Нам нечего останавливаться на вопросе о том, что позиция СССР по отношению к пакту и та недостаточность его обязательств, которые изложены в основной ноте советского правительства, несколько не колеблют ни общих основ внешней политики СССР, ни общих наших принципиальных взглядов.

Не питая никаких иллюзий относительно эффективности методов пакта Келлога, мы присоединились к нему для того, чтобы, указывая на недостаточность налагаемых им обязательств, требовать дальнейшего их расширения для действительного обеспечения мира. Как бы ни были малы обязательства, налагаемые пактом Келлога, мы и впредь не намерены

уклоняться от любого мероприятия, которое может хотя в самой минимальной степени уменьшить опасность войны.

Именно поэтому правительство СССР не в пример прочим участникам пакта не задержало ни своего решения, ни его оформления (ратификация присоединения СССР к пакту произошла 29 августа, т. е. в тот же день, когда правительством СССР было принято решение о присоединении к пакту).

Нам остается вновь повторить, что обязательства пакта могут сделаться эффективными для дела сохранения мира лишь в том случае, если они будут сопровождаться положительной и плодотворной работой в деле разоружения.

Пакт Келлога либо должен сопровождаться разоружением, либо он останется на бумаге.

V. После подписания пакта

Выше мы указывали, что в свое время инициаторы пакта Келлога интерпретировали идею пакта с двух точек зрения. Во-первых, они утверждают, что пакт Келлога явится универсальным средством, гарантирующим всеобщую безопасность. Эта точка зрения проводилась официально как на 5-й сессии Подготовительной Комиссии к Конференции по разоружению, так, равным образом, на 2-й и 3-й сессии Комитета Безопасности Лиги Наций. Именно эта точка зрения предопределила и другую, в силу которой положительные работы по разоружению откладывались до подписания пакта. По словам инициаторов пакта, он являлся гарантией безопасности, вместе с тем должен был послужить толчком для последующей работы в области разоружений. «На базе гарантий безопасности, даваемых пактом Келлога, можно принимать конкретные меры по вопросу о разоружении», — говорили инициаторы пакта.

Не успели еще высохнуть чернила на подписанном тексте пакта, как сами инициаторы и основные участники его поспешили вскрыть свое истинное отношение к этому документу. Лорд Кешендэн, чья подпись, вместо подписи большого Чемберлена, красуется на пакте, поспешил заявить в беседе с журналистом, что от пакта не следует ждать ни скорых, ни сенсационных последствий. Одновременно получено известие о том, что президент САСШ Кулидж намерен всемерно форсировать через конгресс новую гигантскую судостроительную программу. Если вспомнить, что эта программа была внесена в конгресс, примерно, полгода тому назад, когда САСШ необходимо было произвести впечатление на Англию, а затем незадолго перед подписанием пакта она была отложена обсуждением, то новая постановка ее теперь является чрезвычайно симптоматичным показателем. Последние известия говорят о том, что правительство САСШ решило поставить вопрос о ратификации пакта в сенате лишь после принятия сенатом новой программы морского судостроения, рассчитанной на постройку новых 15 быстроходных крейсеров.

Этот шаг Соединенных Штатов явился ответом на заключенное в момент подписания пакта Келлога англо-французское соглашение по во-

просу о вооружениях. Указанное соглашение является серьезной попыткой координации морских сил Англии и Франции против морской мощи САСШ. Общая конструкция этого соглашения заключается в том, что Англия добивалась сотрудничества с французским флотом ценой своих уступок Франции по вопросу о сухопутной армии. Политический смысл англо-французского соглашения заключается в том, что Англия, гарантируя свободу действий Франции по вопросу о континентальной сухопутной армии, тем самым гарантирует и неприкосновенность версальской системы. Наоборот, за эти уступки Великобритания получает сотрудничество французского флота в подготовляемой ею борьбе против САСШ.

Трудно пройти мимо политической важности и последствий подобного соглашения, дающих на ближайший период времени на арене империализма новую установку борющихся сил. В качестве первого результата англо-французского соглашения по вопросам как морских, так и сухопутных вооружений, явилась резолюция Пленума Лиги Наций от 22 сентября, в силу которой созыв как Конференции по разоружению, так и 6-й сессии подготовительной комиссии к этой Конференции, откладывается на неопределенное время.

Таково соотношение, которое установил пакт Келлога к вопросу о разоружении.

Борьба, которую Англия и Франция в момент подписания пакта Келлога подняли против САСШ, отражает собой контр-маневр, предпринятый этими государствами против той роли, которую Соединенные Штаты намерены играть именно в связи с подписанием пакта.

Данный нами выше анализ пакта не оставляет сомнения в том, что он представляет собой юридическое оформление зародыша новой международной организации, во главе которой становятся САСШ. Эта организация начинает открыто называться в противовес Лиге Наций всеми теми, у кого имеются основания быть недовольными Лигой. В этом смысле чрезвычайно характерна точка зрения известного германского политика, профессора Хетча, заявляющего, что «после подписания пакта Келлога должна быть создана новая Лига Наций, не связанная с Женевой и находящаяся под руководством Соединенных Штатов». В своих лекциях, прочитанных в САСШ, Хетч подчеркивал, что Германия именно потому приняла пакт Келлога без оговорок и ограничительных толкований, что рассматривает участие в пакте, как первый шаг к созданию новой международной организации.

Одновременно с тенденцией сделать пакт Келлога основанием новой международной организации, менее отчетливо проявилась и противоположная тенденция использовать этот пакт для фиксации существующих границ и систем существующих договоров.

Так, Бриан в своей речи, произнесенной при подписании договора, ясно указал, что французская политика гарантии, а равно системы арбитражных и региональных договоров, будет продолжена и впредь. При этом Бриан подчеркнул ограничительное, в духе французской политики, значение пакта, при чем ограничительный характер пакта явно касается того, что пакт не затрагивает французской системы договоров и вытекающих из них для Франции обязательств.

* * *

В тот момент, когда пишутся эти строки, к пакту Келлога присоединилось 52 (вместе с подписавшими) государства (в том числе и СССР). Некоторые из вновь присоединившихся к пакту государств равным образом сделали в акте присоединения свои оговорки. Такие оговорки сделали Литва и Турция. С другой стороны, Центральный Комитет египетской национальной партии «Вафд», возглавлявший конституционное правительство Египта, свергнутое последним переворотом, обратился к державам, подписавшим пакт, с особой нотой протеста против оговорок, сделанных Англией в п. 10 великобританской ноты.

Литовское правительство передало через посредство своего посланника в Берне американскому посланнику Вильсону ноту, в которой Литва заявляет о своем присоединении к пакту Келлога. Эта нота вручена 6 сентября, т. е. в тот же день, что и акт формального присоединения СССР. Литовская нота содержит в себе заявление о том, что, независимо от обязательств пакта Келлога, Литва и впредь будет поддерживать свои претензии по вопросу о Вильно. Таким образом, можно считать, что литовское правительство выделило вопрос о Вильно из действия обязательств пакта. Исходя из того же, что и правительство Великобритании, которое, согласно п. 10 своей ноты, оставило за собой свободу действий в ряде областей земного шара, литовское правительство оставило за собой свободу действий в виленском вопросе.

Ответ Турции на приглашение присоединиться к пакту Келлога был передан равным образом 6 сентября 1928 г. Прежде всего, турецкое правительство в своем ответе заявляет, что оно не считает себя связанным теми документами, которые не были представлены на общую подпись участников пакта. Таким образом, турецкое правительство решительно возражает против какой бы то ни было обязательной силы оговорок, сделанных к пакту Англией и Францией. Однако, с другой стороны, турецкое правительство в той же ноте заявляет, что обязательства, которые Турция приняла в своих договорах о нейтралитете (в частности, в договоре с СССР), остаются для Турции непоколебимыми.

Что касается Персии, то, независимо от ее присоединения к пакту, персидская печать подвергла его весьма резкой критике. В особенности серьезную и ожесточенную критику со стороны персидской печати встретила оговорка Англии, сделанная в п. 10 английской ноты. Персидская печать стоит на той точке зрения, что и английская оговорка в частности исключает из сферы действия пакта зону Персидского залива. Именно это обстоятельство вызвало наибольшее ожесточение со стороны Персии.

Эта же английская оговорка встретила, как мы указывали выше, формальный протест со стороны Центрального Комитета египетской партии «Вафд». Государствам, подписавшим пакт Келлога, были разосланы 14 августа 1928 г. две ноты. Одна из них была подписана Нахас-паншой, председателем Комитета «Вафд» и бывшим председателем совета министров Египта. Дру-

гая была подписана председателями палаты депутатов и сената Египта, учреждений, распущенных во время переворота. В первой ноте приводится п. 10 английской ноты, после чего идет следующее разъяснение: «Комментарии, которые были сделаны в английской прессе, и косвенные объяснения, данные в палате депутатов, позволяют предположить, что Египет в глазах британского правительства составляет часть тех областей, по отношению к которым Великобритания претендует сохранить полную и бесконтрольную свободу действий». Поскольку это так, Египет считает необходимым немедленно заявить абсолютный протест по отношению к каким бы то ни было договорам, которые нарушают его права. То же самое повторяется и во второй ноте.

На этом заканчиваются — в настоящий момент — документы, касающиеся пакта Келлога. Нет никакого сомнения, что новое обсуждение пакта начнется в тот момент, когда основные державы, подписавшие его 27 августа, приступят к его ратификации. Наиболее серьезные дебаты, касающиеся пакта, можно ожидать со стороны американского сената.

30 лет Художественного театра

Н. ВОЛКОВ

I

Девятнадцатый век угасал в сомнениях и противоречиях. Ломались и навсегда уходили в прошлое усадебный быт и дворянская культура, помещичье раздолье. 90-е годы рисуются временем двойного значения. С одной стороны, это — концы, с другой — начала. Самодержавие российское теряло под ногами почву, «белая кость» тускнела и вырождалась. На историческую авансцену выходила промышленная буржуазия, а за кулисами уже ждал своего скорого выхода рабочий класс. Интеллигенция, вобравшая в себя выходцев из различных слоев общества, выдвигала новые идеалы и формулы во всех областях искусства и жизни.

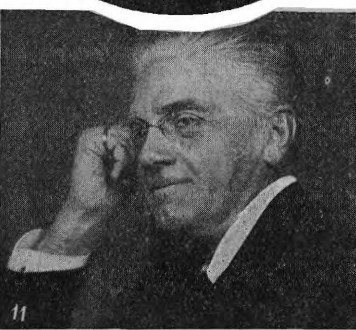
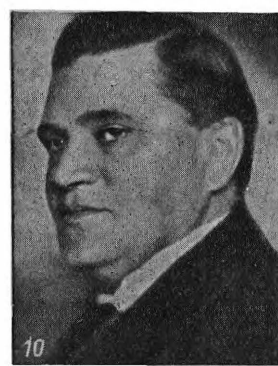
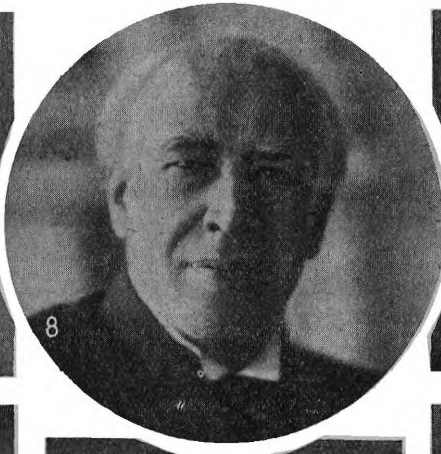
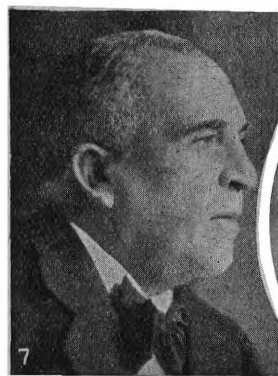
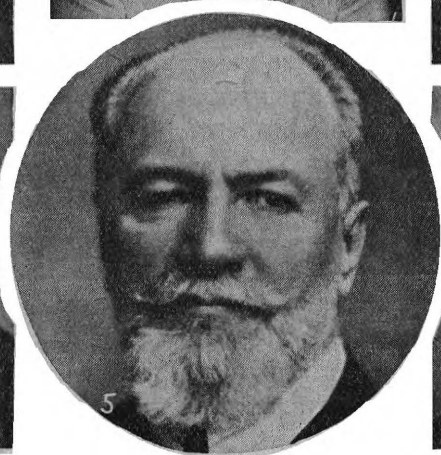
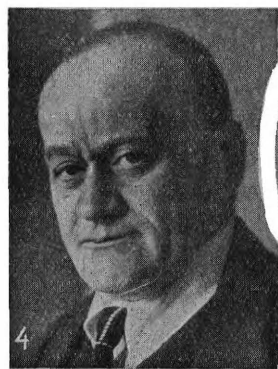
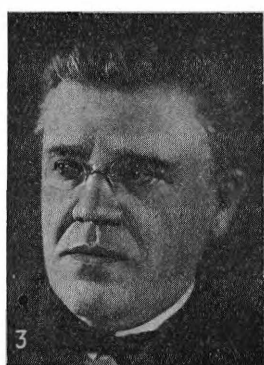
В литературе поднимался символизм, в живописи слагался «Мир Искусства», в музыке зрели звукосозерцания Скрябина, в политике и общественной жизни возникали новые группировки, раскрывался русский марксизм, Ленин писал свои первые работы, слагался будущий «пятый год».

Все предвещало, что и в области театра произойдут какие-то решительные сдвиги и перемены. В плане индивидуальной биографии Художественного театра мы найдем немало удачных совпадений и встреч, сложивших скоро мощный организм замечательного сценического коллектива. В плане же исторического хода вещей мы знаем, что новый театр должен был появиться неизбежно, ибо налицо были все предпосылки к этому и в недрах самого театрального искусства и в окружающей переломной эпохе, о которой я говорил выше.

Для того, чтобы понять это, вспомним, что представлял русский театр в конце 90-х годов. Вот несколько черт из сезонов, непосредственно предшествовавших году рождения Художественного театра.

В сезон 1896—97 г. в Москве играло пять драматических трупп: Малый театр, Корш, труппы антрепренеров Бельского и Черепанова и пятая, любительская «труппа» Станиславского — «О-во искусства и литературы».

Первое место занимал Малый театр. Но что он ставил? Вот список пьес этого сезона: Аэнве — «По разным дорогам», Н. А. Борисов — «Кумир», Л. Г. Жданов — «В северной глуши», И. В. Шпажинский — «Грех попутал»,



1. Народный артист В. И. Качалов. 2. Заслуж. артистка О. Л. Книппер-Чехова. 3. Нар. арт. И. М. Москвин. 4. Засл. арт. Л. М. Леонидов. 5. Нар. арт. В. И. Немирович-Данченко. 6. Засл. арт. Е. М. Раевская. 7. Заслуж. арт. А. Л. Вишневский. 8. Нар. арт. К. С. Станиславский. 9. Засл. арт. В. Ф. Гринуин. 10. Засл. арт. М. М. Тарханов. 11. Засл. арт. В. В. Лужский. 12. Засл. арт. М. П. Дялова.

П. Д. Боборыкин — «Своя рука владыка», Гославский — «Подорожник», В. А. Крылов — «Кому весело живется», П. И. Невежин — «Выше судьбы», В. А. Александров — «В новой семье». Единственно, что на этом фоне выделялось своей серьезностью и литературностью, это была пьеса Немировича-Данченко «Цена жизни». Все же остальное... было поглощено — и безвозвратно! — временем. Недаром один из лучших критиков того времени В. Преображенский писал: «Малый театр с невозмутимым спокойствием ставит одно за другим мертворожденные произведения отечественных присяжных драматургов, из которых разве одно-два переживет полсезона, да и то только потому, что большинство ходит смотреть не пьесу, а актеров». И так же тускло и даже еще сумрачнее было в театрах Черепанова, Бельского, Корша. Лишь в Охотничьем клубе, где играл кружок Станиславского, да в Филармоническом училище, где готовились к театру ученики Немировича-Данченко, накапливались силы будущего Художественного театра.

Затхлость репертуара, обветшалость режиссерских приемов, упадок актерской культуры сознавали лучшие театральные люди того времени. На историческом съезде сценических деятелей (первом всероссийском), созванном русским театральным обществом и открывшемся 9 марта 1897 г., раздался громкий голос великого артиста А. П. Ленского, прочитавшего доклад на тему «Причины упадка театрального дела».

Ленский категорически утверждал, что падение театра в смысле материального благосостояния артистов находится в прямой зависимости от его падения в смысле художественном, которое, в свою очередь, обуславливается безвкусным репертуаром и небрежным отношением самих артистов к своему делу. Весь же успех театрального дела, — говорил Ленский, — зиждется на стройной интерпретации истинно-художественных произведений драматической литературы. И Ленский указывал выход: нужно делать ставку не на таланты, а на образованность. Только образованные труженики сцены и такие же руководители, т. е. режиссеры, выведут театр из тупика и помогут вновь соорудить мост между обществом и театром.

Гораздо раньше, чем прозвучал голос Ленского, на ту же тему высказался А. П. Чехов. Возьмите его «Чайку», прислушайтесь к словам Треплева, и вы почувствуете ту же боль за русский театр и то же чаяние новой сцены. «Нужны новые формы, — говорит Треплев, — новые формы нужны, а если их нет, ничего не нужно». И в другом месте: «Современный театр, это — рутина, предрассудок». Так, хотя и другими словами, но Чехов устами Треплева говорил то же, что говорил гневно Ленский перед лицом актерского парламента.

Сознание, что русский театр зашел в тупик, было еще более горьким и обидным, потому что на Западе — во Франции и Германии — шло определенное театральное брожение. В маленьком герцогстве Саксен-Мейнингенском, в Париже в театре Антуана делались попытки обновить театр новыми режиссерскими приемами, влить в кровеносные сосуды театра, охваченного склерозом, алую кровь еще свежего и революционно звучащего натурализма.

Когда мейнингенцы приехали в начале 90-х годов в Москву и Петербург, то, разумеется, их приезд не мог остаться бесследным. Из воспоминаний

наний К. С. Станиславского мы знаем, какое громадное впечатление произвели на него эти стройные сценические картины, где каждая деталь, каждый штрих,—все шло на потребу целого, где при помощи трагедий Шекспира и Шиллера на сцене воскрешались былые эпохи и исчезнувшие столетия.

Новый русский театр должен был родиться, и он и возник в лице Московского Художественного театра (в начале Художественно-Общедоступного), как союз двух групп молодежи, руководимых Вл. И. Немировичем-Данченко и К. С. Станиславским. Ученики драматических классов Филармонии и любители из «О-ва искусства и литературы» — вот чьи имена должны стоять в списке создателей и деятелей не только Художественного театра, но и всего современного театрального искусства.

II

За последние годы мы много праздновали юбилеев театров: пятилетних, десятилетних, столетних. Московский Художественный театр празднует свой 30-летний юбилей. Эта дата окрашена в особый цвет. 30 лет в жизни непрерывно действующего театра. Это осень и зима для тех, кто начинал свой театральный путь вместе с ним, и в то же время это театр не славных призраков, а живых деятелей. Когда в Малом театре на 100-летнем юбилее звучали имена Щепкина, Самарина, Мочалова,—то это была уже легенда театра, а не его сегодняшней день. А когда в день юбилея на сцене Художественного театра появится фаланга его основоположников во главе с К. С. Станиславским и Вл. И. Немировичем-Данченко,—мы будем думать не только об итогах 30 лет, но и о завтрашнем дне театра. Еще живут и действуют, еще работают и ищут, еще трудятся и творят те, кто в 1898 г. были молодыми и юными, кто волновался первым сценическим волнением и в первый раз накладывал румяна и белила своего грима на свои нетронутые временем лица.

И еще: что такое вообще юбилей театра в отличие от юбилея всякого индивидуального деятеля искусства? Вот писатель празднует свое тридцатилетие. Он подошел к полке своей библиотеки. И перед ним ровной шеренгой выстроились написанные им книги. Вот живописец или скульптур, меланхолически осматривающие свои картины, статуи или рисунки, собранные на его юбилейной выставке. Вот композитор, ставящий новый номер opus'a на последнем своем произведении и слышащий внутренним слухом, как звучат все мелодии и темы созданных им за 30 лет его творческой жизни сонат, симфоний, романсов, опер. И биограф этих художников знает, что если он разложит в хронологические ряды все эти книги, стихи, картины, симфонии и рисунки, то путем сличения, сравнения он узнает и потом расскажет, чем жил тот или иной художник внутренне, что волновало его в окружающей жизни, как менялись приемы его изобразительности и черты стиля.

Но вот театр — коллективный творец, вобравший в себя отдельные усилия самых различных людей, являющийся в каждый момент своей жизни равнодействующей многих творческих жестов, — как нарисовать его портрет, как учесть его значение, какой формулой обнять его итог?

III

Необычным было тридцатилетие 1898—1928 гг., в которое жил и работал Художественный театр, и потому непросто и непокойно протекала его жизнь. Общественные кризисы, войны и революции—все это находило отражение в зеркале его театра, все это меняло иной раз русло, по которому текли глубокие и быстрые воды искусства.

Но всякий раз, когда шла ломка и рубка леса, и летели в разные стороны щепы, театр искал связи с передовой современностью, но не уклонялся от общественного служения, он своими средствами и ему доступными методами стремился выразить то, что накоплялось на сердце общества. Вот почему в самый канун тридцатилетия появился в его репертуаре ивановский «Бронепозд», как в дни 1905 года стояла на его афише премьера горьковской пьесы «Дети солнца». С начала Октябрьской революции Художественный театр один из первых стал давать общедоступные спектакли в театре Моссовета, он выезжал в районы, и там в суровые и холодные времена помногу раз играл горьковскую «На дне» — одну из любимых пьес рабочего зрителя.

Это не беда, что Художественный театр, возникший как Художественно-Общедоступный театр, скоро зачеркнул слово «общедоступный» и стал просто театром Художественным. Важно, что в зерне, в замысле, в часе своего зарождения Художественный театр возникал не как театр замкнутого в себе искания, а как театр широко распахнутых дверей, как кафедра, с которой актер и автор могли бы говорить с «народом». И если в силу бытовых условий в театре в различные времена создавался особый абонементный зал, то все равно в скромном здании Камергерского переулка находили себе место и люди тощих кошельков — студенты, рабочие, средняя интеллигенция. Так, став театром художественным, он все же остался и театром общедоступным. И слава о нем шумела по всем весям русской земли. И не раз где-нибудь в Туруханском крае ссыльные революционеры, передвигая на шахматной доске фигуры пешек и коней, благодарно вспоминали и горьковскую романтику «Дна» и музыку чеховских пьес.

Велики заслуги Художественного театра и в области репертуара. Если в Малом театре 90-х годов шла всякая литературная шелуха, то в Художественном театре литературные требования всегда были ригористичны и взыскательны. Просмотрите список сыгранных за 30 лет Художественным театром пьес и вы только около немногих поставите сомнительный знак вопроса, а все остальные вами будут приняты, потому что они оправданы и по линии искусства и по линии созвучия тому времени, когда они шли.

Излишне повторять что Художественный театр спас, как драматурга, А. П. Чехова, что в области истолкования чеховских пьес он является непревзойденным художником. Важно не это, а то, что театр всегда давал толчок к драматическому творчеству русским писателям, маня их и подталкивая к театру. Художественный театр возбудил в М. Горьком охоту к театру, он пошел навстречу Леониду Андрееву, и если в наши дни вырастет в большого драматурга Всеволод Иванов, то и здесь «крестным отцом» будет Художественный театр.

Следя за русской литературой, Художественный театр следил и за западной. Гауптман, Ибсен, Гамсун, Метерлинк перемежались на его подмостках с пьесами Чехова, Андреева, Горького, с классиками русскими и мировыми. Для Художественного театра общение с автором, т. е. постановка пьес, никогда не было просто репертуарной проблемой. Для него это было всегда исходом каких-то внутри коллектива накопившихся переживаний и дум. И когда в репертуаре его появлялись классики (Гоголь, Грибоедов, Тургенев, Л. и А. Толстые, Щедрин, Шекспир, Гольдони или Мольер), всегда с этой пьесой, на этой пьесе разрешалось или «запутывалось» какое-то сомнение, ставился на очередь какой-то или чисто художественный или идейный вопрос. Так в атмосфере творческой тревоги был сыгран когда-то и спектакль Метерлинка, и «Гамлет», и цикл инсценировок Достоевского, и «Пушкинский спектакль», и «Каин». Все было по-своему не просто в этом большом коллективном художнике, и не раз существенные кризисы и даже разногласия перечерчивали путь театра. Но эти разногласия были нужны, ибо Художественный театр был сделан не из стекла, а из булата. И тяжкий млат противоречий и ковал булат его искусства.

В недрах Художественного театра и в студиях, от него пошедших, сложилась и выросла та система сценической игры, которая в просторечии зовется ситемой Станиславского. Я не знаю, все ли актеры играют по этой системе, но все мы знаем, что воздух этой системы и самый факт ее существования всем актерам Художественного театра придает особый оттенок. Различны числители дарований, культурности у разных актеров, но общий знаменатель связывает их в единый ансамбль. Актеры, чуждые духу Художественного театра, или скоро уходят из него или «входят в семью», если умеют вновь расплавить и переплавить свое «я». Те же, кто сживается с театром, приобретает неуловимый отпечаток, по которому отличаешь игру актеров Художественного театра от игры актеров многих других театров.

Режиссерская эстетика Художественного театра менялась с годами. Но в основе ее оставалась неизменно какая-то жажда подлинной жизни. Художественный театр — театр, жадный до подлинной жизни. Ему мало той Москвы, какую он видел вокруг себя на протяжении 30 лет своей жизни, ему мало тех людей, с какими он встречался на путях своих. Нет, Художественный театр стремился проникнуть в другие эпохи, в другие века: сегодня дышать воздухом Рима, завтра — грибоедовской Москвы, послезавтра — хлестаковской гостиницы или тургеневской усадьбы. Венеция Шейлока, гостиница Мирандолини, боярские и царские терема Федора, — во всем этом хотел побывать неутомимый театр. Те, кто видят в Художественном театре только выразителя настроений русской интеллигенции, ошибаются, ибо гораздо сложнее и гораздо красочнее ковер его режиссерских исканий.

В этом правдолюбии своем Художественный театр нередко заходил в тупик, ибо его методы воскрешения и воссоздания жизни вступали в непререкаемое противоречие с разными стилями и жизненчувствованиями ставимых авторов. Да, конечно, «Юлий Цезарь» — трагедия из римской жизни. Но «рим-

скую» ли жизнь рисовал Шекспир, пользуясь тогами и плащами римских сенаторов? Да, в «Ревизоре» — на сцене уездное чиновничество, тридцатые годы, — но только ли уездное чиновничество изображал Гоголь и так ли уж до конца житейски реальны гоголевские персонажи? И были минуты, когда Художественный театр сознавал необходимость пересмотра своих навыков и приемов, и тогда возникали такие постановки, как «Драма жизни», или вокруг метрополии создавались студийные колонии, где легче было осуществлять право на эксперимент.

Тяга к условному театру безусловно во многом диалектична тяге к театру натуральному. И если Художественный театр в большинстве случаев своей жизни утверждал тезис натурального театра, то он же дал толчок и антитезису театра условного. Не забудем, что главный вождь условного театра, В. Мейерхольд, начал свою сценическую дорогу как актер Художественного театра, и оттого, что он в течение первых четырех лет своей сценической жизни был в атмосфере Художественного театра — он и смог легче утвердить свой антитезис условного. Он знал тот берег, от которого он плывет, и это помогло найти ему и другой берег. 30 лет Художественного театра и 30 лет Мейерхольда (кстати, совпадающего в юбилейной дате) — это не только тема личных противопоставлений, но тема о характере диалектического развития русского театра за последние 30 лет.

В своих режиссерских исканиях Художественный театр опирался главным образом на труды К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко, но театр искал союзников и на стороне — и среди режиссеров и среди художников. Когда театр узнал от Айседоры Дункан о существовании талантливого режиссера-художника и экспериментатора Гордона Крэга, то он не замедлил пригласить его для постановки «Гамлета». Когда театр увидел, что нельзя больше показывать свои спектакли в декорациях своего первого художника В. А. Симова, — он сблизился с группой живописцев «Мира Искусства» (Добужинский, Бенуа, Рерих, Кустодиев), и в трех постановках пользовался режиссерской работой Александра Бенуа. Когда, наконец, в 1905 году Станиславский увидел необходимость изобретения новых режиссерских форм, он пригласил Мейерхольда и создал «Театр-Студию», который, несмотря на то, что не открыл своих дверей, оказался очагом новых сценических исканий. Художественный театр умел прислушиваться к веяниям искусства и времени. И ветры, дующие в просторах русских долин и мировых городов, не раз заставляли по-новому звенеть стекла старого здания.

Так во всех областях театральной культуры — в области репертуара, сценического искусства, в области режиссуры и декоративного оформления, — во всех этих областях непререкаемо и велико значение Художественного театра. Глубоки борозды, проведенные его плугом, много жатв созрело и сжато на его полях. История современного русского театра начинается историей Художественного театра; его бытие во многом облегчило рост революционных сцен и рождение новой драматургии. Вот почему не только «итоги», но и перспективы, вот почему не только «конец», но и «продолжение».

IV

Еще несколько лирических заключительных слов...

... Бегут, звеня и шумя, трамваи по московским улицам куда-нибудь из Дорогомилова в Сокольники; шумит новым шумом старая Москва; на углу Газетного переуллка выросло гигантское здание телеграфа. Давно уже дом генерал-губернатора стал Моссоветом, и на скверах и бульварах играют и рожутся в песке мальчонки и девчонки, «не видевшие городского».

Но попрежнему любит новая Москва свой Художественный театр и ждет его новых постановок и стремится на его прежние спектакли. И сам театр в лице своей старой гвардии следит с радостью, как обновляется его театральный организм «детьми» и «внуками». И когда в «Бронепоезде» около Качалова—Вершинина вьется легким вьюном Баталов—Васька Окорок, зритель говорит: «Вот вам не пропасть, а мост между отцами и детьми, вот вам не вчера и завтра, а «сегодня» театра». И еще знаем мы твердо, что вензель «МХТ» нужно читать не только «Московский Художественный Театр», а и «Мировой Художественный Театр», ибо давно слава и влияние Художественного театра перешли все моря и границы, и от Японии до Соединенных Штатов знают и ценят тот великий театр, что скромно стоит в бывшем Камергерском переулке.

Как начинался МХАТ

Из воспоминаний

Заслуженный артист А. Л. ВИШНЕВСКИЙ

I

В Таганроге я был с семейством Чеховых. Иван Павлович (младший, впоследствии учитель) был моим одноклассником. Мы с ним сидели на одной парте. Антон Павлович был на год или на два старше. Самый старший из братьев, Александр Павлович (отец М. А. Чехова¹), впоследствии писатель А. Седой), был моим репетитором.

Александр Павлович жил в квартире директора Рейтлингера. Он был домашним репетитором его сына. Директор преподавал латинский язык, и мы часто прибегали к содействию Александра Павловича, чтобы разведать заранее экзаменационную тему или, в случае грозных «экстемпоралей», выкрасть с его помощью из директорского кабинета классную работу, подменив ее написанной дома.

Чудаческие черты таганрогских учителей нашли себе применение в произведениях Антона Павловича. Позднее, играя Кулыгина в «Трех сестрах», я как-то спросил Антона Павловича, зачем это нужно, чтобы Кулыгин в последнем акте являлся со сбритыми усами.

— Послушайте, — отвечал Антон Павлович, — вы же помните Виноградова.

Тогда я сразу сообразил, в чем дело. Виноградов, Василий Ксенофонович, преподавал, как и Кулыгин, латинский и русский языки. Он носил бородку и усы. И вдруг приходит в класс со сбритыми усами. Это вызвало среди учеников большой переполох. На перемене оживленно толковали об этом происшествии, высказывали различные предположения. Явился к нам Антон Павлович и весело сообщил: «Сейчас артист Соловцов увез жену нашего гимназического учителя Старова, а Виноградов назначен инспектором, получил Станислава; послушайте же (у него и тогда уже была эта манера говорить), послушайте, ведь есть же приказ».

Действительно, так оно и оказалось. Антон Павлович умел и тогда подмечать комические черточки обывательщины.

Помню тогдашний внешний облик Чехова: несходившийся по бортам гимназический мундир и какого-нибудь неожиданного цвета брюки. От начальства ему постоянно влетало за несоблюдение формы, но он упорствовал в своих вольностях.

¹) Артиста МХАТ'а 2.

— Чехов, будете в карцере! — пригрозил ему как-то директор, увидев его в клетчатых панталонах.

— Да у меня ж брюки украли, — убедительно оправдывался Чехов. Я потом спросил у него, вправду ли у него украли брюки.

— Да ну его! — отвечал он. — Конечно, выдумал, чтоб только отстал...

Другой раз директор потребовал, чтобы Чехов носил ранец, как полагается, на спине, а не под мышкой.

— Я от него удержу в Австралию, — говорил мне по этому поводу Чехов.

Изводить всякого рода начальство любил и Александр Павлович. Он отчего-то особенно преследовал полицмейстера. Встречая его в театре где-нибудь в курилке,



А. П. Чехов

Все Чеховы увлекались театром — и особенно Антон Павлович. Бывало, он перед спектаклем собирал нас и растолковывал нам содержание пьесы, которую нам предстояло смотреть. А на другой день происходили дебаты в товарищеском кружке по поводу виденного. Меня и тогда поражало тонкое артистическое чутье Антона Павловича.

Много у нас оказалось общих воспоминаний, гимназических и театральных, потом, когда мы снова сошлись с Антоном Павловичем в Художественном театре. После «Чайки» он подарил мне вместе с экземпляром своих пьес и свою фотографию с загадочной для всех, кроме нас двоих, надписью: «Другу детства, милому человеку, великолепному Дорну (моя роль в «Чайке»), замляку и однокашнику, современнику Петрарки и Жоржа, ныне талантливому и уважаемому артисту, Александру Леонидовичу Вишневному, на добрую память от автора и ученика таганрогской гимназии А. Чехова». Никто, кроме меня, не мог бы расшифровать значение имен «Петрарки» и «Жоржа». А дело объяснялось просто. Петрарки был наш приятель, машинист городского театра в Таганроге, когда-то устраивавший нас (меня, Антона Павловича и П. А. Сергеевко) бесплатно в раек (так

он становился незаметно у него за спиной и каким-то особенным образом рыгал. А когда тот поворачивался, принимал самый невинный вид. Полицмейстер сердился, но ничего не мог поделать с молодым человеком в штатском, который спокойно курил (по будням гимназистам не разрешалось ходить в театр, и потому они переодевались в штатское).

называлась у нас галерея). А Жорж — это театральный афишер, которого мы с нетерпением ожидали на большой перемене в гимназии, чтобы узнать репертуар на ближайшие дни. Когда он появлялся, мы от восторга принимались его качать.

Антон Павлович до конца жизни помнил Таганрог и часто говорил мне в шутку:

— Послушайте, ведь Таганрог — это же первый город. Все талантливые люди из Таганрога.

II

Последний год перед Художественным театром я был в поездке с артистической императорских театров Г. Н. Федотовой. Мы объездили все города России, побывали и в Сибири. Я много играл, имел успех, обо мне писали, но я не увлекался похвалами и испытывал какую-то неудовлетворенность. Я часто говорил об этом с Г. Н. Федотовой. Мне казалось, что надо работать иначе, что то, что мы делаем, это не настоящая работа. Особенно мучила меня скоропалительность, с какой приходилось ставить спектакль и разучивать роли. Играя с Федотовой, я по мере возможности старался сам следить за собой и исправлять свои недостатки. Но отделку роли никогда не удавалось доводить до конца. Мне хотелось медленной, систематической, спокойной работы. Я мечтал о режиссере, который помог бы мне, показал, научил.

Счастливая случайность осуществила мои желания. В Москве я посещал кое-какие спектакли «Общества искусства и литературы», видел изумительную работу К. С. Станиславского с актерами и тогда уже понял, что это именно тот режиссер, который мне нужен. Потом я услышал, что Станиславский и Влад. Ив. Немирович-Данченко затевают свой театр. И мне думалось: вот бы попасть к ним!

Летом 1898 года я был с Г. Н. Федотовой в Екатеринославе. Неожиданно приезжает туда Влад. Иван. Немирович-Данченко — специально с целью меня смотреть. В Пушкине шли тогда репетиции «Царя Федора Иоанновича». На роль Бориса Годунова испробовали нескольких исполнителей, но с ними что-то не ладилось. Решили обратиться ко мне.

— Принципиально вы согласны? — спросил Немирович.

— Да, я согласился бы, имея в виду перспективы, которые вы рисуете, — отвечал я.

— Ну, а как же, ведь жалованье-то у нас небольшое?

Но о жалованьи я мало беспокоился. Меня привлекало то, что сезон открывается никогда еще неигранной комедией Ал. Толстого, только что освобожденной, благодаря хлопотам Вл. Ив. Немировича-Данченко и А. С. Суворина, от тяготевшего над нею цензурного запрета (Суворин хлопотал о ее постановке для своего театра в Петербурге). Конечно, для меня было в высшей степени соблазнительно выступить в совершенно новой, никем еще неиспользованной роли Бориса, да еще служить в Москве, в культурной обстановке. В конце концов я заявил Владимиру Ивановичу:

— Хорошо, пойду к вам, если вы сообщите мне окончательное решение за месяц до начала сезона, чтобы мне быть чистым перед моим антрепренером.

Вскоре пришла телеграмма за подписью Станиславского и Немировича: «Мы вас очень просим отказаться от Нижнего и поступить к нам».

Жалованья мне было назначено только 150 рублей в месяц, но и это по бюджету театра считалось много, так как другие — Книппер, Москвин, Мейерхольд — получали только по 75 рублей. Нижегородскому антрепренеру была уплачена неустойка, — и 15 июля 1898 г. я приехал в Пушкино, имение Н. Н. Архипова, где шли репетиции «Царя Федора». Роль Федора была поручена Москвину, а роль Бориса — мне.

III

Необходимо сделать небольшое отступление, чтобы рассказать о том, что мне известно из бесконечных бесед с К. С. Станиславским и В. И. Немировичем-Данченко о начале Художественного театра.

22 июня 1897 года, — за год до моего приезда в Пушкино, — в кабинете московского ресторана «Славянский Базар» сидели двое: первый — Константин Сергеевич Алексеев, по сцене Станиславский, один из вдохновителей «Общества искусства и литературы»; второй — известный драматург Владимир Иванович Немирович-Данченко, преподаватель драматических курсов московской Филармонии, ставивший пьесы на Малом театре.

Разговор, занявший 18 часов, шел о театре.

Из двух встретившихся один тосковал по иной режиссуре, другой — по иному репертуару. Станиславский мечтал о каком-то новом приложении мейнингенства, Немирович-Данченко — об осуществлении на сцене Ибсена и Чехова.

Надо отметить, что тогда, на заре нового театра, Станиславский не вполне разделял репертуарные увлечения Немировича-Данченко. И высшая любовь последнего, Чехов, была первому непонятна.

— «Чайка?» Да разве можно это играть? Я ничего не понимаю, — так отвечал Станиславский своему союзнику.

В течение двух недель по несколько часов сряду старался Владимир Иванович обратить Станиславского в чеховскую веру, и все же уехал Константин Сергеевич, до конца не приняв своим сердцем все еще чуждую ему «Чайку». Но вот поразительный пример режиссерской интуиции Станиславского: оставаясь все еще равнодушным к Чехову, он присылал такой богатый, полный оригинальности и глубины материал для постановки «Чайки», что Немирович-Данченко приходил в восторг.

В течение года Станиславский и Немирович-Данченко разрабатывали план театра, его репертуар, его строй.

Цели, которые ставил себе новый театр, были следующие: во-первых, дать возможность трудовой интеллигенции иметь дешевые и удобные места в театре; во-вторых, создать новое сценическое искусство, свободное от рутин; в-третьих, обеспечить возможность развиваться молодым силам, получившим сценическое театральное образование.

Задумав сделать свой театр сразу общественным учреждением и полагая, что никто не может быть более заинтересован в успехе подобного предприятия, чем город, инициаторы обратились прежде всего в московскую городскую думу с ходатайством о принятии проектируемого ими театра в ведение города или о назначении ему, по крайней мере, некоторой субсидии. Вопрос этот так и остался в думе открытым, а учредителям нельзя было ждать, и пришлось искать других источников.

Немирович-Данченко и Станиславский решили объездить несколько богатых москвичей, в которых надеялись встретить сочувствие своему плану. Капиталу набралось 25—27 тыс. рублей. Стали составлять труппу. Главное зерно составили, с одной стороны, члены «Общества искусства и литературы», в числе которых были М. П. Лилина, М. Ф. Андреева, М. А. Самарова, В. В. Лужский, А. Р. Артем, А. А. Санин, Г. С. Бурджалов, Н. Г. Александров, а с другой стороны—ученики Немировича-Данченко по Филармонии: О. Л. Книппер, М. Г. Савицкая, И. М. Москвин, В. Э. Мейерхольд и др. Это было зерно, но труппа была неполна. Кроме того, были приглашены в труппу актеры, уже имевшие известную сценическую репутацию: М. Е. Дарский и я. Потом стали думать, в каком из свободных московских театров устроиться. Выбор остановился на театре «Парадиз» («Интернациональном»). Уже все было договорено. Станиславский и Немирович-Данченко поехали подписывать условие. Но по дороге, на извозчике, вдруг взяло их сомнение, годится ли этот театр.

— Мы остановились, — рассказывал мне Немирович-Данченко, — слезли с извозчика и, стоя на улице, стали обсуждать. Тут же решили в «Парадиз» не ехать, а отправились в Каретный ряд к Щукину.

IV

В Пушкине, при даче Н. Н. Архипова (впоследствии режиссера Арбатова), был небольшой сарай, который был нам предоставлен для репетиций. Он был превращен в скромненький, но милый, уютный репетиционный театр. Этот сарай — истинная колыбель Художественного театра. Она была открыта 14 июля, за месяц до моего приезда.

Лето было страшно жаркое, крыша у театратора — железная. Но актеры почти не выходили из него. Репетиции начинались в полдень, продолжались до четырех, возобновлялись в 7 час. и затягивались до полуночи. Нередко шли параллельно две репетиции: одна на сцене театратора, а другая где-нибудь в лесу или в поле.

Станиславский жил в десяти верстах, в имении своих родных, и приезжал каждый день. Владимир Иванович в первое время исключительно занимался со своим бывшим учеником по Филармонии Москвиным. Тот трогательный образ «слабого царя», который создан артистом, принадлежит толкованию Владимира Ивановича. Со всеми остальными исполнителями работал Константин Сергеевич. Народные сцены налаживал А. А. Санин. В Ивановке художником В. А. Симовым писались декорации и делалась бутафория. В Любимовке, на даче Константина Сергеевича, М. П. Лилина

и М. П. Григорьева с помощниками вышивали великолепные боярские воротники и головные уборы. Художник Я. И. Гремиславский готовил галерею характерных боярских гримов.

Работа кипела, энергичная, дружная. Никто ничем не гнушался. Будущие премьеры ставили самовары, мыли полы, плотничали, малярничали. Все были в радостном возбуждении — даже исполнители маленьких бессловесных ролей. Тогда у нас было такое правило, что выходные роли исполнялись всеми незанятыми в пьесе актерами. Сознание, что мы все делаем одно большое художественное дело, воодушевляло всех нас.

Газеты издевались над нашими руководителями, которые пытались с кучкой учеников, любителей и провинциальных актеров конкурировать с таким театром, как Малый и Коршевский. Помню, одна заметка кончалась так: «Неправда ли, что это затея взрослых наивных людей: фантазия богатого купца-любителя Алексеева и бред литератора Немировича-Данченко?».

Репетировали главным образом «Царя Фёдора». Первоначально Федором был намечен А. И. Адашев. После нескольких репетиций решено было передать роль И. М. Москвину. И только после занятий с Немировичем засверкал прекрасный талант молодого актера. Победа Москвина окрылила всех нас.

Первое, что поразило меня, когда я приехал в Пушкино, это удивительная дисциплина. Я люблю дисциплину, и это произвело на меня приятное впечатление. Удивил меня и новый метод репетиций: пьесу читали, сидя за столом. Тогда многие еще конфузились с непривычки. Но Станиславский требовал: «Забудьте стыд, не стесняйтесь».

Выбранная пьеса перед началом репетиций обсуждалась сообща — это был тоже невиданный для меня способ. Шли дебаты о том, что представляет собой пьесы в целом, каковы отдельные образы, что актеры должны из него сделать. Доходили до таких мелочей, что разбирали, как данный персонаж ест, пьет, моется. Сначала это было трудно, а потом доставляло большое наслаждение.

В первое время у меня были кое-какие столкновения со Станиславским. Я привык играть «нутром» и не понимал иногда вражды Станиславского к штампам. Штмп казался мне естественным, и указания Станиславского сердили меня. Но потом все сгладилось, — и я был только благодарен Станиславскому.

Впрочем, во многом метод Станиславского оказался мне близок. Я и раньше не умел играть, пока не прочувствую роль, не переживу всех ощущений изображаемого лица. И мне всегда нужны были глаза партнера. Нужно было взглянуть в душу партнера, прежде чем сказать свою реплику. Все это, вероятно, оценил Станиславский. Он только помог мне раскрыть самого себя.

V

В августе пошли дожди, и молодая труппа перебралась в Москву.

Щукинский театр («Эрмитаж») в Каретном ряду, где теперь театр МГСПС, был еще далеко не готов. Невеселая картина предстала участникам

Художественного, или, как тогда именовали, Художественно-Общедоступного театра. В закрытом театре только что кончился летний сезон. Всюду грязь, сырость, стукотня — полный разгром. Все приходилось переделывать: сцену, зрительный зал, уборные для артистов. «Я помню, — рассказывает Владимир Иванович, — как долго пришлось мне выветривать свой кабинет, чтобы изгнать винные испарения». Было холодно и темно. Первая черновая генеральная репетиция происходила при свечах и фонарях. И только под конец Владимиру Ивановичу удалось наладить машину и создать приятную обстановку для работы.

Наступила среда 14 октября 1898 года.

Я живо помню узкую, длинную залу «Эрмитажа». Помню те настроения, с которыми пришла сюда «вся Москва». Попытка многим казалась чуть что не дерзостью. Первые картины принимались публикою с большим скептицизмом. И лишь понемногу скептицизм, по крайней мере, в части зрительного зала уступил место увлечению.

Публика была захвачена новым, невиданным зрелищем. Стало ясно, что режиссеры, действительно, сказали «новое слово».

Так случилось, что затея двух взрослых наивных людей превратилась в тот Художественный театр, которому суждено было занять такое важное место в истории сцены.

«Царь Федор» имел крупный успех. Публика повалила валом на спектакли. Вместе с громадной моральной поддержкой, эти спектакли оказали и большую материальную поддержку. Но еще много пришлось театру изведать горечи, прежде чем он стал твердо на ноги.

Мои воспоминания переносят меня теперь к другому моменту первой поры Художественного театра, к тому моменту, который надолго определил его путь и завоевал ему симпатии широких масс интеллигенции. Задуманное желание В. Ив. Немировича-Данченко воплотить Чехова на сцене близилось к осуществлению. Для первого опыта была выбрана «Чайка», которая незадолго перед тем потерпела такое крушение на петербургской Александринской сцене.

Сближение Чехова с Художественным театром началось с самого возникновения этого последнего. В переписке со мной и с другими он постоянно расспрашивал о делах театра, особенно интересуясь репертуаром.

«Да, моя «Чайка», — говорит он в одном письме, — имела в Петербурге, на первом представлении, громадный неуспех. Театр дышал злобой, воздух сперся от ненависти, и я, по законам физики, вылетел из Петербурга, как бомба».

Чтобы не переиспытывать этого снова, Чехов категорически отказывался от постановки «Чайки» в Художественном театре. Однако Чехов не умел долго отказывать. «Чайка» была дана. Над «Чайкой» работали много и в громадной тревоге. Впервые были у нас тут, как свидетельствует К. С. Станиславский, живые переживания, близкие душе тогдашнего русского человека. Стал вырисовываться, хотя еще туманно, принцип держания публики на внутренних переживаниях. И не было уверенности, что это осуществимо, что это «дойдет» до зрительного зала.

Особенно не клеилась «Чайка» на генеральной репетиции. Настроение в театре на этой репетиции было тяжелое, унылое. Томили черные предчувствия. К концу репетиции настроение еще сгустилось. В театр приехала сестра Чехова, Мария Павловна, и передала, что, судя по последнему письму из Ялты, А. П. плохо себя чувствует: она знает, догадывается, что причина тому предстоящий спектакль «Чайки», и умоляла отказаться от постановки, снять пьесу, пока не поздно, чтобы не рисковать здоровьем Чехова.

Художественный театр устроил тут же особое совещание, чтобы решить, как быть. Но все ясно понимали: отказаться от «Чайки» почти то же самое, что отказаться от театра, поставить на нем крест, что тут стоит вопрос,—быть ему или не быть. Решили, что отменять спектакль нельзя. Спектакль состоялся. В какой мере Чехов-драматург интересовал тогда московскую публику, видно из цифры сбора на эту премьеру. В кассе было только 600 рублей.

Думаю, все, кто был в тот вечер в театре «Эрмитаж», помнят первое представление «Чайки». Прошло тридцать лет, а когда начинаешь вспоминать прошлое Художественного театра, то мысль прежде всего обращается к этому первому чеховскому вечеру.

Опустился занавес при гробовом молчании. Мы похолодели. С Книппер сделалось дурно. Роксанова (молодая артистка, из числа учениц Немировича-Данченко, игравшая Нину Заречную) разразилась слезами. Как продолжительно было молчание публики, можно судить по тому, что мы успели разойтись по уборным.

И вдруг зал забурлил, загрохотал от рукоплесканий. Публика пришла в себя,—и затишье, так ошибочно истолкованное за сценой, сменилось бурей восторга. Публика повскакала с мест, аплодировала, шумела.

Все мы целовались. Кто-то не выдержал, разрыдался. Все сотрудники — рабочие, портнихи, ученики, статисты — высыпали на сцену. Пришлось затянуть антракт. От слез у многих сошел грим, так что пришлось перегримироваться.

Вот программа этого исключительного во всей истории театра спектакля (см. на сл. странице).

Второй акт прошел без особого успеха, в третьем повторилось почти то же, что было после первого акта. По окончании спектакля публика стала требовать, чтобы Чехову послали в Ялту телеграмму. Немирович-Данченко составил текст и прочел его со сцены. Новая шумная овация.

Сезон кончился. Он много дал юному театру в смысле художественного и морального удовлетворения. Но он дал и очень крупный убыток. Весь капитал, какой составили пайщики, ушел. Положение было критическое. В этот момент заявил о своем сочувствии Савва Тимоф. Морозов, потом так много сделавший для упрочения существования театра.

Весною, по окончании сезона, в Москву приехал Чехов. Конечно, хотел видеть «Чайку». Но Щукинский театр был уже занят подготовкой к летней антрепризе и не был в распоряжении художественников. Был снят пустовавший театр «Парадиз» (Никитский). И здесь же решили показать Чехову «Чайку».

Приехал Чехов. Это была его первая встреча с Художественным театром, с которым он потом сроднился, как со своей семьей. Кроме Чехова и еще нескольких человек, других зрителей не было.

Чехов был очень оживлен, не критиковал, но только вставлял иногда свои маленькие замечания.

— Чудесно же! — говорил он, — у вас же интеллигентные люди. У вас же нет актеров и нет шуршащих юбок.

Он ходил по театру, заложив руки за спину, покашливая, мило посмеиваясь. Это всегда означало, что он доволен, что ему нравится. Когда же ему что не нравилось, он вдруг говорил, что ему нездоровится, что ему что-то холодно.

VI

Во время показа «Чайки» в Никитском театре с Чеховым повели разговор о постановке «Дяди Вани». Но оказалось, что Малый театр, в виду успеха «Чайки», уже вступил с ним в переговоры относительно этой пьесы.

Известно недоразумение, какое потом произошло у Чехова с лите-

ратурно-театральным комитетом при Малом театре. Комитет потребовал переделки, Чехов отказался, вызвал к себе Станиславского и Немировича-Данченко и тут же заявил, что отдает «Дядю Ваню» Художественному театру.

Руководители прочли вместе с А. П. пьесу и старались получить от него указания относительно отдельных действующих лиц и всей постановки. Но как было трудно добыть от Чехова какое-нибудь определенное указание!

Между прочим, Чехова очень сердило, что в одном провинциальном театре «Дядю Ваню» изображали опустившимся помещиком, т. е. грязным, лохматым, в смазных сапогах.

— А как же он должен быть? — спросили его.

— Да у меня же там все подробно написано! — ответил он.

А это «подробно» заключалось в ремарке с указанием на то, что у «Дяди Вани» шелковый галстук. Чехов считал, что этого совершенно достаточно для обозначения его одежды.

«Дядю Ваню» репетировали в театре «Парадиз». В работе над ним Художественный театр добился многого такого, чего хотел, но еще не мог достигнуть в первой своей чеховской постановке.

18  98

Художественно-Общедоступный Театръ

Каретный рядъ „ЭРМИТАЖЪ“.

Въ Четвергъ, 17-го Декабря,

ПОСТАВЛЕНО БУДЕТЪ. въ 1-й разъ:

Ч А Й К А.

Драма въ 4-хъ дѣйствіяхъ. соч. Антона Чехова.

Дѣйствующіе лица:

Ирина Николаевна Аркадія. по мужу
Трелева, актриса О. Л. Калуптеръ.
Ковставетинъ Гавриловичъ Трелевъ, ея
сынъ В. Э. Мейерхольдъ.
Петръ Николаевичъ Соринъ, ея братъ В. В. Лужскій.
Нина Михайловна Зарѣчная М. П. Роканова,
Илья Аванесевичъ Шамраевъ, управляю-
щій у Сорина А. Р. Артемъ,
Полина Андреевна, его жена Е. М. Раевская,
Маша, ея дочь М. П. Лалыга,
Борисъ Алексѣевичъ Тригоринъ К. С. Станиславскій.
Евгеній Сергѣевичъ Доръ, врачъ А. Л. Вишневскій.
Семенъ Семеновичъ Медвѣденко, учитель А. И. Андреевъ.
Яковъ, работникъ А. Л. Загаровъ.
Поваръ А. Л. Загаровъ.
Горинчина М. П. Николаева.

Дѣйствіе происходитъ въ усадьбѣ Сорина.

Между третьимъ и четвертымъ дѣйствіями проходитъ два года.

Режиссеры: Н. С. Станиславскій и В. И. Немировичъ-Данченко.

Декорация 1-го и 2-го дѣйствій художника В. А. Симова.

Парки в прически Я. Иванова. Декоративныя украшенія
цвѣтами савогаго заведенія С. Нова.

Программа 1-го представленія «Чайки»
17-го декабря 1898 г.

По поводу «Дяди Вани» вспоминается характерный эпизод. Как-то весной захожу к Антону Павловичу и застаю там Льва Николаевича Толстого. Я никогда раньше не видел его и, когда А. П. стал меня знакомить, я от волнения забыл свою фамилию. Желая выручить меня из глупого положения, Лев Николаевич обратился ко мне очень ласково и с улыбкой сказал:

— Я вас знаю, вы хорошо играете дядю Ваню. Но зачем вы пристаёте к чужой жене? Завели бы свою скотницу.

Так в двух словах он рассказал сюжет «Дяди Вани» — и еще в присутствии автора.

Антон Павлович, видимо, очень сконфузился, покраснел и добавил почему-то:

— Да, да, чудесно!

По окончании второго сезона труппа отправилась в Крым. Поездка была предпринята, главным образом, для того, чтобы показать отрезанному болезнью от Москвы Чехову «Дядю Ваню» и тем притянуть его к драматургии, окончательно завоевать для театра.

Местом спектаклей был выбран Севастополь. Туда приехал Чехов. Сыграли прежде всего «Дядю Ваню». Пьеса имела успех. Как ни упирался Антон Павлович, а ему пришлось-таки выйти на сцену, на бурные вызовы.

Эта же крымская поездка имела последствием превращение в драматурга другого писателя — Максима Горького. Сближение с Максимом Горьким произошло в Ялте, куда труппа поехала из Севастополя.

* * *

16 октября 1900 г. А. П. писал: «Можете себе представить, написал пьесу. Трудные и опасные были роды «Трех сестер», потому что я в этот период родов долго и серьезно болел, что мешало мне работать. Ужасно трудно было писать «Трех сестер». Ведь три героини, каждая должна быть на свой образец, и все три — генеральские дочери. Действие происходит в провинциальном городе, в роде Перми, среда — артиллерия».

В личных отношениях Чехова с Художественным театром эпоха «Трех сестер» играет особенно важную роль.

К этому времени окрепли дружественные связи Антона Павловича с артистами, к этому времени относится и его женитьба на Ольге Леонардовне Книппер.

VII

11 января 1902 г. для врачей, членов 7-го Пироговского съезда в Москве, был дан дневной спектакль. Шел «Дядя Ваня». Собравшиеся врачи отправили телеграмму Чехову в Ялту следующего содержания: «Врачи-товарищи, присутствуя сегодня в Художественном театре на знаменательном и незабываемом представлении «Дяди Вани», шлют горячо любимому автору, своему дорогому товарищу, выражение глубокого уважения и пожелания здоровья».

Мы же, все исполнители «Дяди Вани», вместе с Владимиром Ивановичем и С. Т. Морозовым, отправились после утреннего спектакля в ресто-

ран «Эрмитаж» обедать. Обед затянулся до позднего вечера, а потом до утра мы веселились у «Омона», — и все вспоминали провинциальных Астровых, с'ехавшихся со всех углов России смотреть «Дядю Ваню».

Под утро С. Т. Морозов предложил нам пойти осмотреть кабинеты, сцену, уборные и другие помещения «Омона». А через неделю он уже подписал контракт с владельцем театра (Лианозовым) на 12 лет. На оборудование им было затрачено больше трехсот тысяч рублей.

Сезон 1902—1903 гг. открылся уже в новом здании. Переход в дом Лианозова раскрыл перед театром новые перспективы. Небывалое оборудование сцены, и зрительного зала произвело сильное впечатление. В прессе говорилось об «очаровании», которое испытывал зритель еще до начала спектакля.

Из других событий нужно отметить перемену в организации управления театра. Было образовано товарищество для ведения всех дел, в состав которого вошли на три года следующие лица: С. Т. Морозов, К. С. Станиславский, В. И. Немирович-Данченко, В. И. Качалов, В. В. Лужский, И. М. Москвин, А. Л. Вишневский, А. Р. Артем, В. А. Симов, А. А. Стахович, Л. Г. Александров, М. А. Самарова, О. Л. Книппер, М. П. Лилина, М. П. Чехова, М. Ф. Андреева. Управление было организовано таким образом: Станиславский — главный режиссер, Немирович-Данченко — художественный директор и председатель репертуара, Лужский — заведующий труппой, Морозов — председатель правления. Я был назначен заведующим хозяйственной частью, что не мешало мне нести, вместе с тем, большой репертуар.

Сезон открылся 25 октября 1902 г. Утром сотрудники театра справили в тесном кружке свое новоселье. Чествовали С. Т. Морозова и заведующего перестройкой архитектора Ф. О. Шехтеля. М. Н. Ермолова, Г. Н. Федотова, театр Корша поздравляли Художественный театр. А. И. Южин прислал письмо и художественную вещь для мужского артистического фойе с надписью: «Victoribus» (победителям). Владимир Иванович Немирович-Данченко, вспоминая об этом историческом дне, между прочим, указывает на знаменательное совпадение: Художественно-Общедоступный театр был открыт спустя ровно 74 года после открытия Малого театра. На доске, прибитой к дому Щепкина, поставлена дата «14 октября 1824 года». Это совпадение является символом и того, что Художественный театр является носителем сценических заветов М. С. Щепкина, и в этом смысле «Дом Чехова» стоит в тесной, неразрывной преемственности с «Домом Щепкина».

VIII

«Вишневый сад» — лебединая песнь Чехова. Осенью 1903 года я получил открытку из его «Чортова острова», т. е. Ялты: «Пишу по четыре строчки в день и те с нестерпимыми мучениями».

Вл. Ив. Немирович-Данченко приучил всех с нежностью относиться к творчеству Чехова. «Искусство Чехова, — говорил он, — это искусство человека, который тем более любит жизнь, чем менее имеет на нее право, вследствие своей болезни. Он любит ту простую жизнь, какая дана всем.

Любит березу, чистое утро, извилистую степную речку, любит даже обывателя, над которым мягко смеется».

Своими самыми душевными мыслями Чехов не делился даже с близкими. Но, при всей своей сдержанности, иногда, особенно в письмах, он не мог скрыть мучительного тяготения к простым радостям жизни, доступным всякому здоровому человеку. В течение 5 лет своей близости к Художественному театру, он был прикован к югу, к лакированной зелени Крыма, которого не любил, и часто тосковал ужасно. Нет возможности без волнения перечитывать некоторые из его писем.

«Мне скучно ужасно. День я еще не замечаю в работе, но, когда наступает вечер, приходит отчаяние. И, когда вы играете второе действие, я уже лежу в постели. А встаю, когда еще темно. Представьте себе, темно, ветер воет и дождь стучит в окно».

17 января 1904 года состоялась премьера «Вишневого сада». После 3-го акта чествовали автора... Скромный Антон Павлович стоял перед публикой, приветствовавшей его восторженными аплодисментами. Ему подавали венок за венком. Читались приветствия. Адрес Малого театра читала Г. Н. Федотова. Для нас интереснее всего было приветствие от Художественного театра, которое произнес Вл. Ив. Немирович-Данченко, передавая вместе с В. В. Лужским ларец с портретами артистов.

И в этот день Художественный театр лишней раз подтвердил свое право на почетное звание Чеховского театра. «Очень хороша и полна поэзии постановка, — писал В. Дорошевич. — Настоящие поэты и большие художники работают в этом театре».

За благами идут печали.

2 июня 1904 года я получил в Ессентуках из Баденвайлера от О. Л. Книппер срочную телеграмму:

«Не знаю, где проводит лето Константин Сергеевич. Сообщите срочно в Москву, что в ночь тихо скончался Антон Павлович».

19 октября 1904 г. поставили «Иванова», еще не шедшего на сцене Художественного театра. Иванова играл Качалов, Анну Петровну — Книппер, Шабельского — Станиславский, Лебедева — Лужский, Лебедеву — Самарова, Боркина — Леонидов, Львова — Москвин, Косых — Грибунин. Это было как бы художественной панихидой по поэту, на которую явился чеховский зритель, полный печали по понесенной утрате. Оттого в зрительном зале было на этот раз особенно напряженное, сочувственное внимание.

В рассказах Чехова всегда ощущались элементы сценичности. Чем больше театр свкался с Чеховым, тем более чувствовал возможность инсценировки его рассказов. У Станиславского явилась мысль о создании особого рода сценических «миниатюр». Был сделан опыт: инсценировали 6—7 рассказов Чехова, из которых некоторые с генеральной репетиции были отложены, а три попали в спектакль. Это были: «Хирургия» (И. М. Москвин, В. Ф. Грибунин), «Злоумышленник» (М. А. Громов и А. Л. Вишнеvский) и «Унтер Пришибеев» (В. В. Лужский).

Таким образом, Художественный театр исчерпал все сценические возможности, заключавшиеся в произведениях Чехова.

Дома и за границей

ЛИТЕРАТУРА, ИСКУССТВО, БЫТ, ПОЛИТИКА

1. Д. ГОРБОВ. Леонид Леонов.—2. И. МАШБИЦ-ВЕРОВ. Михаил Шолохов.—3. Я. ТУГЕНДХОЛЬД. Парижская школа.—4. Я. ФРИД. Романизированные биографии.—5. ФРОЛ СКОБЕЕВ. Литературный ларек.—6. Г. САНДОМИРСКИЙ. Неугомонный Радич.

1. ЛЕОНИД ЛЕОНОВ

Д. Горбов

Леонид Леонов принадлежит к лучшим нашим художникам слова. Вместе со всей группой «попутчиков», творчество которых было порождено или воспитано Октябрем, Леонид Леонов пределал весь путь от восстановления литературы в условиях по-октябрьской России до завоевания художественным словом одного из первых мест в общественной жизни наших дней. Оттого-то в творческом развитии Леонова немало общего с развитием других писателей этой группы.

Как многие из них, Леонов пришел к темам животрепещущей современности не сразу. Первые произведения его относятся к 1922 году. Это первый год восстановительного периода русской литературы после гражданской войны и, вместе с тем, год рождения советской художественной литературы. Тогда Леоновым были написаны повести: «Бурыга», «Гибель Егорушки», «Туатамур», «Уход Хама», «Халиль», «Петушихинский пролом», «Конец мелкого человека».

Только в двух из них («Петушихинский пролом» и «Конец мелкого человека»), написанных к тому же в самом

конце года (ноябрь и декабрь), автор повертывается лицом к событиям революции. Только они связаны с нею самым материалом, выхваченным из окружающей автора бурливой и кипучей действительности. В остальных повестях этого творчески-богатого для Леонова года взгляд художника устремлен в иные эпохи и к иным общественным образованиям. Эти произведения полны романтической фантастики. В них господствуют образы легенд и сказок. Сама действительность приобретает здесь легендарный характер.

Такой предстает она в «Гибели Егорушки», где повествуется о жизни поморской семьи на крайнем севере России в условиях полной оторванности от всех социальных связей и отданности внутреннего мира действующих лиц во власть полуязыческим поверьям, приобретающим в этих исключительных условиях грозную силу враждебной человеку реальности. Условность места действия подчеркивается здесь характерным «зачином»: «К а б и в п р я м ь б ы л остров такой в дальнем море, за полуночной чертой, Ньюньюг

остров, и каб был он в ширину поболее семи четвертей—быть бы уж беспременно поселку на острове, поселку Нель, верному кораблинному пристанищу под угревой случайной скалы.

В «Бурыге» перед нами Испания, однако, не менее условная, чем легендарный остров Ньюньюг,—Испания, где испанские графы ходят в пиджаках, едят щи, пьют чай из самовара, сыновей называют Ваня и т. п.,—словом, Испания, преображенная в побасенке «деда Егора из Старого Ликеева».

Остальные повести этой группы переносят читателя на Восток: в средневековую Монголию («Туатамур»), во времена библейской Книги Бытия («Уход Хама»); или Персию, преломленную в призме ее романтических поэтов («Халиль»). Во всех трех случаях Восток этот живет жизнью прозрачной и недостоверной. Во всех трех случаях он равно легендарен.

Медленность подхода к современной тематике—черта, общая у Леонова с писателями его группы. Следует, впрочем, отметить, что у Леонова она выражена резче, чем у многих других попутчиков. Ни у Вс. Иванова, ни у Бабеля, ни у Федина мы не найдем того романтического пассензма, той завороченности былыми эпохами и чуждыми культурами, которой проникнуты ранние повести Леонова. Только у Пильняка (в кн. «Былое»), у Замятина («Север», «Островитяне», «Уездное»), да у «Серрапионовых братьев» эта черта выражена столь же или еще более определенно.

Однако, если не в отношении материала, который у некоторых попутчиков был современен с самого начала их работы, то в отношении приемов композиции и стиля Леонов вполне совпал с направлением остальных попутчиков в те годы. И это обстоятельство гораздо более существенно, чем особенность материала. Именно по двум причинам. Во-первых, материал, избираемый художником, сам по себе очень мало характеризует общественный смысл его творчества. Ведь это общеизвестно, что в искусстве решающую роль играет не что, а как. С этой точки зрения только способ разработ-

ки материала (стиль и композиция) может засвидетельствовать внутреннюю удаленность художника от эпохи или его общность с ней.

А, во-вторых, относительно раннего Леонова, аргументация от материала наименее авторитетна еще и потому, что это самый молодой из писателей его группы: 1922 год—это год его литературного рождения. И зависимость Леонова в выборе материала от старших совершенно очевидна. На первых порах молодому Леонову материал подсказывала иной раз книга, а не жизнь. Так, замысел «Гибели Егорушки» возник под очевидным влиянием замятинского «Севера». «Бурыга» задуман под несомненным давлением Ремизова. И если для «восточных» повестей было бы затруднительно указать непосредственный источник среди произведений русской литературы XX в., то все же совершенно несомненно, что созданы они на почве налитанности авторского сознания символистской и эстетской литературой предреволюционных десятилетий: книжный и даже «музейный» характер замысла здесь очень подчеркнут.

Если же мы зададим себе вопрос, как развернут замысел в этих произведениях, какими средствами пользуется художник для его воплощения, то нам придется отметить большое сходство первых произведений Леонова с ранним периодом творчества других попутчиков.

Первое, что бросается здесь в глаза—это сказ. Автор не ведет повествование от своего лица, не пользуется инвентарем общелитературного языка. Он стилизует свою речь, он подделывает свои произведения под некий заранее заданный литературный стандарт. В «Бурыге» таким стандартом является устная народная сказка, представляющая собою сплав мифологических поверий, книжного языка и элементов цивилизации, влиянию которой подверглась пореформенная деревня. «Халиль» написан в форме персидских «касыд». «Уход Хама» представляет собой стилизацию библейского языка. «Туатамур» подражает трубам и литаврам восточного эпоса. Слог бы-

лин — источник «стиля в «Гибели Егорушки». Но и сказ не имеет в этих произведениях самостоятельного характера. Разве не чувствуется при чтении, что восточный эпос и библия восприняты молодым художником сквозь призму Флобера, любовной эстетике Востока он учился у Анатоля Франса, а русским сказкам — у Лескова?

Только в «Гибели Егорушки» и «Конце мелкого человека», повестях, где творческое созревание писателя сказалось в самом выборе тем, — на этот раз взятых из современности, — и сказ приобретает более жизненное, менее формальное значение. Здесь он предстает уже не как проба талантливого пера, которое проходит высший класс литературной учебы, а как прием, направленный к разрешению сложной общественной темы.

«Петушихинский пролом», в сущности, не повесть. Для этого здесь не хватает сюжетной цельности. Обстоятельство очень характерное не только для Леонова, но и для всей нашей литературы того периода, когда она только приступила к художественному сознанию по-октябрьской эпохи.

Сюжет «Петушихинского пролома» разорван так же, как разорван сюжет в «Партизанах», «Цветных ветрах» и «Бронепоезде» Вс. Иванова, «Голом годе» Б. Пильняка, «Перегнутое» А. Сейфуллиной и т. п. В сущности, ту же сюжетную разорванность имеем мы и в «Конармии» Бабеля, только здесь она полузатушевана искусным дроблением крупного произведения (для которого нехватило цельности) на отдельные четкие новеллы.

Сочетание сказа и сюжетной раздробленности, местного колорита в языке и пестроты стянутых слабым узлом фабульных линий делает из «Петушихинского пролома» не повесть, а хронику.

В «Петушихинском проломе» Леонов не берет свою тему — деревню в Октябре — во всем ее объеме. Для этого еще не было средств ни у него, ни у других писателей. Он как бы рассматривает ее из одного медвежьего угла, выслеживая в нем отражение великого переворота. «Уездный», «областниче-

ский» подход к общенациональной теме, какую, безусловно, является тема России в Октябре, эта общая для всех «попутчиков» черта в «Петушихинском проломе» сказалась в полной мере.

В таком подходе были свои положительные и отрицательные стороны. Отрицательное заключалось в том, что большая тема не получала здесь полного освещения. Она представляла загроможденной второстепенными, местными чертами. События не получали нужной перспективы. Материя быта в замысле художника господствовала над социальным сдвигом, давила на него. Пестрота колоритных частных, загромождая сознание, содействовала не столько уяснению общего, сколько отеснению его на задний план. Все эти недостатки ранних отображений Октябрьской России в нашей литературе нашли выражение и в «Петушихинском проломе».

Смена планов, — реального и фантастического, — развитие повествования бросками, композиция произведения цветowymi пятнами, метание от перенасыщенной бытовой живописи к надрывному психологизму, подчеркнутая исключительность характеров не могли не обусловить той сюжетной разорванности, которая характерна для произведений этого стиля. К перечисленному нужно прибавить индивидуальную черту Леонова: острую субъективность основного тона, его лирическую приподнятость, в данной повести местами переходящую в несколько взвинченную напряженность, которая иной раз, прорывает эпическую размерность «мужиковского» сказа.

Легко видеть, что эта импрессионистическая манера не была вполне пригодной к тому, чтобы дать событиям исчерпывающее художественное толкование. События требовали реализма, как своего соответствия в плане искусства. И реализм очень скоро стал центральной задачей нашего литературного развития, которая и перед Леоновым стала во весь рост.

Было бы, однако, величайшей ошибкой недооценивать достижений советской художественной литературы в

ее ранний, до-реалистический, романтико-импрессионистический, сказово-«областной» период. Реалистические задачи наша литература могла ставить и разрешить только благодаря тому, что именно в предшествующий период были накоплены навыки, найдены точки зрения, приемы и подходы к сложной и текучей действительности, которые затем позволили подойти к ее общественному содержанию, беря его во всей его конкретности, не как отвлеченную идею, но как полнокровный, животрепещущий образ. Именно красочный, образный, подслушанный в «уездном», в развороченных революцией медвежьих углах России язык нашей молодой литературы, именно нахнувшее бытом и землей слово, с обостренным чутьем подслушанное нашими художниками у жизни, — именно и только они послужили почвой, на которой было воздвигнуто здание современного реализма. Поэтому-то заслуги «попутчиков», в том числе Леонова, не могут быть умалены. В их ранних произведениях это самобытное слово, выведенное из глубин быта в литературу, не только буйствовало, но и зрело, требуя к себе общественного внимания, как бы в предчувствии той ответственной роли, которую оно в ближайшем будущем было призвано сыграть. В частности, в творчестве Леонова оно доказало, что претензии его основательны: всего через два года после «Петушихинского пролома» явились «Барсуки».

Отсутствие сюжетной стройности, ставка на импрессионистски-выразительное красочное пятно в «Петушихинском проломе», как и в других повестях этого стиля, были выражением того факта, что художник, оставаясь таковым, не может подойти к отвлеченной истине иначе, как через частное и конкретное, но зато и физически, подосознательно осязаемое ее выражение. Известное выражение Ап. Григорьева о «цветной истине» применимо к художнику в первую очередь и в полной мере. Поэтому Леонов был прав, он был верен своей природе художника, когда шел от конкретного, не позволяя себе попирать его авторитетные для

подлинного художника права в угоду обобщению, которое он (художник) еще не мог вывести органическим путем из этого материала. Идея этой, для художника единственно возможной, дорогой, Леонов достигал большой выразительности. Достаточно упомянуть такие страницы «Петушихинского пролома», как описание ярмарки в Пестюрьках, или фигуру игумена Мельхиседека, или, наконец, центральный эпизод повести — раскрытие мощей, чтобы признать в импрессионистическом письме молодого Леонова значительную действительную силу, притом силу, на этот раз целиком направленную на познание живой, по-революционной действительности.

Однако внутренняя направленность «Петушихинского пролома», как и многих произведений того времени, не вполне совпадала с направленностью событий. Обе эти направленности еще не противоречили друг другу, но, в случае продолжения, первая неминуемо пошла бы второй наперерез. В самом деле, невозможно отрицать стихийный, центробежный, увлекающийся частным и второстепенным пафос «Петушихинского пролома». Взгляд художника целиком погружен здесь в мир деревенских отношений. Между тем, теперь для всех совершенно ясно, что правильно понять революционные события в деревне нельзя вне связи их с теми процессами, которые происходили в других социальных пластах России 1917 г.

Дело не в том, что в «Петушихинском проломе» мы имеем хронику одного примонастырского села. Нужно ли говорить, что художник вправе избирать любой предмет и вовсе не обязан рядом с изображением села обязательно дать и завод, и фронт и т. д., и т. п. Но он обязан, избрав себе любой предмет, давать его под правильным углом зрения. Изображая жизнь села на великом переломе, должен дать ту атмосферу, которой она тогда дышала. А последняя определялась тем, что находилась за пределами села. Вот эта «закулисная» сторона, которая в искусстве часто бывает решающей, в «Петушихинском проломе» осталась недоучтенной.

Правда, там изображены, притом сочувственно, коммунисты, — но легко видеть, что действуют они там, как умные и дельные пришельцы со стороны, как представители общественного явления, не вытекающего из таких отношений на селе. Среди них, правда, есть и некий Талаган, который был до революции стихийным бунтарем против косности и собственнических инстинктов зажиточной части крестьянства. Но этот представитель сельской бедноты, вступивший в партию, пройдя через империалистический фронт, представлен одиночкой, за которым не стоит беднота, как определенный фактор социального значения. Последняя совсем выпала из поля зрения художника. Кроме того, Талаган мало типичен для этой среды, так как с крестьянским трудом вовсе не связан. Далее показаны тяготы, которые были возложены войной на крестьянство. Однако этот колоссальной важности момент, включающий дерзкую в основной сдвиг, пережитый всей страной в целом и пробудивший крестьянство, как революционную силу, в повести не использован.

В повести крестьянство пассивно-жертвенно: оно подвергается истязаниям, но бессильно ответить на них. Действенный момент в крестьянстве, без которого переворот не мог бы совершиться, остался не отображенным. Это, понятно, не могло пройти бесследно для повести. Весь ее замысел приобрел особый характер. Взамен реалистического произведения с социальным содержанием, перед нами импрессионистический этюд, где интеллигентски-индивидуалистическое понимание автором событий раскрывается в форме личной трагедии его героев-одиночек. «Петушихинский пролом» значителен, как художественно-выразительное обнаружение сдвига, который происходил в те годы в рядах трудовой интеллигенции, сдвига в сторону понимания революции, народнически окрашенного сочувствия ей, искреннего желания принять участие в перестройке общественного сознания страны.

Дальнейший шаг в этом направлении — «Конец мелкого человека». Лео-

нов переносит здесь свое внимание на общественную среду, наиболее ему родственную: на ту самую трудовую интеллигенцию, представителями которой и являются большинство наших попутчиков, Леонов в том числе.

В лице профессора палеонтологин Лихарева писатель дает образ этой интеллигенции на великом перевале. Интеллигенция представлена здесь застигнутой переворотом врасплох и мучительно ищущей новых вех, которые помогли бы ей ориентироваться в грандиозной переоценке всех ценностей, принесенной Октябрем. Крушение старых общественных связей и вызванный этим временный распад нравственных норм представляются идеалистически настроенной, неотчетливо сознающей свою скрепу с социальным целым интеллигенции старой выделки чем-то окончательным и безысходным. Она видит в происходящем сплошной хаос: по ее представлению, в мир вернулся «мезозойский период», угрожающий человечеству окончательным истреблением.

Трагический конец повести (профессор Лихарев сходит с ума после того, как единственный близкий ему человек — сестра — умирает от лишений) еще резко подчеркивает безысходность положения, в которое интеллигенция была загнана событиями.

Нужно ли говорить, что подобное понимание происходящего грешило против жизненной правды. Смысл событий был иной. Дальнейшее развертывание революции наглядно показало, что у нее имеется не только воля к разрушению (как полагает доведенный автором до бредового отчаяния Лихарев), но и воля к строительству, при чем последняя и является существенной ее чертой. Отсюда интеллигенции открывался выход к новой действительности, широкая возможность действительного участия в последней, — возможность, которую лучшая часть интеллигенции не замедлила использовать.

Таким образом, направленность «Конец мелкого человека» оказалась объективно нежизненной. Это, однако, отнюдь не значит, что повесть не имеет никаких художественных ценностей.

Не дав правильного изображения эпохи, повесть верно отразила ее преломление в сознании определенных кругов. Распад сознания интеллигентски-буржуазных кругов, мучительность внутренней перестройки у многих ее представителей здесь правильно подмечены и выпукло изображены. Да, такое явление имело место, для определенных кругов оно было даже типичным. Следовательно, художник правильно сделал, что взял его в орбиту своего изображения. И если читатель может иметь к нему какие-либо претензии, то лишь в том смысле, что творец не сумел возвыситься над своим творением.

В «Конце мелкого человека» есть сочувственно-любовное проникновение во внутренний мир изображаемых там духовных калек, есть правильное (хотя несколько истерически подчеркнутое) изображение хода болезни и, кроме того, намечены ее общественные корни. Правильная перспектива, однако, отсутствует. И это именно потому, что Леонов, как подлинный художник, уходит здесь в глубь своего материала, внутренне срастается с ним, но тем самым осуществляет лишь первую часть творческого акта: слияние своего творческого «Я» с избранным предметом. Для второй же, не менее существенной части этого акта, — объективирования своего материала, внутреннего господства над ним, — художник не находит в себе сил. Оттого-то трагедия определенного социального слоя, кризис, переживаемый вполне конкретной социальной средой, выглядит у Леонова трагедией универсального значения, кризисом «общечеловеческого» масштаба. Недаром в «Конце мелкого человека» Леонов подпадает под влияние Достоевского, в произведениях которого социальные бури неизменно предстают в облики «общечеловеческих» нравственных конфликтов. (В «Конце мелкого человека» влияние Достоевского сказывается не только в общем стиле, но и в отдельных образах: ферт, компания нравственных калек, собирающихся у врача Елкова, сам Елков, паясничающий по поводу своего собственного и своих друзей унижения;

наконец, в положениях: напр., разговор Лихарева с фертом в то время, как в соседней комнате находится тело сестры Лихарева и т. д., и т. п.)

Отсутствие правильной жизненной оценки изображаемого понижает, разумеется, и художественную ценность произведения. Не осуществляя своего права судить своих героев, тогда как это право художника есть одновременно и его обязанность, Леонов как бы солидаризируется с ними в их оценке происходящего. И когда мы слышим, как его герои высказывают сомнения в целесообразности проливать кровь ради «неосуществимого» социалистического идеала, у читателя нет достаточных оснований полагать, что устами действующего лица не говорит сам автор.

Рассматриваемая как выражение эпохи, как попытка истолковать ее в художественных образах, повесть «Конце мелкого человека» должна быть признана еще менее адекватной действительности, чем «Петушихинский пролом». Но, как художественное самовыражение трудовой интеллигенции в момент ее перехода на позиции Октября, эта повесть является ярким художественным памятником переходного периода. А в плане творческого развития Леонова она играет особенно выдающуюся роль.

Не будет преувеличением утверждать, что в «Конце мелкого человека» Леонов окончательно сформулировал свою тему и, не дав ей сколько-нибудь отчетливой художественной и общественной разработки, в то же время охватил ее в сжатом, но выразительном очерке. «Мелкий человек», о «конце» которого сообщает повесть, в действительности не умер. Он воскрес в следующих произведениях Леонова, воскрес, стал центральным и усложнился в своих индивидуальных выражениях. Права «мелкого человека», схваченного в водоворот небывалой в истории эпохи, судьба личности в бурном процессе общественного переустройства — вот чем поглощено внимание Леонова и в «Записках Ковьякина» (1923), и в «Барсуках» (1924), и в «Воре» (1925—26), и в «Унтиловске»

(1926), и в «Провинциальной истории» (1927), и в «Необыкновенных историях о мужиках» (1927—28). На разном материале (предреволюционное Зарядье и современная ссылка, московское дно и уездный город, деревня бунтующая и мирная), в разной степени обнажения (от подчеркнутой стилизации «Записок Ковьякина» через эпически-объективный тон «Барсуков» до взбудораженной риторики «Вора» и утрированно-мужицкой речи «Необыкновенных историй»), но с одинаковой заостренностью ставит Леонов перед читателем вопрос о личном и общественном, о споре этих двух начал на великом историческом рубеже.

Понять Леонова как художника, оценить значение его творческой индивидуальности, взвесить общественную ценность того вклада, который он сделал в нашу литературу, наконец дать себе отчет в перспективах его творческого развития, значит ответить па два вопроса: какова общественная ценность центральной темы Леонова, степень ее ответственности с тем, что мы имеем в действительности? И, во-вторых, насколько полную и художественно-продуманную разработку она у него получила? Иными словами, насколько органична эта тема для эпохи и для художника, который берется эпоху истолковать?

Легко видеть, что тема личного и общественного начал, тема их борьбы и согласования есть центральная тема нашей эпохи. Весь смысл последней в том, чтобы разрешить задачу построения социализма, т. е. такого общества, где эти два начала найдут примирение в гармоническом единстве. До тех пор, пока не изжито классовое общественное устройство, покоящееся на присвоении орудий производства и рабочей силы, личность неизбежно будет в большей или меньшей мере воспринимать общественное начало, как нечто враждебное, посягающее на ее цельность, а общественное начало, в свою очередь, будет поставлено в необходимость рассматривать запросы личности, как нечто, направленное против общественных интересов.

Сила этого закона общественной жизни, прочно установленного марксизмом,

не могла не проявиться особенно внушительно и очевидно в момент великого общественного кризиса, каким неизбежно явился октябрьский переворот и вызванная им общественная перестройка. Последняя протекает, к тому же, в обстановке отсталой аграрно-промышленной страны, где частная собственность на орудия производства предстает в форме многомиллионного моря распыленных крестьянских хозяйств, где оторванная от собственности, а потому наиболее сознательная, коллективистическая и дисциплинированная часть трудящихся—пролетариат—составляет все еще меньшинство трудового населения. В этих условиях перестройка страны на началах коллективистических, само собой разумеется, встречается значительные трудности, не считается с которыми было бы величайшей ошибкой. Естественно, что проблема личного и общественного приобретает в наших условиях особый интерес и значение. Можно не сомневаться, что, когда пролетарская революция произойдет в промышленных странах Западной Европы и Америки, очень много вопросов, существенных у нас, там вовсе не будут иметь место. Очевидно, и художники этих стран будут заняты другими темами, а творчество их будет иметь другой стиль.

Для нас же вопрос о взаимоотношениях личного и общественного приобретает исключительную остроту. Самый поверхностный обзор нашей художественной литературы мог бы подтвердить это. Ведь это факт, что вся она целиком—и в попутническом и в пролетарском своем выражении—заята в настоящее время проблемой сущего и должного, конфликтом между требованиями цельной личности и обязанностями, налагаемыми на личность исключительно ответственным моментом социального переустройства. Именно в этом заключается общественный смысл разговоров о показе живого человека, о «рационалистическом» человеке, о роли подсознательного в человеческой психике, о «гармонической личности» и т. д. и т. п.

Уже один этот факт говорит о том, что центральная тема Леонова—о пра-

вах мелкого человека перед лицом великих социальных сдвигов—есть проблема органическая, взятая художником из самого содержания нашей эпохи, а не из своей собственной «интеллигентской» головы. В ней находит выражение не одна «мелкобуржуазная» склонность писателя, как представителя своего класса, подчеркивать личное в ущерб общему, твердить о личности там, где иным казалось бы лучше о личности помолчать, а пристойнее было бы погромче потолковать о Коминтерне, о задачах мировой пролетарской революции, о заре коммунизма, о верности идеям пролетариата и т. д., и т. п. Споры нет, обо всем этом говорить нужно, однако, не повышая голоса до крикливых нот, а вдумчиво, серьезно и с чувством огромной ответственности за большие слова, за которыми—не следует забывать этого—кроется не менее большое содержание.

Нет, не мелкобуржуазная фронда против диктатуры пролетариата толкает наших художников к тому, чтобы сделать проблему личного и общественного центральной темой. Это властно диктуется им задачами художественного творчества, его ролью в общем строительстве страны. Ибо основная задача художественного творчества—быть, прежде всего, искренним до конца, давая образное выражение всем сложным процессам, происходящим в социальном целом нашей страны. Только этим путем художник может внести свою лепту в общее дело: раскрывая в художественных образах сложные внутренние (психологические и бытовые) процессы, художник делает их доступными познанию передового класса во всем их жизненном противоречивом многообразии, а тем самым помогает строителю ориентироваться в сложной действительности, в которой происходит стройка и которую иные лукавые советчики рекомендуют ему упростить.

Подлинный художник искренен и прост. Он не в состоянии «выдумать» темы. Он должен найти ее. Леонов—подлинный художник. Своей темы он не только не выдумал, он даже не искал ее. Она была принесена к нему стра-

ной и эпохой. Ведь это неоспоримый факт, что при всей нервности стиля, напряженности тона и активности в поисках оригинального оформления, дарование Леонова, по существу, пассивно. Нервность, напряженность, беспоконное стилизаторство Леонова—поверхностны. Стоит хоть немного пристальней вчитаться в него, чтобы увидеть спокойную отданность художника окружающей действительности. Леонов не столько хочет вписать в жизнь свою авторитарную оценку явлений, придать этим явлениям им самим изобретенную чеканную форму, врезать в жизнь черты своего законченного, а потому неизбежно и замкнутого миропонимания, сколько откликнуться на все ее звучания, как чуткая и верная мембрана. Это—глубоко русская и даже великорусская черта. За стилизаторскими опытами художника мы не перестаем ощущать его собственный внутренний стиль. Внутренний стиль Леонова—это плавная и гибко-извилистая река центральной полосы России, послушно отражающая в своем чистом и прозрачном, но и глубоком потоке все разнобразные прибрежной жизни и изменчивость неба над ней. Эта река вышла из недр земных на поверхность, когда в небе была буря. И вот река волнуется, бурно ходит в берегах. И долго после того, как буря прошла, она все еще плещет, и поверхность ее покрыта рябью. Сама же она ясна и спокойна.

Эта особенность творчества Леонова видна и в его чисто литературных истоках. Среди наших писателей нет равного Леонову по количеству откликов на предшествующее литературное развитие. Достоевский, Горький, Лесков уже были отмечены критикой, как учителя Леонова. К ним следовало бы присоединить Ф. Сологуба, Бунину, Ремизова. Это не подражательность, но отзывчивость и родство. В лучших своих вещах («Записках Ковякина», «Барсуках», «Воре») Леонов делает органический сплав их литературных манер и превращает его в нечто самостоятельное: в свою собственную литературную манеру.

Эта же особенность ярко выступает и в отношении художника к жизни,

которую он отражает и, отражая, призван преобразить. Колоритное, характерное, локально окрашенное слово—отправной пункт работы Леонова. Мы видели,—он отдал дань областничеству. Но сквозь призму этнографического гротеска первоначально предстала ему большая тема эпохи. Прерывистость, нечеткость первых произведений постепенно уступили место другому: в «Барсуках» писатель вывел свое мастерство к большому сюжету. Сюжетные линии «Барсуков» пластически ясны и просты. Но таковы они именно потому, что явились результатом ненасильственного, органического созревания мастера.

Среди крупнейших наших писателей, связанных своим творчеством с современным сюжетом, Леонов принадлежит к тем немногим, которые ставят себе задачей дать больше, четко скомпанованное полотно. Тяга к развернутому полотну большого социального охвата, о которой так много говорит наша критика, в действительности, удачное выражение получает далеко не столь часто. В целом для нашей художественной литературы, черпающей из современности, гораздо характернее новелла и повесть—жанр более гибкий и способный взять свою тему в менее ответственных масштабах. Неслучайно большинство наших романов—о прошлом. И, наоборот, наиболее ценное художественное выражение наши дни получили в ряде рассказов и повестей.

Роман Леонова «Барсуки»—один из немногих романов, которые стоят безусловно на одном уровне с лучшим, что сказано художественной литературой о современности.

Центральная тема писателя—о правах мелкого человека в обстановке исторического кризиса—нашла здесь разрешение на материале огромного значения,—в общественном конфликте, центральном для эпохи. Она представлена здесь в форме столкновения между городом и деревней.

Еще не задолго до этого в «Записках Ковьякина» внимание Леонова было всецело поглощено мещанской стихией уездного города, ее специфическим походом к событиям. Однако

уже на этот раз был примечателен переход писателя от романтической подчеркнутости характеров и несколько претенциозной повышенности тона, которые давали себя знать в ранних вещах Леонова. Место зазорной и даже заносчивой романтики заступил здесь смиренный реализм. Генеалогия Ковьякина—не генеалогия прежних образов Леонова: не бунт против действительности пафос этого образа, но покорность перед ней. Предками Ковьякина являются не своевольный Алеко и буйствующий Иван Карамазов, вступающий в спор с самим дьяволом, но Белкин и Макар Девушкин. Как и «повести» Белкина, скромны и даже убоги записи Ковьякина: «Что есть город Гоголев», «Самоописание личности», «Повешение колокола к Богоявлению» и т. п. Как Макар Девушкин, Ковьякин под смиренной внешностью провинциального умствующего чудака скрывает большое и самоотверженное чувство (его отношения к Наташе Суроповой), а также и значительную, хотя не получившую правильного развития склонность к общественным интересам.

При всей его скромности его внутренняя (пусть полусознательная) самооценка не низка: «Никому я писаний своих и не показывал, почитая за пустяк. Но люди стороной разузнали, и я прослыл чудаком. Ну, какой я чудаком, я просто так, человек!.. Разве же гоголятник не человек? А человеку, господа, слово да уход нужны».

Разумеется, здесь мы не имеем разрешения основного конфликта. От Девушкиных и Ковьякиных нельзя ждать, чтобы они собственным умом дошли до смысла огромных исторических сдвигов, невольными и пассивными участниками которых им довелось быть. Их мир для этого слишком узок, слишком ограничен масштабом индивидуального человеческого существования.

«Гут я и пожалел о тех временах, когда ни одна личность великая Гоголева не посещала ни сном, ни духом. По-моему, как я дошел, чем больше личностей, тем хуже. Всякая личность такая крови требует. А мне так кажется, что больше капля крови чело-

веческой стоит, чем вся личность с потоками целиком. Ох, славно на земле жить будет, когда личности переведутся: тихо и безмятежно. Некому будет допытываться, от которой причины цветы цветут. И птичку никто резать не будет, чтобы узнать, которым она местом поет. Поешь—и пой, и очень превосходно».

В этой каратаевской философии Девушкиных и Ковьякиных конфликт обозначен с еще большей четкостью и убедительностью, чем в «Петушихинском проломе» (где он лишь импрессионистически намечен) и в «Конце мелкого человека» (где он приобретает значение специфически интеллигентского способа мыслить). Образ Ковьякина реалистичен и социально-глубок. В нем нет ни капризного субъективизма «петушихинских» действующих лиц, ни общественной ограниченности образов «Конца мелкого человека». И хотя в «Записках Ковьякина» мы попрежнему не находим ясно выраженного выхода из тупика, хотя конец этой повести не менее безотраден, чем и двух первых, все же нельзя не признать, что «Записки Ковьякина» — большой шаг вперед, сделанный Леоновым не только в смысле овладения своими техническими средствами (цельность и полнота образов, выдержанность тона, продуманность мотивировок достигают здесь очень большой высоты), но и в смысле уяснения художником своей общественной темы. Впрочем, два эти момента неразрывно между собой связаны.

Покорность перед действительностью, умение слушать жизнь—черты, нашедшие выражение в образе Ковьякина, — это признак всякого подлинного художника-реалиста. Только проникнувшись избранным жизненным материалом, только сняв все преграды, отделяющие замкнутое «я» художника от жизненного потока, который художник призван отобразить, — может притти художник к полноценному художественному обобщению.

Только отказ от своеволия романтики открыл таланту Леонова возможность подойти к созданию больших полотен, где конфликт дан не только в разрезе постановки вопроса, но и раскрыт до конца и получил освеще-

ние, удовлетворяющее нашу жажду ответа. Верность действительности—главная гарантия совершенства таких произведений. Главная, если не единственная. Леонову удалось здесь приблизиться к совершенству в той степени, в какой ему оказалось доступным эту верность действительности соблюсти.

Если подойти с такой оценкой к последним произведениям Леонова, где дарование художника раскрылось полным цветом, то нужно будет признать, что они неравноценны. Верность действительности время от времени изменяет этому художнику, вся сила которого заключается именно в том, чтобы строго блюсти ее законы, не предписывая ей своих.

Повторяем, Леонов менее всего конструктор, изобретатель, аналитик. Менее всего он искатель и следопыт. Психологическое экспериментаторство Вс. Иванова, при всей своей стихийности, очень расчетливое, очень себе на уме; блестящая словесно-психологическая эквилибристика Бабеля, гибкость которого — от акробатского, хотя и очень глубокого, излома; утонченная законченность оформления действительности, твердо и отчетливо осуществляемая Фединым, — все это многообразие способов авторского вторжения в поток явлений с целью замедлить его течение, убыстрить или изменить его русло, — по существу, чуждо Леонову. Его сила более всего обнаруживается там, где чувство меры и сознание своего творческого темперамента властно удерживают его от всех этих путей, которые для его лирически-наполненного, чуткого к внешним влияниям, стремящегося вширь дарования предстают не иначе, как в виде излишеств.

Ярче всего это чувство меры, это сознание Леоновым своих творческих качеств сказалось в «Барсуках». Именно этим обстоятельством была предопределена художественная удача произведения, а, следовательно, и его общественная ценность. Стиль романа — на всем его протяжении — сдержанный, спокойный, ясный; построение характеров — не насильственное, свободное; размеренность частей, стройность в развитии действия привели к тому, что основной, занимающий художника коп-

фликт получает здесь окончательное и внятное уяснение. При том, уяснение это осуществляется не путем голого утверждения, в искусстве никого ни в чем не убеждающего, но органически посредством раскрытия внутреннего содержания всего положения до конца.

«...Ты не мной осужон... ты самой жизнью осужон, — говорит большевик Антон своему брату, вождю бунтующих крестьян. — Мы строим, ну, сказать бы, процесс природы, а ты нам мешаешь». Возможно ли «построить процесс природы», не опираясь на законы самой природы? Разумеется, нет. Между тем, очень многие наши писатели показывают нам строителей процессов природы, забывая при этом показать, что дело этих строителей согласовано с законами природы. Эти писатели забывают о природе или пренебрегают ею. Природа мстит за себя: «строители» в изображении этих писателей получаются неживые. Сила «Барсуков» как раз в том и заключается, что Леонову, благодаря особенностям его дарования, о которых говорилось выше, удалось раскрыть те законы природы, которые предопределили успех «строителей». У него «строительство процессов природы» выглядит поэтому не охолощенным, как голая антитеза законам природы, а как начало, ведущее вперед, но заключенное в самой природе. В этой внутренней диалектике замысла, которая определила ясность и стройность исполнения и которая сама является верным отражением жизненной диалектики в творческом мире крупного художника-реалиста, и заключается главная ценность романа, делающая его одним из самых значительных и углубленных художественных отображений современности.

В «Барсуках» нет и тени надуманного сочинительства, которым столь часто заменяется у нас продуманный эксперимент. Оттого-то естественные, непринужденно созданные действительностью и заимствованные у нее художником образы «Барсуков» входят в сознание современного человека, как близкие знакомцы, как необходимые соучастники переживаемых им событий. Они вблизи, с ними общаются вплотную, со всеми этими Семенами,

Брындами, Брыкиными, купеческой дочкой Настей и другими второстепенными персонажами. Все это подлинная, непридуманная Россия, так же, как и коммунист Антон, за которым в романе, как и в действительности, остается последнее слово.

Таков же и весь тон романа, — простой, естественный, ровный и в то же время выразительный без всякой натяжки. Если и есть в этом отношении неровности, попытки прибегнуть к подчеркнутому, к вычурному (напр., история помещика Свинулина), то имеют они здесь лишь эпизодическое значение и связаны с моментами, находящимися за пределами основного повествования.

Значительность «Барсуков», как явления реалистического искусства, и, следовательно, общественное их значение, помимо дарования их автора, обусловлена еще тем, что последний сумел при создании своего романа отрешиться от каких-либо публицистических, проповеднических, агитационных задач и целиком отдался воспроизведению живой действительности, слушанию совершающихся в ней процессов.

В произведениях последнего времени Леонов становится на другой путь. Он явно вступает в спор с действительностью, выделяя в ней черты, стоящие в противоречии к целому. Их-то подчеркивает писатель, как бы напоминая нам о противоречиях, составляющих самую природу действительности, но о которых мы склонны забывать. Характерно, что в этих произведениях Леонов вновь уходит в сторону от большой дороги. Он отворачивается от крестьянства и снова сосредоточивает внимание на второстепенных социальных пластах. Ссылные интеллигенты-утиловцы, представители столичного блата, засосанные мешанской тиной жители провинции занимают место крепких, цельных и в самом заблуждении по-своему героических барсуков. И если писатель возвращается к образам крестьян в своих последних «Необыкновенных историях о мужиках», то лишь для того, чтобы и здесь своевольно выискать черты необычайного, анекдотического, подчеркнуто-редкостного, что нарушило бы искони установлен-

ное представление о мужике. Сержажные герои «Необыкновенных историй» нимало не похожи на своих собратьев по классу, на «барсуков». Суб'ективизм автора пожелал исказить их черты до неузнаваемости.

Леонов ищет теперь чрезвычайных жизненных положений, чувств, доведенных до трагического предела, образов, чей внутренний мир безудержно устремлен к одному препятствию, без преодоления которого невозможно движение вперед. Леонов хочет уверить нас, что это необычайное в действительности более обыденно, чем сама обыденность. Именно в этом заключается теперь его парадоксальная творческая установка.

Беззаветно преданный революции коммунист Митя Векшин под влиянием ряда разочарований опускается на дно и становится королем воров («Вор»). Благолепный старец, в сладостной тишине и семейном счастье мирно кончающий свои дни, оказывается провокатором («Провинциальная история»). Сосланный царским правительством за панихиду, отслуженную по казенному террористе, поп остается на месте ссылки и после Октября, являясь, однако, единственным в городке челогеком, не вовсе чуждым пониманию оздоравливающих веяний революции в быту («Унтиловск»).

Таковы теперешние темы Леонова. Нельзя не заметить их изысканности. Однако изысканность эта отнюдь не эстетического порядка. И это существенно. Теперешняя изысканность Леонова, как и прежние его поиски, в основе своей—нравственного порядка. Поэтому-то от нее невозможно отмахнуться. Мы вольны считать ее ошибочной. Едва ли мы сможем, однако, отрицать ее серьезный, жизненный смысл. Но, если так, то мы обязаны понять его.

Противоречие ведет вперед. Искусство—это противоречие. Оно призвано обнаруживать препятствия, недоступные взгляду поверхностному. Трагическое углубление конфликта там, где обывательское сознание как бы скользит по гладкой плоскости, составляет одно из неотъемлемых его свойств. Более того, в этом основная задача искусства, как общественного явления

первостепенной значительности. В этом смысле в существе своем оно всегда трагедийно. Поэтому-то обречены на бесплодие «благие» старания тех, кто желает одернуть художника или, применяя средства более деликатные, пригласить его к непосредственному и прямолинейному показу достижений. Искусство в этих случаях, как, впрочем, и во всех остальных, неизменно идет своим путем, если только это подлинное искусство. Этот путь отнюдь не оторван от общественности. Наоборот, он всецело, без остатка ею определен. Но воздействие эпохи на искусство осуществляется не извне, посредством «социального заказа» или публицистических заданий, а изнутри, путем органического претворения общественности искусством на основе его собственных законов.

Один из этих законов заключается в том, что искусство более, чем осуществлением, дорожит борьбой, которая к осуществлению ведет. Поэтому-то показ неподвижной данности, какова бы ни была ее общественная ценность, очень мало притягивает подлинного художника. Но драгоценна для художника тема движения к этой данности—движения во всех его глубоких противоречиях и во всей его противоречивой глубине. Единственным мерилom здесь может быть отнюдь не краткость пути, проходимого мыслью художника, не простота конфликта, но подлинная реальность его, строгое соответствие намерений художника с внутренним движением избранного им жизненного объекта. Если это условие налицо, самое сложное противоречие будет убедительным, и тем самым осмысленным. И без подсказки писателя мы сумеем найти из него выход: нам поможет в этом другой, куда более надежный подсказчик—жизнь. Ведь сам художник силен лишь в той мере, в какой жизнь передоверила ему свои подытоживающие права.

В последних произведениях Леонова такая оглядка на жизнь иной раз отсутствует. И отсутствие это, разумеется, не проходит бесследно. В замысле и в исполнении художнику иной раз изменяет чувство меры. Тогда в стиле прорывается манерность. Чуткий

читатель не может не заметить ее и в «Воре», и в «Провинциальной истории», и в «Унтиловске» (здесь ее меньше всего), и в «Необыкновенных историях о мужиках». В замысле и в характерах начинает преобладать гиперболлизм. Разве не врет преувеличением от небывалых переживаний Мити Векшина, от образа Маньки Вьюги, от «гомерических» истязаний Мипки Копылева («Возвращение Копылева»), от замены конокрада при расстреле ни в чем неповинным плотником на том лишь основании, что преступник — единственный на селе жузнец, а плотников много («Приключение с Иваном»). И если внешней парадоксальности в «Унтиловске» и «Провинциальной истории» меньше, от этого оба произведения не перестают выглядеть трагическим анекдотом: слишком исключительно внимание, уделяемое художником своим в достаточной мере исключительным героям.

Какова направленность всех этих тем? Она все та же: вопрос о правах «маленького человека», о средней человеческой личности, со всей перегруженностью ее внутреннего мира эмоциональным содержанием, со всей привязанностью ее к своей скорлупе личных интересов и склонностей, со всей ее прикованностью к прошлому, и о столкновении этой личности с требованиями общественного целого.

О законности этой темы и о центральности ее мы уже говорили. Все дело в том, насколько глубоко берется этот конфликт. В последних произведениях Леонова, в которых изобразительное мастерство писателя значительно возросло и языковое богатство умножилось, конфликт этот все же не получает достаточного освещения. Писатель идет по линии его заострения, вкладывает в него весь свой темперамент художника-общественника, но еще не умеет взять его в его подлинной жизненной связи. От этого-то трагичность конфликта в изображении писателя оказывается безысходной. Сосредоточивая свое внимание исключительно на тех социальных пластах нашей страны, которые играют пассивную роль, Леонов в то же время не умеет протянуть от них нити к тому классу,

который является хозяином жизни, не видит бытие своих героев в свете его бытия. Немудрено поэтому, что конфликт, при всей своей трагической заостренности, не получает у Леонова полного трагедийного содержания. Ведь последнее не исчерпывается одним заострением противоречий, но и внутренним их преодолением. И в этом искусство является лишь полноценным выражением жизни. И здесь оно не в противоречии, но в согласии с ней.

Немудрено также, что духовное пере рождение Мити Векшина, его уход к лесорубам, заводская учеба и постепенное возвращение своего утерянного имени застают читателя неподготовленным: оно не выведено из жизненных отношений романа. Не связан с основной группой действующих лиц сын провокатора Яков («Провинциальная история»), уходящий в «новую жизнь, к успехам и победам», — почему и уход его не может служить итогом событий, изображенных повестью.

И по той же причине индивидуалистического своеволия автора, разрывающего жизненные связи, на страницах «Вора» преуспевает Забарихин, не встречая ни композиционных, ни жизненных преград. А когда писатель обращается к крестьянской среде, он выделяет в ней черты, родственные его интеллигентскому сознанию, — выделяет или, при недостатке, сам создает их.

Леонов — писатель молодой и наделенный несомненным крупным талантом. По отношению к нему невозможно теперь же подводить итоги. Совершенно очевидно, что установка последних его произведений не является для него окончательной. Это лишь этап на его творческом пути. Куда пойдет этот путь, можно лишь гадать. Но можно утверждать с несомненностью, что полное развертывание богатых творческих возможностей Леонова, окончательное созревание его, как мастера и общественника, осуществится лишь на основе пристального всматривания в жизнь, внутреннего слияния своего мастерства с ее ходом, мудрого подчинения своего разума, воли и чувств ее властному, но не крикливому, а потому и не для всех внятному голосу.

2. МИХАИЛ ШОЛОХОВ

И. Машбиц-Веров

I

Шолохов — писатель одной и достаточно узкой темы. Эта тема — донское казачество, его труд и борьба, казачьи песни, степные просторы и кони. «Ты понимаешь, Евгений... я до чортиков люблю Дон, весь этот старый, веками складывавшийся уклад казачьей жизни. Люблю казаков своих, казачек, — все люблю. От запаха степного полыника мне хочется плакать... И вот еще, когда цветет подсолнух, и над Доном пахнет смоченными дождем виноградниками, — так глубоко и больно люблю...». Это лирическое признание делает один из героев Шолохова, но, думается, — так чувствует сам автор.

Узость и постоянство темы Шолохова не означает еще ограниченности творческого кругозора. Собственно, даже и великие писатели — одностемны. Величие большого писателя — не в многотемности, не в том, что его герои якобы «энциклопедия мировых типов». Подлинное искусство в том, чтобы, оставаясь по существу одностемным, — через любимых, близких и повторяющихся героев рассказать вовсе неповторяющиеся вещи. Так искусный шахматист одними и теми же фигурами добивается всевозможных, самых сложных и непохожих ситуаций. Так Толстой через единого и постоянного, ищущего и совершенствующегося дворянина разрешает (разумеется, по своему) все важнейшие проблемы истории и философии, нравственности и религии.

Шолохов — писатель одной темы, единого по существу героя, и вопрос вовсе не в том, «узко» ли и «допустимо» ли это, а в том, — умеет ли он через эту свою тему быть по-настоящему широким писателем. Умеет ли он через казачество видеть весь мир, все важнейшие проблемы современности.

А это зависит от самого подхода к казачеству, от того, какими глазами Шолохов его видит.

В нашей литературе до сих пор казаков показывали достаточно односто-

ронне и по шаблону. Шаблон этот был введен еще Гоголем и Толстым. Он состоял в том, что казачество — все равно украинское, донское, уральское или кавказское — показывалось лишь с одной, наиболее блестящей, так сказать, с декоративной стороны. Это — своеобразный романтико-героический показ казака исключительно как воина и ухаря, со стороны его беззаветного удальства и подвигов — боевых, габительских и питейных. Толстой в «Казаках» говорил: «Вот ежели бы я мог сделаться казаком Лукашкой, красть табуны, напиваться чихирем, заливаться песнями, убивать людей и пьяным влезать к милой в окно на ночку, без мысли о том, кто я...». В этих словах прекрасно выражена сущность долго господствующей традиции.

От этой односторонней и потому неверной традиции, к сожалению, мало ушла и литература современная. Серафимович («Железный поток»), Бабель («Конная армия»), Гладков («Конь огненный») — все эти писатели показывали казаков опять-таки, главным образом, в героическо-боевом ореоле...

Шолохов впервые в нашей литературе подошел к казачеству по-иному, изнутри. Он нарушил и изменил традицию, ибо казачество перестало для него быть экзотической темой и штамповым героизмом — то воинственным, то разгульным, но всегда несколько диким. Показать казачество всесторонне и исчерпывающе, со всем его хозяйственным, бытовым, семейным укладом, с его тяжким повседневным трудом и жадной жаждой (по крайней мере, у некоторых) настоящей культуры — такова творческая задача Шолохова.

II

Отличительные черты Шолохова, его подхода к казачеству со всей четкостью встают уже в первых книгах его рассказов: «Донские рассказы» и «Лазоревая степь». Романтико-героиче-

ский шаблон казака, установившийся в нашей литературе, заменяется живым, страдающим человеком, отягощенным домашними заботами, борющимся с нуждой, жалеющим и думающим о близких и вообще о судьбе людей. Шолохов достигает этого двойным освещением казачества: раскрытием его психологии и бытового уклада.

Рассказы Шолохова можно разделить на два цикла: психологический и бытовой. Первый цикл делает упор на внутренние переживания казака, показывает его с интимной, лирико-человеческой стороны. Именно здесь с особой остротой,—за внешней жестокостью, подчас по-звериному беспощадной,—неожиданно встает простой, добрый, много страдавший человек.

Вот примеры таких рассказов.

Старик Микишара (рассказ «Семейный человек») убил собственными руками двух своих сыновей-большевиков. Одного он ударил штыком по всплывшему от побоев, изуродованному лицу, этим ударом положив начало жестокому казачьему самосуду; другого застрелил, когда вел его, как единственного в конвое, на дознание.

По дороге сын упрашивал отца:

«—Батя, все одно в штабе меня убьют, на смерть ты меня гонишь. Неужто совесть твоя досель спит?.. Пусти меня... Не нажился я на белом свете...».

Микишара соглашается отпустить сына, и, когда они достаточно удаляются от стоянки отряда, велит бежать ему к лесу... Застреливает он Ивана неожиданно сзади.

Казалось бы, что может быть бесчеловечней и звериней такого отца? Это уже, как будто, законченное, абсолютное животное. Так и смотрит на Микишару даже собственная дочь, которая ушла из родного дома, открыто заявив отцу: «Гребостно мне с вами, батя, за одним столом исть».

Но Шолохов умеет показать дело иначе. Шолохов раскрывает истинные причины, толкавшие Микишару на неслыханную жестокость,—и все предстает в ином свете.

Микишара убивает сыновей не по своей воле. Суровый уклад казачьей

жизни, железная дисциплина и невероятные устои старо-казачьего быта,— вот чему вынужден был подчиниться старик. Чтобы доказать подозревавшим его в измене казакам, что он сам не красный,—отец должен был беспощадно убивать собственных сыновей-красноармейцев. Разумеется, Микишара мог бы предпочесть быть самому растерзанным. Вероятно, по собственной воле, он бы так и поступил. Но сюда привходят неожиданные обстоятельства: старик был единственным кормильцем оставшихся в станице семи малолетних детей, для них отец обязан был жить...

Принимая последние жалобы, предсмертные стоны умирающего Ивана: «Батя за што?.. Батя, у меня ить дите и жена»,—Микишара оправдывается. Старик так заканчивает свой необычайный и вместе с тем такой простой и трагически-правдивый рассказ:

«... Хотел Иван што-то сказать, а сам все—батя... ба... ба... тя... Слеза у меня пошла из глаз, и стал я ему говорить:

— Прими ты, Ванюшка, за меня мученический венец. У тебя—жена с дитем, а у меня их семеро по лавкам. Ежели б пустил я тебя—меня б убили казаки, дити по миру пошли бы христардничать...».

Так же построен и ряд других рассказов Шолохова: за звериной суровостью неожиданно вскрывается простой, по-своему справедливый, любящий, страдающий человек. Казак Шибалок без особых внутренних мук и колебаний застреливает свою жену—мать грудного ребенка, ибо она оказалась бандитским шпионом. Дарья, еще слабая от недавних родов, напрасно упрашивает Шибалку оставить ее жить на время, чтоб только выкормить сына... Шибалок остается непреклонным.

Но этот же Шибалок, прямолинейно-безжалостный к изменнице-жене,—нежно ухаживает за ребенком, принижено и трогательно просит казаков не убивать его единственного сына:

«... — Братцы!.. В ребенке мы с Дарьей псовинные участники, мое это семя, и пуцай живым оно остается. У вас жены и дети есть, а у меня окромя его никого не оказывается...».

Просил сотню и землю целовал...».

Так строятся рассказы Шолохова из его первого цикла. Они разрушают установившийся шаблон казака — беспощадного и жестокого воина — тем, что открывают его с человечески — мягкой, лирической стороны.

Рассказы, которые можно отнести ко второму циклу, раскрывают того же казака с не менее неожиданной стороны — домашне-бытовой, быденной, хозяйственно-экономической. Если в первых рассказах главный упор сделан на нутряное и лирическое освещение психологии и нравственности казака, то во вторых главное содержание — быт и экономика.

Откуда вырастает такая амплитуда страстей? Такое удивительное сочетание звериной жестокости с самоотверженной, преданной любовью? На этот вопрос отвечают рассказы из второго цикла. Жестокость, как и преданность казака, не есть нечто «имманентное», это не метафизическое или прирожденное свойство казаков, как таковых. Эти чувства вырастают на плотной, реальной основе быта. И чем долготей и устойчивей этот быт, тем яростней и упрямей в своих глубочайших истоках чувства.

Степка (рассказ «Червоточина») — добрый честный паренек; он бесспорно любит свою семью и предан ей. Но Степка — комсомолец. Он хочет, чтобы отец не укрывал истинного размера посевов, чтобы он не эксплуатировал так издевательски и зло бедноту. Этого достаточно, чтобы считать Степана не только чужим, но самым непримиримым врагом.

Отец признается:

«—Теперь, Степан, не будет прежнего ладу. Ты нам наврODE как чужой стал... Богу не молишься, постов не блюдешь... Разве ж это дело? Опять же хозяйство, при тебе слово лишнее опасаясь сказать...».

Еще откровенней брат Степана — матерый, старорежимный казак:

«— Гляди, Степка! Ты уж не махонький... Игра идет «шиб-прошиб», промахнешься, — тебя ушибут! Да случись война или ишо што, я первый

тебя драть буду! Таких щенят, как ты, убивать незачем, а плетью сечь буду... Пороть буду, вот-те крест!..».

Степана, в конце концов, убивают свои же: брат и отец. Отец держит паренька, а брат Максим прокалывает его вилами «в самое сердце». Внешняя причина для расправы — пропажа, по вине Степана, лучших двух рабочих быков; но по существу это, конечно, лишь внешняя причина. Непримируемая ненависть к Степану вырастает на крепкой «казацко-родовой» и хозяйственной основе. Раскрытие властям истинного размера посевов, скрытых отцом; Степан, как постоянно-угрожающее революционное начало, которое разрушает весь привычный уклад и все годами налаженное хозяйство, — вот где истинная причина убийства, вот что превращает потенциальную энергию ненависти в энергию действительную, смертельную.

Так раскрываются и художественно объясняются истоки безудержных и страшных чувств. Психология казачества и его быт складывались под влиянием, главным образом, двух давнишних, исторических сил: обязательной долгосрочной военной службы и кулаческо-крестьянского уклада дома в станице. Военная жизнь вырабатывала навыки суровой дисциплинированности и беспрекословного, бездумного подчинения начальству. Особое, привилегированное положение казачьих войск и сравнительная обеспеченность крупными земельными наделами в специальной Области Войска Донского — вот что вырабатывало из казаков крепких хозяев-кулаков и узкий местный национализм, взгляд на казачество, как на особое племя: казаки, дескать, — не русские.

Ничего не может быть ужасней соединения сурового военного уклада и кряжисто-кулацкого быка. Эти два начала укоренялись в казачестве упорно и долгие годы. Вот откуда эти тяжелые, подчас зверино-жестокое формы семейной жизни, куда вносились начала военной муштровки, абсолютного подчинения «самому»; вот откуда — еще более жестокие проявления классовой борьбы на Дону.

Шолохов прекрасно знает изображаемую им жизнь, и он глубоко, порой бесстрашно правдив. Это его основное достоинство, и это достоинство уже выявилось в первых рассказах. В лирическом отступлении к рассказу «Лазоревая степь» Шолохов насмехается над теми писателями, у которых «в степях донских и кубанских умирали, захлебываясь напыщенными словами, красные бойцы». Шолохов знает иную — заправдленную правду о том, как «безобразно-просто умирали в окопах люди», о том, как безобразно-дико разворачивалась эта борьба в казачьих станицах, часто между различными членами одной и той же семьи...

Рассказы Шолохова дают возможность прощупать его основное художественное мироощущение, художественный подход к миру — в данном случае к миру донского казачества. Молодой писатель остро и больно чувствует и положительные, и отрицательные стороны родной ему среды, он ничего не скрывает и не приукрашивает. Он одинаково честно рассказывает и о том тяжелом, грязном, отталкивающем, идущем от прошлого, легшем тяжелым грузом на всем быту казачества, и о том честном, достойном, подлинно-человеческом, что нередко скрывается за грязной коростой жестокости и жадности, что принесло с собой новое время.

В собственно-литературном смысле первые рассказы Шолохова еще не представляют собой значительного достижения. В стилистическом отношении большинство из них — обычные, среднего уровня полуреалистические, полунатуралистические повествования. Они заинтересовывают читателя не столько художественной отделкой, сколько жизненным материалом. Но уже и среди этих рассказов есть некоторые бесспорно значительные и в смысле собственно-литературном («Лазоревая степь», «Семейный человек», «Шибалково семья»). Именно эти рассказы содержат обещание крупных достижений.

Первым таким крупным достижением является роман «Тихий Дон».

III

Эпопея «Тихий Дон» охватывает три эпохи: «мирное» время — примерно, период после первой революции и до 1914 г.; эпоху империалистической войны 1914 — 1917 гг.; наконец, — революцию 1917 года и гражданскую войну на Дону.

Со стороны захваченных Шолоховым социальных прослоек, всех многочисленных выведенных им героев можно разделить на три классовые группы: 1) рядовое, станичное казачество — центральный герой эпопеи. По существу это в большинстве — тугое, зажиточное крестьянство. 2) Высшее — начальствующее и богатое — казачество: казачье дворянство, офицерство, интеллигенция, купечество; наконец, 3) немногочисленные и слабые представители революционной и бедняцко-батрацких слоев казачества.

Рядовое казачество представлено многочисленной галлереей самых различных людей, различных взглядов, настроений и стремлений. Уже Мелеховы и Коршуновы, — две характерных казачьих семьи, — при всем своем сходстве выдвигают глубоко различных людей: лихой и беззаботный казак Митька Коршунов и вечно ищущий, настороженно думающий, неудовлетворенный жизнью Григорий Мелехов; как-то целомудренно-жадная и неаппетитная в ласке Дарья Мелехова, постоянно изменяющая своему Петру, и столь же инстинктивно — верная, неизменная в своей привязанности Наталья Коршунова; главы этих двух семейств — гордые, своеправные, хозяйственные Паштели Прокофьевич и Мироп Григорьевич — каждый по-своему чудаковатый и хитрый.

Две основных категории людей видит Шолохов среди многочисленных типов рядового казачества. К одной категории относятся: Митька Коршунов, Петр Мелехов (старший брат Григория), Степан Астахов, знаменитый в свое время герой «Крючков», казак Чубатый; из женщин — Дарья Мелехова. Для всех этих, наиболее многочисленных и ти-

пичных казаков жизнь — прямая, понятная, уже давно проторенная отцами и дедами, дорога. Разгадка жизни проста: надо делать карьеру, и для этого преданно и верно служить; надо укреплять хозяйство, богатеть,—а для этого опять-таки выслуживаться и еще упорно, не покладая рук, работать; надо, наконец, наслаждаться жизнью, как она есть, не мудрствуя лукаво.

Чрезвычайно характерна в этом отношении жизнь Митьки Коршунова. Митька, не задумываясь, без всяких угрызений совести наделяет своих любовниц позорной болезнью; в его послужном списке значится судимость за изнасилование и грабеж (в годы войны). Митька с чисто-звериным бесстыдством и наглостью пристаёт к красавице-сестре Наталье: «Тоску твою хочу разогнать...».

«— Уйди, Митька! Зараз пойду и расскажу бател.. Какими ты глазами на меня глядишь? И-и, бессовестный!.. Как тебя земля держит!..»

— А вот держит и не гнется, — нахально-самоуверенно отвечает Митька и в подтверждение топает сапогом и подпирает бока...».

Разбойно-лихой, бездумный и бесшабашный Митька, первый похабник и один из самых смелых казаков сотни, не очень считается и со своей служебной карьерой, не особенно стремится выслужиться. Это понятно: Митька происходит из очень зажиточной, вполне обеспеченной семьи.

К той же категории малодумающих, привычной жизнью живущих людей относится и Петро Мелехов, хотя он во многом взрослей, воздержанней и серьезней Митьки. Петро гораздо более ревностно относится и к службе, ибо для него—крестьянина-средняка—это важный вопрос материального благополучия. Но вот, например, империалистическая война Петра почти никак не затронула, нравственно на него не повлияла. «Петро быстро и гладко шел в гору,—рассказывает Шолохов,—получил под осень шестнадцатого года вахмистра, заработал, подлизываясь к командиру сотни, два креста, и уже поговаривал в письмах о том, что бьется над тем, чтобы послали его

подучиться в офицерскую школу... Жизнь улыббалась Петру, война радовала потому, что открывала перспективы необыкновенные».

Эта философия бездумно-беззаботного, звериньо-ограниченного подхода к жизни прекрасно выражена в словах Чубатого—третьего яркого представителя той же категории казаков.

Чубатый поучает Григория, присмирешшего и тоскующего после первого убийства, совершенного на фронте:

«— Скажи, убил ты человека?.. Сте-нить душа?.. Сильный ты, а рубить дурак... Человека руби смело. Мягкий он, человек, как тесто. Ты не думай как и што. Ты—казак, твой дело — рубить, не спрашивая. В бою убить врага—святое дело. За каждого убитого скащивает тебе бог один грех, то же как и на змею...»

В отличие от Митек Коршуновых, Чубатых и т. д., Шолохов показывает других казаков—вдумчивых и серьезных, ищущих новых путей в жизни, ощущающих несурязицу, нелепость и несправедливость существующего порядка вещей.

Григорий Мелехов — наиболее яркий, наиболее внимательно и полно-кровно очерченный тип ищущего, революционно перерождающегося казака. Мы еще не знаем, чем кончит Григорий (роман еще не закончен), но, по всей видимости, автор ведет его к коммунизму. И вот,—здесь особенно важны те уклоны и зигзаги жизненного пути, те сложные идейные и эмоциональные колебания, которые Григорий переживает.

Вначале Григорий — обычный, ничем не выделяющийся парень, малый работающий, неглупый и пылкий. Деспотизм отца и семьи, правда, Григорий начинает ощущать рано и остро. Несмотря на его любовь к Аксинье, его женят на Наталье Коршуновой, ибо «сам» находит, что это выгодно и нужно. Тот же тяжелый семейный деспотизм заставляет Григория рано покинуть семью и уйти в работники к генералу Листницкому.

Неприятности с семьей, остро почувствованный деспотизм отца,—в ос-

новном мало изменяют Григория. Он уходит на действительную службу обычным, «верным» казаком. Лишь империалистическая война принесла с собой совершенно новые для Григория мысли и заботы.

На войне Григорий пережил обычную для большинства фронтовиков духовную революцию. Уже первое убийство заставило Григория глубоко задуматься над смыслом войны. «Я под Лешнювым заколол одного пикой. Сгоряча... Иначе нельзя было. Вот он по ночам и снится, сволочь... Я, Петро, уморился душой», — признается Григорий своему брату.

Отвращение и ненависть к войне еще более укрепились в Григории, благодаря большевику Гаранже, с которым он сблизился в госпитале. В Григории впервые зарождается остро враждебное чувство к высокопоставленному начальству. Эта нарастающая ненависть разрешается своеобразно-дикой выходкой. Вместо напыщенного-патриотического, торжественного ответа, каким полагалось говорить с высокопоставленными лицами, делавшими парадный смотр больных, Григорий, зло издеваясь, заявляет:

«— Я бы... Мне бы по надобности сходить... по надобности, ваше императорское... по малой нужде...».

Из госпиталя Григорий возвращается с горьким чувством одиночества, затравленности, усталости, бессмысленности и бесцельности войны. И дома он неожиданно узнает об измене Аксиньи с Листницким — офицером-барчуком, его хозяином. Впервые в Григории просыпается лютая, уже осознанная классовая ненависть. Заманив Листницкого в лес, Григорий жестоко избивает его... На этом последнем этапе все нарастающей ненависти к старому кончается первая книга романа.

До настоящего момента в Григории все накапливались чувства недовольства, по существу, чувства, подготовившие почву для восприятия большевистских идей.

Но здесь вдруг наступает перелом.

Михаил Шолохов так описывает этот перелом, происшедший с Григорием дома, в родной станице, во время длительного отпуска:

«Григорий всюду, даже в семье, ловил боковые, изумленно-почтительные взгляды, — его разглядывали так, как будто не верили, что он — тот самый Григорий, некогда своевольный и веселый парень. С ним, как с равным, беседовали на майдане старики, при встрече на его поклон снимали шапки, девки и бабы с нескрываемым восхищением разглядывали бравую, чуть сутуловатую фигуру в шинели с приколотым на полосатой ленточке крестом. Он видел, что Пантелей Прокофьевич явно гордился им, шагая рядом в церковь или на плац. И вес этот сложный тонкий яд лести, почтительности, восхищения постепенно губил, вытравлял из сознания семена той правды, которую посеял в нем Гаранжа. Пришел Григорий с фронта одним человеком, а ушел другим. Свое, казачье, национальное, всосанное с материнским молоком, кохаемое на протяжении всей жизни, взяло верх...».

Рецидив старого, однако, оказывает уже недействительным. Ужасы войны и грянувшая революция заставляют Григория опять передумать пути своей жизни, искать нового. В поисках «правды» Григорий обращается то к Изварину — казачьему офицеру, ухитрившемуся соединить в себе «национально-казачье с большевистским», то к Подтелкову, — сознательному казаку-большевику, то к другим, встречающимся ему на пути, людям. Пока Шолохов оставляет Григория еще на полпути: он уже принимал участие в борьбе с Калединым, но все еще не решил окончательно, с кем и куда идти:

«... Там назади все было путанно, противоречиво. Трудно нащупывалась верная тропа... Тянуло к большевикам — шел, других вел за собой, а потом брало раздумье, холодел сердцем. К кому же прислониться, у кого полной пригоршней почерпнуть уверенности?..».

Кроме Григория, Шолохов (во второй книге «Тихого Дона») выводит и других представителей передового казачества: Подтелкова, Лагутина¹⁾. Эти

¹⁾ Кстати сказать, Подтелков и Лагутин — исторические фигуры большевиков-казачков, сыгравших огромную роль на Дону. Шолохов (пока) рисует их, не отходя от исторических фактов.

люди гораздо сознательнее Мелехова, это уж вполне сознательные большевики. Когда белоофицер Листницкий, выведенный из себя агитацией Лагутина, зло и начальственно кричит: «Да ты что, — землей не сыт? Нехватает тебе?..»—Лагутин, «взволнованно задыхаясь», резонно отвечает:

«— А ты думаешь я об себе душой болею? В Польше были — там как люди живут? Видал аль нет? А кругом нас мужики как живут?.. Я-то видал! Сердце кровью закипает!.. Што ж, думаешь, мне их не жалко, што ль?.. Я, может быть, об этом, об поляке, изболелся весь, на его горькую землю интересуюсь...».

Разумеется, до такого высокого нравственно-идеологического, уже собственно-коммунистического сознания, когда человек болеет за «мужиков вообще», за все угнетенное крестьянство, — Григорию еще далеко. Григорий только совершает первые шаги революционного самосознания, он еще только-только освобождается от своих казацко-националистических, привычных взглядов. И хорошо, что Шолохов не форсирует духовный рост Мелехова, что он вдумчиво и серьезно показывает все отступления, отходы, трудности этого пути. Именно этим Шолохов сохраняет своеобразие путей революционного перерождения казачества, именно этим достигается подлинная жизненная и художественная правда.

Параллельно с рядовым казачеством в романе выведена также местная аристократия: высшее начальство, интеллигенция, богатое и образованное купечество. Совершенно неожиданно эта часть получилась у Шолохова убедительной и красочной, немногим уступающей по своей художественности изображению низового казачества.

Из интеллигенции невоенной, частной Шолохов выводит два любопытных типа: Елизавету Мохову и студента Андрея Ивановича.

Елизавета — красивая и пустая, богатая и взбалмошная девушка, вос-

питанная в духе модных в 1907—10 гг. идей декаданса и арцыбашевщины. Игра в любовь, свобода половых отношений, переходящая в разврат, роскошь, безудержная жажда, главным образом, физических наслаждений, — вот что составляет существо жизни Лизы, ее прошлое и будущее...

К этому же разряду нравственно-опустошенных интеллигентов, не имеющих по существу путей и целей в жизни, относится и любовник Елизаветы — студент-казак Андрей Иванович, от нечего делать ушедший добровольцем на фронт. Дневник Андрея Ивановича, найденный Григорием на уже похолодевшем его трупе, — типичное порождение эпохи упадка и беспутья.

Из купеческой среды очень хорошо выведен отец Елизаветы — Сергей Платонович Мохов.

Сергей Платонович полон огромной, еще неизрасходованной энергии, всегда занят очередными делами, и за ними проглядел собственную жизнь и жизнь детей и близких. Весь охваченный энтузиазмом накопления и творчества, Мохов опоминается только с приходом революции. С неподдельной скорбью он вдруг замечает, что у него — ни семьи, ни обеспечения, ни прошлого, ни будущего. В этой трагедии Сергея Платоновича — трагедия всей русской буржуазии, оказавшейся с революцией у разбитого корыта, — без капиталов и без перспектив...

Из собственно дворянской среды подробно показан старик-генерал Листницкий. Этот неподдельный — родовой и чиновный — аристократ, владелец четырех тысяч десятин, некогда непримиримый политик и смелый вояка, — теперь мирно, как тихий бонвиван, доживает дни в своем поместье. Он занимается хозяйством, любимой охотой, воспоминаниями и одинокими попойками...

Отдельно надо отметить выведенную Шолоховым активную военную аристократию: высшее казачье начальство. Здесь чрезвычайно любопытны сжато и остро поданные портреты исторических личностей: генералов — Корнилова, Каледина и Лукомского, и — далее — тип белоофицера Евгения

Листницкого, сына старика-генерала, — одного из центральных, на ряду с Григорием Мелеховым, героев романа.

Л и с т н и ц к и й, смелый и по-своему честный офицер, убежденнейший монархист, восторженный поклонник Николая II. Активный участник корниловского заговора, умный и тактичный, Листницкий умеет, когда это нужно, прислушиваться к казачьей массе и даже льстить ей. Он умело организует слежку и монархическую агитацию в своей сотне. Он умеет быть решительным и жестоким, когда того требуют обстоятельства.

Листницкий прав, он действительно сумеет, как клянется, — «за генерала Корнилова и свою и чужую кровь цедить»...

Рисуя многочисленных представителей аристократически-буржуазной среды, Шолохов не впадает в тон прокурора или публициста. Автор не скрывает положительных сторон этих героев: их ума, смелости, энергии, индивидуальной честности и т. д., и т. п. Осуждение реакционных героев и сочувствие к революционерам достигается у Шолохова не ораторскими отступлениями и поучениями, а чисто художественным путем: путем образного, конкретного показа объективно-исторической обреченности, опустошенности и низости дворянско-буржуазных идеологов. Путем показа их объективного вреда для народа, для всего рядового казачества, несмотря даже на индивидуальную честность и самоотверженность отдельных лиц (например, Каледина, Листницкого и других).

Наименее удачно получились в романе профессионалы-революционеры и редкие представители (среди казачества) рабочих и батраков.

Прлехавший в станицу с целью пропаганды революционер-профессионал Штокман — с.-д., большевик; рабочий мелеховской мельницы Иван Михайлович, большевик Бунчук, казак-офицер, очевидно, из интеллигентской семьи, — все эти лица, тайные собрания на квартире у Штокмана, агитационные речи Штокмана и Бунчука — ху-

дожественно гораздо слабей и не идут ни в какое сравнение с показом жизни аристократической среды и рядового казачества. Речь Бунчука и Штокмана вялые, неяркие, книжные, составленные языком тусклых передовиц, начиненные тяжеловесными цитатами из теоретических статей. Они не убеждают читателя и, надо полагать, слушателя, к которому обращены: они просто скучны.

И вот что особенно любопытно. Когда Шолохов дает революционную речь какого-нибудь казака — рядовика, например, Лагутина или Подтелкова, — речь получается живой, увлекательной, волнующей. В ней — простые, убийственно-убедительные примеры из собственной, близкой и знакомой жизни, из быта родной станицы, казачества, войск. Здесь у Шолохова оратор получается темпераментным, колоритным, живым. Наоборот, речь профессионала-революционера рассыпается пустыми, как хлопки, словами.

Думается, что так получается оттого, что Шолохов недостаточно хорошо знает революционеров — профессионалов. У революционера-профессионала, — все равно рабочего или интеллигента, если он только искренен в своем революционизме, — находятся свои, колоритные и убедительные, слова и примеры, своя патетика и лирика. Его речь вовсе не тускла и не книжна, как не тусклы и не книжны, скажем, речи Бухарина, Троцкого. Но Шолохов, очевидно, не знает так близко этой среды — ему здесь не хватает красок.

И еще одно любопытное обстоятельство. Революционер-профессионал и революционер вообще получают гораздо убедительнее у Шолохова, когда он рисует их не как агитаторов, а в действии. Бунчук скверно получается, как пропагандист, но очень недурен, как инструктор пулеметной команды (2-я книга «Тихого Дона»); Иван Михайлович неяркий, как участник подпольного кружка, но очень убедителен, как предводитель казачьей сотни, отказывающейся идти за Корниловым.

Над многочисленными людьми различных социальных прослоек, над разносторонним бытом, над всей эпопеей «Тихий Дон», цементируя ее, встает основная идея, основное настроение, эмоционально - идейная установка романа.

Основное настроение «Тихого Дона» можно охарактеризовать, как жадность к жизни, бодрое и жизне-радостное восприятие ее, воля к борьбе и победе.

Роман пронизан многочисленными прекрасными и свежими описаниями Дона, южных степей, жизни зверей — особенно казачьих копей. Крепко запоминается своеобразная, мужественная «охота» за стерлядями в бурю, рыболовство вообще, картины летних работ на поле, казачьи состязания в бегах, охота на волков и т. д. От всего этого веет земляной неизбывной силой, неизменной любовью к жизни и человеческому труду.

А нам этим, таким прекрасным и заманчивым, человеческим трудом, — встает сам человек, духовно растущий, освобождающийся от тяжелой грязной коросты прошлого, казак типа Григория Мелехова или Лагутина. Все симпатии Шолохов отдает именно этому — растущему, революционно и сознательно оформляющемуся человеку, за его судьбой с особым волнением и любовью следит читатель.

Есть у Шолохова большая жалость к человеку, любовь к нему, боль за его страдания, невежество и дикость. Именно поэтому, как мы уже говорили и раньше, Шолохов умеет разыскать в казаке, за его внешней дикостью и жестокостью, — человечески - хорошее и достойное, то, что надо холить и воспитывать. И вот это же умение находить хорошее в человеке не покидает Шолохова и в «Тихом Дону».

Шолохов видит, как в казачестве нарастают новые — передовые и сознательные — революционные силы, несущие в Дон культуру и подлинно человеческие общественные взаимоотношения. Шолохов заставляет нас с любовью и волнением следить за тем, как нарастает такой человек. И даже

за громом пушек, за реками крови империалистической войны, даже в годы обще - казацкого и обще - российского патриотического похмелья умеет Шолохов углядеть все те же остатки человеческого, — тот «зародыш», который надо любовно и долго холить, и который не совсем потерян был казачком.

Идя на смерть, отправляясь в бой, суровая и мрачно настроенная сотня вдруг начинает шутить и радостно смеяться, расстраивая ряды. В чем дело? Это — в ряды солдат затесался жеребенок. Обстоятельство, разумеется, незначительное, пустяковое обстоятельство. Но для Шолохова это вовсе не пустяк. За этим смехом, за шуткой, за тем, что ни один из казаков, послушиваясь начальства, не прогнал, не ударил жеребенка. — За этой «мелочью» для Шолохова скрывается целая эпопея о сохранившемся облике человека, о человечески - добром и ласковом. И именно это человечески - хорошее скажется позже, когда сторожевой пост из тех же казаков, задерживающий дезертиров, сжалится над обманутыми, измученными людьми и отпустит их домой, дружески посоветовав:

«— Эй! Кобылка! Куда же вы на чистое претесь? Вон лесок, переднейте в нем, а ночью дальше! А то ить на другой пост нарветесь — заберут!..».

Надо, однако, сказать, что шолоховская жалость и любовь к человеку — это не жалость и любовь ко всякому человеку, к человеку вообще. Правда, находясь под большим, не только формальным, но подчас и идеологическим, влиянием Толстого, Шолохов изредка доходит до такой общечеловеческой, вселенской жалости. Но это бывает только изредка, как исключение. В основном же Шолохов понимает, что большая любовь требует большой ненависти. И особенно непримиримой должна быть эта ненависть к тем, кто против роста Григорьев Мелеховых, кто хотел бы опять их покрыть кровавой и грязной коростой невежества, дикости и зоологического национализма.

IV

До сих пор мы говорили, главным образом, о содержании творчества Шолохова, о различных социальных типах и быте, им зарисованных. Но «содержание» художественного произведения живет только через форму, только через то, как оно дано. Каковы же собственно художественные достижения нашего автора?

Над всем творчеством Шолохова, и особенно над «Тихим Доном», веет образ Толстого. Шолохов учится у Толстого добросовестно, талантливо, на великую пользу себе, но-своему преодолевая и используя гениального писателя.

Шолохов перенял у Толстого основной метод художественного подхода к человеку. То-есть, во-первых, — своеобразный детализированный толстовский психологизм, так сказать, психологизм рефлексологический; и, во-вторых, — общую настроенность своих вещей — любовь и жалость к живому, любовь к здоровому, красивому и молодому: людям, животным, природе. Но и основной этот, детализированный психологизм, и здоровую «настроенность» вещей Шолохов начинает конкретно совершенно иными, новыми, своими—языком, образностью, деталями, не говоря уже о переживаниях. Однако нередко Шолохов капитулирует перед Толстым, переходя к простому, механическому подражанию.

Вот образцы механического подражания Толстому.

Ощущение молодой и беспричинной радости подростка Дуняши Шолохов описывает так:

«...Дуняшка подпрыгивала на грядущке, счастливыми глазами разглядывая луг и встречавшихся над дорогой людей. Лицо ее, веселое, тронутое загаром и у переносицы веснушками, словно говорило: «Мне весело и хорошо оттого, что день, подсиненный безоблачным небом, тоже весел и хорош; оттого, что на душе вот такой же синий покой и чистота. Мне радостно, и больше я ничего не хочу».

А вот как комментирует Шолохов «подвиг Крючкова»:

«...А было так: столкнулись на поле

смерти люди, еще не успевшие наломать рук на уничтожении себе подобных; в об'явшем их животном ужасе натыкались, сшибались, наносили слепые удары, уродовали себя и лошадей и разбежались, вспугнутые выстрелом, убившим человека, раз'ехались нравственно искалеченные.

Это назвали подвигом».

Совершенно очевидно, что в приведенных двух описаниях — в описании радостного ощущения жизни Дуняши: ее «счастливых глаз», ее здорового, бодрого эгоизма — «больше я ничего не хочу»; в этом философско-нравственном «остранении» подвига Крючкова ясно, что все здесь от Толстого: и манера письма, и настроение, и идеология. По существу здесь Шолохова нет, а есть механическое подражание, капитуляция перед Толстым. И такие места в романе нередки. Письмо Листницкого о насквозь лживых дворцовых порядках — типично толстовское осуждение высшего света; мысли Листницкого о толпе близких, и вместе с тем враждебных «прилично одетых и сытых» петербуржцах—опять-таки любимый толстовский прием о все же близкой, родной и приятной, при всем отталкивании от нее, своей аристократически - богатой среде; восторженное поклонение Листницкого перед Николаем II напоминает такую же восторженность Николая Ростова перед императором Александром. И т. д., и т. п.

Простое подражание и, значит, вместе с тем идеологически художественная капитуляция перед Толстым у Шолохова безусловно имеется, но преувеличивать ее не следует. В конечном счете Шолохов несравненно чаще преодолевает Толстого, но-своему его перерабатывает. И в этих, наиболее типичных случаях Шолохов, беря основной метод у Толстого, образует уже свое, оригинальное лицо художника.

Преодоление Толстого начинается с того, что, беря его основной метод, Шолохов разворачивает действие другим совершенно языком, в иной художественно-образной отделке и на иных качественно пережива-

ниях. Вот пример такого частичного преодоления Толстого:

«...Григорий перед сном тщетно старался припомнить что-то гнетущее в мыслях, не словленное. Шли в полусне думы гладко и ровно, как баркас по течению, и вдруг натыкались на что-то, будто на мель; муторно становилось, не по себе; ворочался, встал в догадках. «Что же? Что такое поперек дороги?».

А утром проснулся и вспомнил: «Служба! Куда же мы пойдем с Аксюткой? Весной — в лагери, а осенью — на службу... Вот она зацепа».

Здесь самое осознание подосознательного, прозрение и детальный анализ сложных переживаний через оседание их на «дне души» — этот прием взят бесспорно у Толстого. Но вот слова, которыми думает Григорий («муторно», «зацепа»), самое содержание этих дум (тяжесть, неприятность военной службы), наконец, образность, приносимая писателем («как баркас по течению»), — все это уже шолоховское, качественно иное, чем у Толстого.

Своеобразие манеры письма Шолохова заключается в том, что весь его стиль — т. е. и язык, и образность, и детали, которые он замечает, и психология, которую он рисует в своих центральных и наиболее родных и симпатичных ему героях, — это все по существу образует крестьянский стиль, крестьянскую поэтику.

Шолохов прекрасно использует, во-первых, крестьянскую речь, крестьянский синтаксис, своеобразные и колоритные местные — донские — слова. При чем крестьянская речь дается не только в живых диалогах самих казаков — крестьян, но нередко и от самого автора, в его описаниях и лирике.

Чрезвычайно характерны также эпитеты, сравнения, вообще образность Шолохова. Эта образность по преимуществу идет от деревенско-крестьянского мироощущения. Она ассоциируется с привычным бытом, трудом, природой. Борода у Пантелея Прокофьевича стекает с лица на грудь, «как черная

растаявшая колесная мазь»; у другого (русого) мужика («Лазоревая степь») — борода «похожа на «новый просяной веник», а брови — как «вз'ерошенное жито». Своим высоким ростом казаки-атаманцы выделяются среди других казаков, «как гуси голландские среди мелкой домашней птицы». Река лежит «голубой нарядной дугой». Степь покрывается туманом, «как лошадь коростой». Наталья устаёт, «будто тянула косилку». И даже конский помет похож — на «оранжевые яблоки».

Важно и радостно отметить, что в образности Шолохова отсутствуют сравнения и эпитеты, связанные с церковно-религиозным бытом. В то время когда у других крестьянских писателей (Клычков, Орешин, Есенин, Клюев) религиозно-образная ассоциация — явление обычное, у Шолохова, наоборот, этого нет. Это объясняется идеологией автора, далекого от религиозных настроений.

Ту же крестьянскую подоснову творчества Шолохова выявляет и его художественная деталь. Шолохов имеет зоркий глаз, он умеет подметить красочные подробности, которые сразу дают увидеть и почувствовать своеобразие предмета:

«...Донские кони, в первый раз увидевшие шоссе, в первую минуту ступили на нее, постригивая ушами и храпя, как на речку, затянутую льдом...»

Казак, разговаривая с офицером, «из вежливости проглатывает слюну», которую он хотел выплюнуть. Отец везет домой Григория, — приехавшего в отпуск георгиевским кавалером, — через главную улицу, хотя для этого приходится сделать большой крюк: отцу лестно провезти на показ перед всей станицей сына-героя. Василису, пришедшую сватать Наталью, «колет украденный в сенях веник, сунутый под кофту: по приметам, сваты, укравшие у невесты веник, не получают отказа». Степановна «торопливо сгребала дымящийся помет (корова ее страдала поносом) и за-

ботливо выбирала для просушки каждый колосок».

Все эти подробности, зорко подмеченные Шолоховым, ярко рисуют особенности предмета, быта, жизни данной среды. Это не случайные подробности, которые могут быть и не быть: за тревожно-скупой бережливостью Степановны, за пугливостью непривыкшей к шоссе донских коней, за поглощенной из вежливости слюной, за всем этим скрывается огромный опыт, великодушное знание среды и людей. И вот что любопытно отметить: такой силы, такой типичности эти детали достигают именно тогда, когда Шолохов ведет речь о крестьянстве, о рядовом казачестве. Здесь детали не только художественно показательны, но и внутренне, — в психологическом и бытовом разрезе, — глубоко правдивы. Не то с деталями, касающимися других социальных прослоек. Генерал Корнилов, обсуждая с генералом Романовским план наступления на Петроград, волнуясь, «суетливо выкидывал руку, пытаясь поймать порхавшую над ним крохотную лиловую бабочку». И когда, наконец, ему «удалось поймать ее, он облегчающе задышал, откинувшись на спинку кресла». Разумеется, и здесь

дана деталь безусловно яркая, декоративная. Но вот правды бытовой, вообще глубинно-жизненной правды за этой деталью нет. Она только внешне художественна, внешне показательна.

Думается, что тот факт, что детали именно из крестьянско-казачьего быта оказываются глубоко насыщенными по своей типичности, — выявляет опять-таки крестьянскую подоснову творчества Шолохова.

До «Тихого Дона» Шолохов мало обращал на себя внимания; его рассказы, несмотря на отдельные исключения, были в общем среднего достоинства. «Тихий Дон» выдвигает Шолохова в первые ряды советской литературы. Огромный охват эпохи и людей самых различных социальных слоев; вдумчивое и серьезное изучение самого разнообразного быта и психологий; бодрое и крепкое восприятие жизни и высокая общеидейная установка романа; несмотря на некоторые недостатки, о которых речь была выше, в общем яркая, убедительная, замечательная по простоте языка «форма» романа — все это делает «Тихий Дон» крупным явлением современной литературы.

3. ПАРИЖСКАЯ ШКОЛА

(К выставке современного французского искусства)

Я. Тугендхольд

I

За художественным Парижем установилась заслуженная слава второго Рима — очага мирового изобразительного искусства, горнила новых художественных исканий и изобретений. Нас, русских, и в частности москвичей связывают с этим Парижем особенно явные художественные взаимоотношения, вернее же (поскольку дело идет о живописи, а не о театральной декорации и графике), отношения ученичества, начавшиеся с конца XIX и принявшие особенно систематический характер с начала XX века. Целое поко-

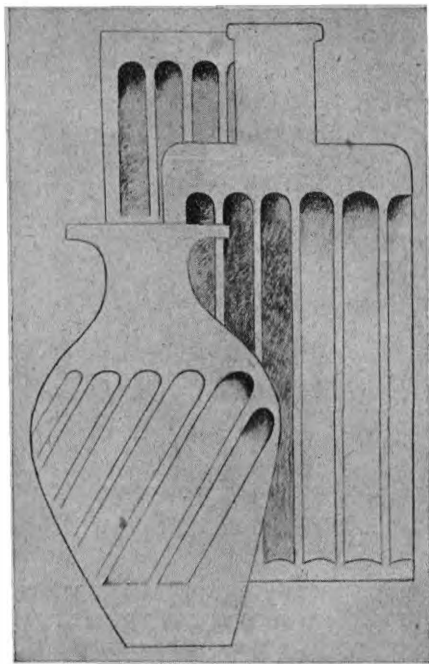
ление наших художников, — как, например, вся группа «Бубнового Валета», — воспиталась на образцах французского искусства, на уроках французской живописной культуры.

Война, а затем и революция резко оборвали эти нити между Москвой и Парижем. Правда, благодаря Октябрю и «огосударствлению» им частных художественных собраний Щукина и Морозова, равных которым по полноте нет в самом Париже, этот контакт наш с Францией не прекратился и даже выиграл в своей широте. Если раньше художественный Париж знаком был лишь небольшому кругу наших худож-

ников-профессионалов, то за эти революционные годы к Щукинскому и Морозовскому собраниям приобщились многие десятки тысяч экскурсантов: советской молодежи и демократии. Но ведь в то самое время, как мы бережно хранили и широко популяризировали сокровища французского искусства в Москве, это искусство продолжало развиваться на новый, послевоенный лад. И понадобились весьма продолжительные переговоры между этой новой Россией и официальной Францией, чтобы, наконец, спустя пятнадцать лет мы увидели в Москве новую художественную продукцию Парижа.

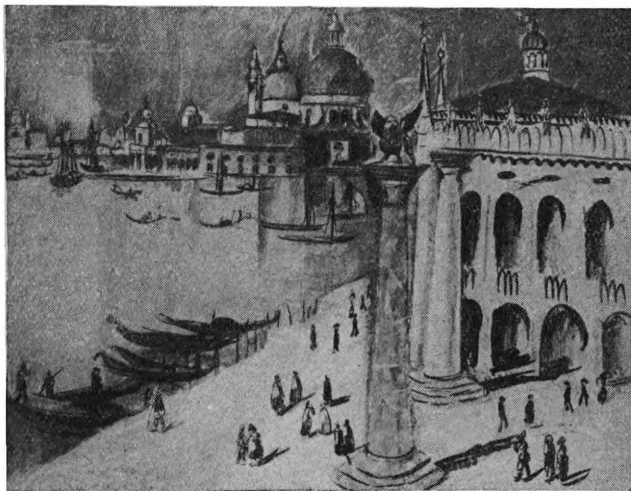
Открывшаяся выставка для нас, разумеется, целое событие. Хотя ахррвцы и провозглашали необходимость «самобытного пути» для советского искусства, но ясно, что при подобном «славянофильстве», без оглядки на неизмеримо более высокое мастерство Запада, наше советское искусство не в состоянии шагнуть вперед. Французская же выставка особенно интересна для нас именно тем, что если германские художники близки нам своим психологизмом, своей общественной насыщенностью, то художники-французы—наиболее блестящие хранители профессиональной художественной культуры, мастерства самой живописи.

Надо, однако, сказать, что те самые послевоенные условия, о которых упомянуто выше, значительно ущемили размер этого «события» для нас. Выставка далеко не являет собою исчерпывающей картины новейшего французского искусства,—она носит в достаточной мере случайный характер. Нашим устроителям ее приходилось, очевидно, брать то, что дают. Так, мы не находим на выставке ни первого «мэтра» и законодателя вкусов Пабло Пикассо, ни его сподвижника и такого же новатора Брака, ни «классического» Дерена (всего одна его маленькая вещь), ни буйно красочного Матисса, ни старого романтика Руо, ни восходящую новую звезду Парижа Дюфи, ни близкого нам по своему тучному, земному реализму Сегонзака и его товарищей, ни изящного Кислинга и т. д.



А. О з а н ф а н. Композиция (рис.).

Случилось же это потому, что наши интересы культурно-просветительного порядка не смогли, очевидно, преодолеть интересов французской коммерции. Современное западно-европейское искусство пребывает в подлинной кабале у торговцев картинами, «маршанов», которые покровительствуют художникам, строжайше их монополизируя. Какой-нибудь Леоп Робенберг, «владеющий» Пикассо, конечно, считает нынешнюю Россию недостаточно «интересной» с коммерческой точки зрения, чтобы расстаться с новейшими произведениями своего протеже: за время визита их в далекую Москву может появиться настоящий солидный клиент из страны, благополучно избежавшей большевизма. Вот если бы в Москве попрежнему благоденствовали мосье Щукин, Морозов, Рыбушинский—тогда «с удовольствием»... То же самое и в отношении другой, уже нашей, отечественной знаменитости, Марка Шагала, давшего на московскую выставку лишь офорты и ни одной живописи. Он был бы рад показать своей родине большее, но... что поделаешь: слава



А. Варокье.

Венецианский пейзаж.

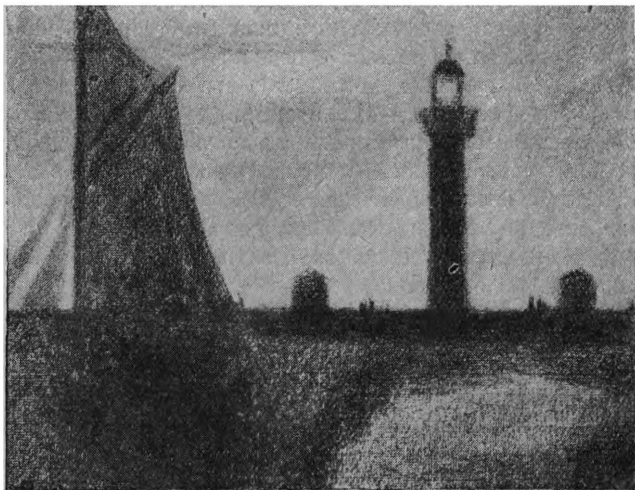
«обязывает»—картины Шагала, еще в утробе его творчества, принадлежат не ему, а такому-то маршану¹⁾.

Не этими ли специфическими послевоенными условиями художественной жизни Франции, ставшей рынком для иностранцев, и по преимуществу для американских «любителей искусства», объясняется то относительное притупление художнического новаторства, которое бросается в глаза и на выставке. Французское искусство, давшее миру целый ряд новых боевых знамен и, прежде чем пустить их беспрепятственно завоевывать мир, вынесшее на своих плечах всю тяжесть первых битв,—вспомним только славные имена Эдуарда Мана, Клода Мона, Дега, Гогена и др.—нереживает сейчас пору маститого «почивания на лаврах». Особенно бороться как-будто не за что,—никакого зажигающего нового «во имя» у него еще нет; не приходится даже и

¹⁾ И однако, хотя у нас нет больше мосье Шукки, Морозов и Рябушинский, все же действительно лучшие вещи с выставки будут приобретены комиссией Главискусства—для пополнения наших музеев.

«эпатировать буржуа», ибо этот буржуа уже ко всему привык и, узнав на горьком опыте, что то, что вчера ему казалось «мазней», сегодня может дать прибыль, готов идти навстречу всякой «левизне». Единственное, чего требует этот буржуа, это—приятности: он устал от войны, от призраков революции, он разбогател, он победил на фронте внешнем и пока-что на фронте внутреннем, и ему, чорт возьми, хочется, наконец, пожить!

Его «философское» исповедание — гедонизм. И у него, например, в особенном фаворе бывший «дикий» художник, талантливый голландец Ван Донген, умеющий с изысканной красочной чувственностью показать женское «дезабиле». («Серебряная сорочка» Ван Донгена, надо сказать, по своей живописной прелести, действительно, едва ли не лучшая вещь на этой московской выставке.) Так былой дерзкий дух исканий сменился во французском искусстве духом успокоения — периодом электизма. Этот электизм обусловлен в значи-



Ж. Сейра.

Маяк (рис. углем).



Ш. Дюфрен.

Женщины Коммуны под арестом.

тельной мере и тем новым обстоятельством, что парижское искусство во время и после войны стало искусством по существу своему космополитическим. Париж больше чем когда-либо — магнит для мировой художественной богемы, для представителей всех наций. В прежние времена Париж французский подчинял себе художников не-французов, вовлекая их в свой

бурный поток; теперь на наших глазах происходит нечто иное: эти художники «нацмены», усваивая общие формальные достижения и рецепты французского искусства, в то же время вносят в него каждый нечто свое. Так получается своеобразный процесс обмена веществ, приводящий к эклектизму, к сглажению острых углов — но вместе с тем и процесс, несущий с со-

бой положительные начала: формирование некоего единого, интернационального искусства. Французы, сильные своим инстинктом цвета, итальянцы, обладающие по традиции даром композиции, немцы, поляки и русские с их традиционным психологизмом или декоративностью, действительно могли бы взаимно «дополнить» друг друга. И поскольку открывшаяся в Москве выставка развертывает перед нами не только творчество мало известных нам художников французов, но и демонстрирует это новое явление, эту космополитическую «парижскую школу», — она, вдвойне интересна для нас. Здесь перед нами самая лаборатория, узловой пункт мирового искусства.

II

Образцы последнего «позднего» кубизма, представленные на выставке (Маркусси, Сюрваж, Лорса, Северини, Параше), иллюстрируют высказанную мною мысль — они говорят о перерождении этого течения. От научно-познавательного пафоса, от анализа форм, от острых конструктивно-пространственных искажений первого периода (см. в самом музее работы Пикассо, Брака и др.) кубизм в итоге своего десятилетнего развития переходит к плоскостному, декоративизму, к чистому орнаменту. Таковы работы поляка Маркусси, с его женственно-палеовой, розоватой, голубой и кофейной гаммой и раковиннообразными арабесками, символизирующими море. У финна Сюрважа эта декоративная тенденция приводит по-

чти к ковровому принципу — пестрое панно «Марсель». Кубизм вошел в моду не в переносном, а в самом буквальном смысле этого слова, — он проник в художественную промышленность вплоть до подкладки дамских манто... В известном смысле это, конечно, победа — кубизм создал стиль современности; но поскольку этот «новый стиль»



Д. Северини.

Материнство.

в буржуазных условиях Запада и в частности Франции выражает себя не в монументальных общественных зданиях, а главным образом в нового типа частных особняках (архитектор Корбюзье и др.), — он приводит кубизм к эстетизации и манерности. Кубистические картины должны украшать буржуазные эртерьеры, как некие беспредметные, успокаивающие глаза арабески. «Компактная гимнастика», — таков итог (и тупик) кубизма по зло-

му; но меткому выражению итальянца Карра.

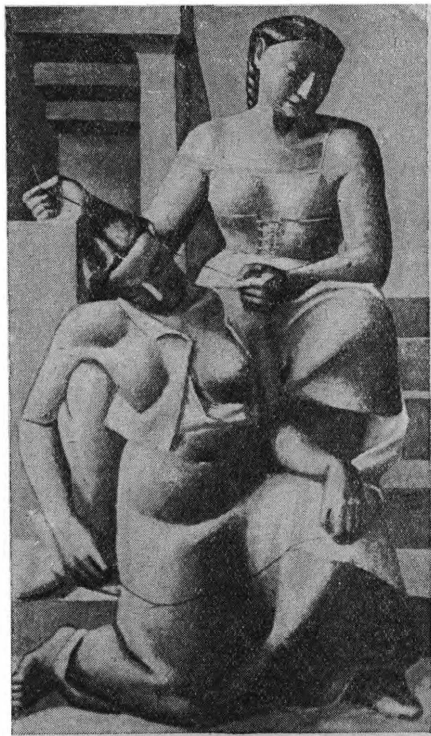
Более мужественное свое воплощение кубизм сохранил в живописи Ф. Леже и «пуристов». Живопись Леже до последнего времени была апологией четких, объемных, цилиндрических форм: в ней был пафос индустриализма, дань машине, как некоему боже-ству современности. Его композиции на выставке, чрезвычайно звучные по цвету, носят уже несколько иной — орнаментально-плоскостной характер.

Это — ритмические комбинации каких-то «мелких» форм — ключей, замков, канфорок...

Попытку отстоять кубизм от измельчания, от индивидуалистического ма-

неризма являет собой творчество Озанфана, теоретика так называемого «пуризма». Пуризм стремится «очистить» живопись от случайностей вдохновения и от эмпирических элементов, построить ее рационалистически, на максимальной простоте форм и цветовых отношений. Правда, Озанфан довольно однообразен. «Среди бесконечного богатства форм,—говорит он,—я стараюсь отыскать такие, которые имеют одинаковое воздействие на всех людей, на всякий глаз, разум и чувство». Но, мечтая о «демократическом универсализме» своей живописи, художник сводит этот универсализм к бесконечной вариации... одних бутылей, кувшинов и бокалов. В то же время нельзя отрицать в его живописи известной суровой красоты и строгой ритмичности. Недаром некоторые левые руководители наших рабочих изо-кружков стараются почерпнуть у пуризма законы украшения плоскости, законы экономного построения клубных плакатов и росписей. Такое, например, созвучие с пуризмом можно наблюдать на выставке работ изо-кружков рабочих клубов, открывшейся в Ленингр. Русском музее.

Интересную страницу из истории кубизма дает на выставке хорошо представленная скульптура. Скульпторы-

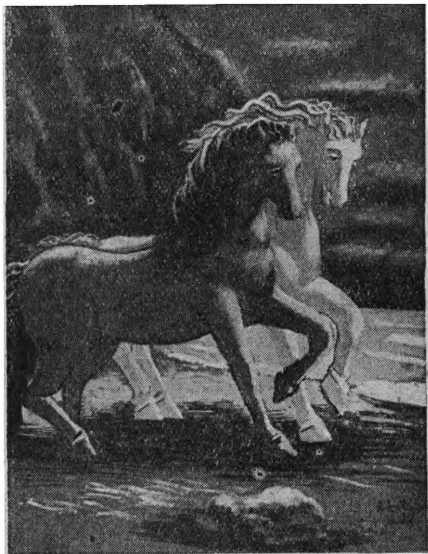


М. Кампильи.

Швеи.

кубисты—это, главным образом, талантливые иностранцы: румын Бранкуси, русские Липшиц и Цадкин, играющие в искусстве Парижа одну из первых скрипок. В том, что именно русские, как Архипенко (находящийся сейчас в Америке), а затем Липшиц и Цадкин, перенесли искания Пикассо в скульптуру, сказалась, быть может, русская черта — умение доходить до «последней черты». «Матрос с гитарой» Липшица — не скульптурное, а, скорее, инженерное произведение; вспоминается его крылатое выражение: «Делать не скульптуру с человека, но превращать человека в скульптуру». Его развороченные «Музыкальные инструменты» (1926 г.) показывают всю фанатическую верность Липшица аналитическим принципам кубизма.

Чувство твердости и «вещности» материала особенно присуще Бранкуси. Его бронзы «Птица в пространстве» и «Леда» можно, конечно, с таким же успехом назвать и хвостом кометы, и упавшим с неба метеоритом, и утенком, и чем угодно. Но нельзя отрицать в



Д. де-К и р и к о. Лошади на берегу моря.



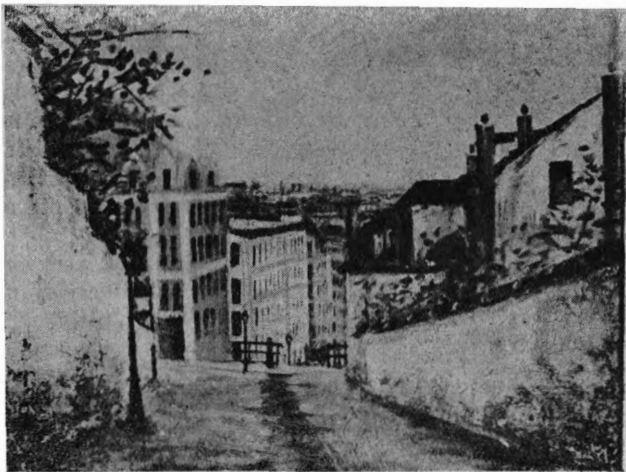
А. Модильяни. Женщина с камеей.

этих работах, в изумительной их зеркальной полировке некое полновесное, почти архаическое ощущение материальности. Отсюда устремление Бранкуси к самым элементарным, первозданным проявлениям материи: шару, яйцу и т. д. Это — опыт столь же абстрактной «чистой скульптуры», как у Озанфана — опыт «чистой живописи». На творчестве Бранкуси сказались два воздействия: негритянской скульптуры и современной машины (частями которой кажутся его «скульптуры»). Но машина — утилитарна, а здесь... эстетизация и имитация машины, как и у Леже: «вещь» для гостинной в стиле Карбюзье.

Кубизм в собственном смысле этого слова кончается. На смену ему пришли новые тенденции, и хронологически прежде

всего — неоклассицизм. Как и всегда, здесь первый жест был сделан неумолимым изобретателем Пикассо; этот «отец кубизма» первый огорошил всех в 1920 г. своей «изменой» — своими строгими линейными рисунками в духе античных ваз и старика Энгра. Эти античные женщины, матроны, вакханки, амазонки, воскрешенные Пикассо, проникли в живопись Брака, от него к Суверби, красивую картину которого («Любовь на море») мы видим на выставке. К сожалению, здесь едва представлен Дерен, но все же и его маленькое «Nu» дает понятие о классических устремлениях этого крупного мастера — о пластичности и равновесии его форм. Характерно, что не столько цвет, сколько свет, интересует неоклассиков; отсюда современные симпатии к Коро и Сейра (изумительные по своей гармонической светотени рисунки последнего мы видим в Москве впервые). О неоклассических симпатиях говорят и изящные архитектурные пейзажи Барокье (Венеция).

«Неоклассицизм» — возврат к спокойной гармонии, к греко-латинским реминисценциям, к ясной линии, к «системе» и «логике» вместо прежнего спиритуализма, — все это прозвучало как симптомы неких «стабилизационных» настроений буржуазной Европы. В наиболее яркой степени эти симптомы обнаруживаются в современной Италии, переживающей художественный подъем.



М. Утрилло.

Улица на Монмартре.

III

Пробуждение Италии от музейной спячки, в которую она была погружена в течение всего XIX века, к новому художественному бытию началось в годы, непосредственно предшествующие войне. Эту роль в живописи и литературе сыграл футуризм, возглавлявшийся Маринетти. Когда сейчас, по истечении почти двух десятилетий, мы вспоминаем эти воинствующие манифесты футуристов, нам становится ясно вся их историческая закономерность. В этих нападениях на «пассеистскую» (старомодную) Италию, с ее культом старины, в этих призывах к «всеобщему динамизму» и «царству машины», к замене лирической луны луною электрической, пашла свое выразительное воля итальянского капитализма к промышленному подьему и тех-

ническому прогрессу — в такой же мере, как в этой апологии военной силы и национальной гордости, в уповании на твердую власть predeterminedилась идея фашистской диктатуры. И, однако, сыграв среди итальянской молодежи свою будирующую роль, футуризм стал сходить со сцены; Северини и Карра перешли к неоклассицизму — к тем самым музейным вдохновениям, к ренессансу и античности, против которых они бунтовали.

Чем же объяснить этот, казалось бы, парадоксальный рецидив «пассеизма», начавшийся с 20-х годов? Футуризм

отходит, как мавр, сделавший свое дело. Буржуазная Италия, превратившаяся из страны провинциальной в империалистическую державу, уже не нуждается в выходках «нигилистов». Она хочет после войны (и неудавшейся революции) стабилизации. Она хочет задрапировать голую идею своей классовой диктатуры плавными складками классической тоги — показать *urbis et orbis*, что именно она подлинная наслед-

ница классических идеалов и традиций. Исторически это, конечно, верно. История повторяется, и если победившая французская буржуазия пришла к классицизму Луи Давида, то еще больше на это оснований у буржуазии итальянской. Италия имеет за собой действительно богатейшее классическое прошлое — античность и возрождение. И к ним-то напри-



М. Громмер.

Перевозчик.

вились взоры художников, уставших от буйных «сдвигов» футуризма. Сказалась здесь и вновь обретенная «национальная гордость», пожелавшая в противовес «засилию» французского искусства опереться на собственные исторические корни, на своего Джотто, на свое «кватроченто».

Однако еще Марксом отмечено было, что история, поворачиваясь, приобретает оттенок карикатуры. И недаром сам экс-футурист Карра считает характерными чертами нового искусства мистицизм и иронию, — в произведениях неокласси-

ков явственно ощущается, на ряду с пафосом монументальности, некоторый душок иронии, гротеска. Персонажи картин самого Карра и талантливого де-Кирико — не живые люди, но в большинстве случаев... манекены, простые портновские манекены, с безликим овалом вместо головы (а иногда и «запасным» овалом у своего подножия). У этих механических людей иногда лишь одна рука и обрубок другой, а в этой руке они держат обломки зданий, фрагменты античной и ре-нессансной скульптуры. Отзвуки «великой» войны с ее инвалидами, протезами и разрушениями дают себя знать! И когда видишь «Археологов» де-Кирико, манекенообразных людей, облаченных в тоги, но сидящих в мешанских креслах с бахромой, —

убеждаешься в правоте слов Карра: здесь не только мистика, но и ирония...

Было бы, однако, неправильным полагать, что это течение исчерпывается аллегоричностью и бутафорией. Возникнув в большой степени под влиянием Пикассо, вобрав в себя уроки кубизма и ориентируясь в своем прошлом на Джотто, итальянский неоклассицизм приводит к прекрасной пластичности образов. Четкость и объемность формы, статуарное и почти скульптурное ее трактование, нерушимая монументальность композиции, — все это придает произведениям Кампильи и де-Кирико своеобразный патетический стиль. Таковы почти скульп-

турные «Швей» Кампильи. И еще одна положительная сторона итальянской живописи: ее тематический размах, выходящий за узкий круг музыкальных инструментов Пикассо и бутылей Озанфана. Она трактует и литературные идеи и современные реально-бытовые мотивы, как, например, Кампильи, у которого мы видим на выставке «Швей», «Строителей», «Эквилиб-

ров». Здесь, в этом повороте и тальянской живописи к жанру — нить, могущая связать его с нашим искусством. К сожалению, на выставке совершенно не представлены работы других прекрасных мастеров современной Италии — Казорати и Оппи. Первый из них — певец здоровой наготы, второй трактует самые обыденные сцены народной жизни, строя их с



Ф. Мазерель.

Женщины на улице.

изумительной композиционной устойчивостью. Ударение на композиции, на стройке и организации картины, хотя бы и за счет цветовых и фактурных исканий, — вот сущность итальянского неоклассицизма.

Де-Кирико, пережив сначала период «метафизический» (философские натюрморты), а затем классический, за последнее время все более и более склоняется в сторону романтических пейзажей. С 1926 г. он создает серию своих «Лошадей на берегу моря», в которых античный фон (греческий храм на скале) сочетается уже с романтической динамикой. Изображение лошади, как воплощения стихийной силы и

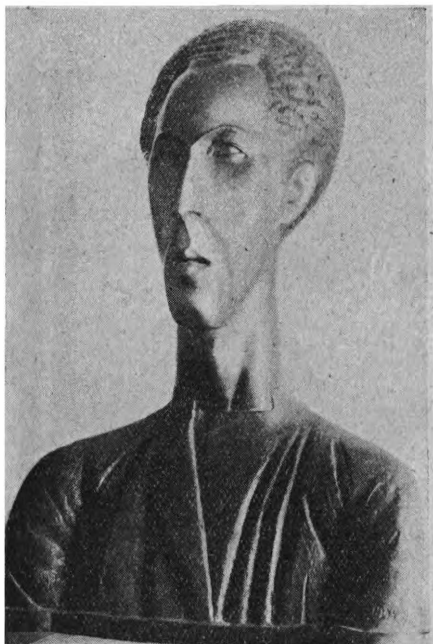


А. Яковлев.

Женщина из Манчжурии

страстного движения, само по себе характерно: оно было присуще таким романтикам, как Делакруа, Жерико, Жин-

ко, Константин Гис. Лошади де-Кирико, скачущие на свободе,—это уже некий прыжок от статики неоклассицизма.



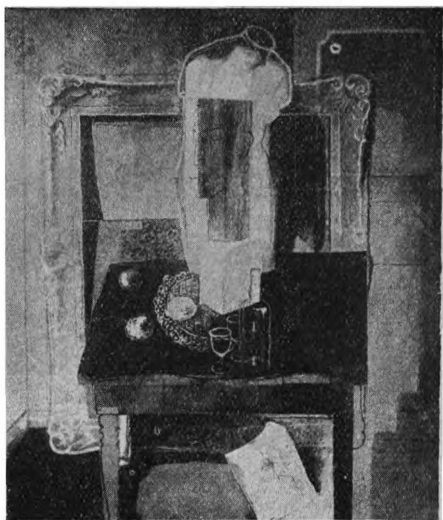
Хана Орлова. Портрет г. Рубина
(бронза).

IV

Нарождение романтических и экспрессионистских настроений на Западе — свидетельство некоторой «трепещущности», — того, что не только у побежденных немцев, но и у победителей в «стабилизированной» Европе не все уж так благополучно. Еще Плеханов показал, что романтизм — это симптом некой «оппозиции» художественного мира против данной действительности. Таким первым романтиком «протестантом» надо считать старика Руо (не представлен на выставке, но есть в музее), в горячечных образах которого цинизм спорит с католицизмом, а проститутки, инвалиды, калеки кажутся наваждениями страшных военных лет. А в то самое время, как в Италии восходила эра неоклассицизма, в парижской больнице, в глубокой нищете умер молодой талантливый итальянец Модильяни; теперь его работы продаются по баснословным ценам. В этих работах — квинтэссенция современной послевоенной нервозности, воздействий негритянской скульптуры и воспоминаний о Боттичелли. Люди на портретах

Модильяни заострены исключительно гипертрофированной, почти болезненной выразительностью.

Неоромантизм во Франции — это реакция индивидуалистического чувства. И характерно, что неоромантики в противоположность неоклассикам реабилитируют цвет, как фактор эмоционального воздействия. Для романтиков Вламенка и Утрилло характерно и то, что они тяготеют к старине. Вламенк изображает по преимуществу пригородную природу, парижские окрестности, провинциальные города, уходящие вдали дороги. Эти пейзажи Вламенка отмечены печатью драматизма — словно пропизаны вихрем ветра, клонящим эти деревья, дома и облака. Вламенк динамичен. Он всегда тревожит нас, стремится — неизвестно куда, — но всегда прочь от покоя. Красочная гамма этого большого мастера глубока и холодна. Утрилло — теперешняя знаменитость Парижа и вчерашний его бедняк — фигура чрезвычайно интересная. Запойный пьяница, проведший едва ли не большую часть своей жизни в психиатрической больнице, взрослый ребенок, современный «примитив», дитя и жертва богемы, как Верлен, — он неожиданно прославился своими парижскими пейзажами. Пейзажами не современного блистательного Парижа, а



Ю. Анненков.

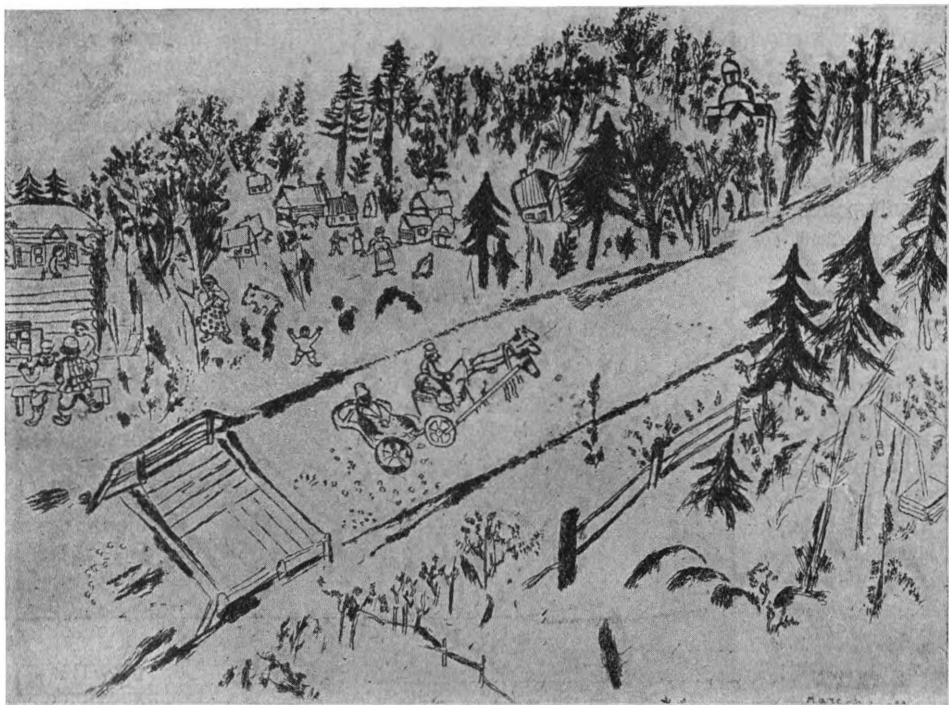
Натюрморт.

Парижа старого — Монматра, рабочих предместий, старинных церквей и тихих улочек. Утрилло влюблен в облупившиеся стены этих домов, в их трещины, в их «благородную» грязь. Он пишет их с трогательной любовью печальника уходящего прошлого.

Романтизм Громмера, Мазерееля, Дюффрена проявляет себя уже более экспрессионистически. Он тя-

матизированы и драматизированы; его колорит тяжел и зловещ.

Контрастом ему является Шарль Дюффрен, страстный путешественник, моряк по происхождению. Его творчество — горячее и трепетное — отличается драгоценной живописной поверхностью. Таковы на выставке его «Коммунарки» (1871 г.) — хрупкие и изысканные по форме и, вместе с тем,



Марк Шагал.

Иллюстрация к «Мертвым душам» (офорт).

готеет не к вчерашнему, но к сегодняшнему дню. В «Перевозчиках» молодого художника Громмера, ученика Матиса, звучит уже не лирическая, но довольно резкая нота. Громмер, как он сам выразился, считает задачей искусства «синтезировать жизнь современности, жизнь толп и их движение». Он весь в быту. Его излюбленные темы — прачки, рыбаки, солдаты, кабаки, вокзалы. В произведениях этого выходца из северной Франции, долгое время жившего в Бельгии и Голландии, есть что-то от мрачной выразительности Петра Брегеля, от скульптуры романских и готических соборов. Его образы схе-

матичны и выразительны по своему народному типу, по своим жестам.

В живописи Франца Мазерееля (который все чаще и чаще переходит от графики к живописи) мы видим уже настоящий современный Париж: одиноких проституток, многолюдные улицы. Его цветовая гамма — урбанистична: эти крикливые ярко-розовые и зеленые тона — искусственные, чисто городские эффекты. Но вместе с тем в проститутке Мазереель видит не «демоническое начало», как Руо и другие, а жертву города, жертву социального строя. И если по адресу других романтиков и экспрессионистов можно сказать, что их

романтизм не знает, к чему стремится, а поэтому и впадает в меланхолию и пессимизм, то социалист Мазереель имеет уже какую-то более четкую установку. И когда французские художники обретут некую общественную цель-устремленность, тогда и романтизм их перестанет быть беспредметным и пойдет путями Делакруа и Домье, этих художников 48-го и 71-го годов.

Так или иначе, но мы видим, что во французском искусстве не прекращается жизнь и происходит некий **новый процесс**: от беспредметности, от отвлеченности, от наготы и на тюрмортво оно переходит к мотгивам современного быта (кроме упомянутых, — Герг, Паскен, Лафорж и др.). Для того, чтобы убедиться в этом, следовало бы показать на выставке еще одно течение

французской живописи—реализм или, как его называют, «организованный натурализм» в лице Сегонзака, Люк-Альбер Море, Сутина и др., сочетающих интерес к быту, к земле с высокими формальными качествами живописи. Впрочем, и показанного на выставке достаточно, чтобы убедиться, что современное искусство Запада отнюдь не только формально, что поэтому нельзя отворачиваться от него, как от продукта «гнилого Запада», как это делали до сих пор наши ахрровцы. Разумеется, мы должны иметь свою сюжетику, свое революционное содержание, но нам надлежит усвоить все уроки высшего западно-европейского мастер-

ства: цветное богатство французов, композиционную крепость итальянцев.

* * *

Выставка впервые знакомит нас с творчеством многих русских, живущих в Париже. Часть из них покинула Россию давно, как Хана Орлова, Цадкин, Липшиц, Мещанинов, Лучанский, и в сущности мало связана с нашей культурой. Даровитая Хана Орлова

амалятамирует в своем творчестве кубизм с готикой, иногда достигая большой выразительности (таков, например, ее, похожий на Блока, утрированно вытянутый бюст Рубина), иногда впадая в карикатурность. В большем контакте с нами—Мещанинов, скульптор, счастливо сочетающий в себе полученную от французов пластическую нежность с



Н. Гончарова.

Испанки (рис.).

русской декоративностью. Таковы его «Человек в цилиндре» и «Девушка с цветами», этот последний памятник «тургеневской» женщине (преподнесена им в дар Третьяковской галлерсе).

Другая группа художников покинула нас незадолго до революции, как Н. Гончарова и Ларионов, или вскоре после нее, как Шухаев, А. Яковлев, Шагал, Ю. Анненков и др. При всем желании быть объективными (ибо художники эти не эмигрировали, а уехали вследствие тогдашних трудных условий художественной жизни) мы не можем сказать, что «заграница» привела их к творческому расцвету. Единственное исключение—

А. Яковлев, которому удалось совершить поездку в Монголию, Китай, Японию, а затем и Африку, — путешествие, прославившее его, благодаря отличным рисункам и картинам экзотического содержания. Этот блестящий рисовальщик, чуткий ко всему этнографическому, мог бы порадовать нас столь же высокими портретами разных народов СССР; к сожалению, он предпочитает быть... великосветским Гогеном во Франции. Другие русские, приобретя французское изящество, отдали за это часть своей личности. Так, Наталья Гончарова и Ларионов, в бытность их на родине плодотворные и выразительные по своему народнорусскому декоративизму, стали довольны «бесплодными» за границей, по вер-

ному выражению Эфроса. Красивых «Испанок» Гончаровой мы видим уже несколько лет под ряд! Ю. Анненков, дававший на выставку изящные и интимные парижские пейзажи, все же был более интересен, как острый график. Талантливейший Шагал, насколько можно судить лишь по его офортам к «Мертвым душам», все так же повторяет себя. Можно отметить еще даровитые работы Терешковича, Зака, Киконна, Эпштейна, изысканной Экстер. Но общий уровень русского отдела весьма слаб. И отсюда еще второй вывод: в Париже надо взять мастерство, технику, но все же нельзя порывать с советской родиной, — этот разрыв лишает творческой «изюминки».

4. „РОМАНИЗИРОВАННЫЕ БИОГРАФИИ“¹⁾

Я. Фрид

Первым был, кажется, Андрэ Моруа, сдержанно, внимательно, со скрытым лиризмом обратившийся к жизни Верди, жизни Шелли. Затем начали появляться другие книги того же вида. Литературоведы, романисты, журналисты почувствовали, что их призвание — быть биографами знаменитых людей, — и бросились разрабатывать новооткрытый литературный Клондайк, литературный Алдан. Издательства стали выпускать такие книги сериями; в настоящее время вышло уже больше 30 томов. Вслед за книгами о Бальзаке, Рэмбо, Вийоне, Моцарте, Фр. Листе, Делакруа появились томики о Гоффмане, Стендале, Гете, Шопене, Сирано де-Бержераке, Кортесе, Колумбе, Дюма-отце, Бомарше, Мирабо, Расине, Бодлэре. В равной мере не были забыты Дантон и Дидро, Декарт и Ривароль, Генрих IV и Талейран. Жизнь Монтэня была рассказана дважды: Жаном Прево и Андрэ Ламандэ. Талантливый черно-

сотенный романист и журналист Анри Бери написал книгу «Мой друг Робеспьер». Недавно вышел роман Фр. Карко о современном парижском художнике Утрилло. На долю прессы выпали рассуждения по поводу нового жанра, заботы о поддержании и внимании к нему. Окончательно закрепилось наименование жанра, указывающее точно на его особенности: «биография-роман», дословно — «романизированные биографии». («les biographies romancées»). Новая мода переплелась за пределы французской литературы («Диккенс» Честертона, этюды Ст. Цвейга, вещи Тынянова, привнесшего в жанр историко-социальный подход). Появились даже имитации биографии (Сандрар). Модный жанр оказался необычайно скороспелым, и не успели принять его за новшество, как он уже начал превращаться в литературную традицию.

Один французский журналист объясняет возникновение и такой быстрый успех жанра биографии-романа тем, что он вполне отвечает стремлению к анализу исключительно интимных переживаний, стремлению, характерному для основного массива современной

¹⁾ Рене Бенжамен. Необычайная жизнь Онора де Бальзака. Перев. Н. Ф. Комиссаржевского. Предисловие П. С. Когана. ГИЗ. М. — Л. 1928 г. Стр. 364. Цена 2 р. 20 коп.

Мариус Андрэ. Подлинное приключение Христофора Колумба. Перевод с франц. Е. Вальмонт и О. Анненковой. Изд. «Земля и Фабрика». М. — Л. 1928 г. Стр. 210. Цена 1 руб. 35 коп.

французской литературы, не имеющей не только нового Золя, но даже нового Поля Адана. Действительно, буржуазные и мелкобуржуазные писатели Франции побаиваются социальных тем, а берясь за них, предпочитают разрабатывать их тонко, эффектно, но без особенного пафоса, стремления к монументализму. К этим соображениям нужно прибавить следующие: 1) для современной французской литературы характерен также повышенный интерес к полуочерковому материалу о действительных фактах, и «романизованные биографии» вместе с многочисленными книгами о путешествиях (а также мемуарами) удовлетворяют этот интерес; 2) обращаясь к созданию биографий-романов, писатели как бы ремонтируют старый роман (жизнь героя, его любви, неудачи, успехи); действительные события помогают омоложению жанра; не Давид Копперфильд, а Чарльз Диккенс. Нынешние читатели (и читательницы) обратятся с острым любопытством скорее к рассказу о жизни *м-еиг* Флобера, чем к истории *м-те* Бовари, — особенно если предупредить их, что в этих биографиях есть нечто общее.

Рядовой потребитель бесчисленных французских романов в «романизованных биографиях», вероятно, ищет прежде всего рассказы о любовных похождениях «этих великих». Какой-нибудь французский провинциальный обыватель, раскрывающий биографический роман, не прочь убедиться в том, что Бальзак был «тоже хорош». Писатель, работающий над новейшими «житиями», должен быть осторожным, чутким, настойчивым, чтобы не пойти по линии наименьшего сопротивления — не превратить рассказ о жизни Дантона в сборник любовных и «вакхических» анекдотов, не сделаться кумушкой, присосавшейся к замочной скважине в двери спальни «великого человека».

В прошлом году на русский язык были переведены две интересные «романизованные биографии»: «Роман Фр. Вийона» Карко и «Авантюрная жизнь Артюра Рэмбо» Ж.-М. Каррэ. Теперь вышли еще 2 книги, в том числе «Необычайная жизнь Онорэ де-Бальзака», тираж которой во Франции к настоя-

щему времени перевалил уже за 55-ю тысячу. Успех заслуженный: автор сумел сделать из биографии Бальзака художественное произведение.

Работая над романом о Бальзаке, Р. Бенжамен не мог уделить много места историко-литературному материалу. Неоднократно говоря о влиянии Вальтера Скотта на молодого Бальзака, он не упоминает о влиянии на него Стерна и Фенимора Купера. Он не говорит о том, в каком стилистическом окружении работал Бальзак, не объясняет, почему изменилась манера его письма. Вместе с тем, располагая всем имеющимся обширным материалом о жизни Бальзака — перепиской, воспоминаниями (вплоть до воспоминаний о Бальзаке его портного), — Бенжамен использовал этот материал не так, как это сделал бы обыкновенный биограф. Вместо ровного, последовательного изложения, педантичной детализации, точности, — отдельные картины, широкие мазки, пропуски, приемы художника, роман.

А Бальзак, как герой романа, отличается большими достоинствами. Вы сразу замечаете, что перед вами не обыкновенный человек. Его выделяют: мощное воображение, темперамент. Так же, как каждый его герой захвачен какой-либо всепоглощающей страстью, — он захвачен творчеством, работой. Всегда в долгах, он работает по 20 часов в сутки, лихорадочно, безжалостно, как поденщик, как Достоевский. Другие черты Бальзака делают его романтический образ более зыбким и волнующим, даже трагическим. Человек с темпераментом творца, борца, большим умом, огромной работоспособностью, человек с редкой жадностью к жизни и полный непосредственности, в сущности, никогда не был счастливым. Человек, который был гениальнее своей эпохи — эпохи царствования «мещанского короля», — в то же время был неотделим от нее: замашки истинного нувориша, выскочки, с энтузиазмом старающегося пробраться в аристократическое общество, приставляющего к своей фамилии частицу *де*, отнесшегося с отвращением к революции 1848 года; простодушное, неумеренное хвастов-

ство; постоянные «прожекты», попытки обогатиться, разбивающиеся о его непрактичность гениального фантазера. Поэт и обличитель крепнущей буржуазии, в молодости иногда напоминающий Растиньяка, отдающий силы многолетней творческой горячке и умирающий, не успев пожить, на пороге Второй империи (отсюда начнется работа Золя), — умирающий так же мучительно, как старик Горио, призванная Биашона — «самого знаменитого доктора в его произведениях»...

Некоторые главы (жизнь в имени Ганской, смерть, и, особенно, работа над «Отцом Горио») сильны, волнующи, заслуживают того, чтобы их поставили рядом с последним томом «Человеческой Комедии». Литература у Бальзака взяла всё, — даже биографию.

Госиздат редко выпускает такие плохие переводы, как перевод книги Бенжамена. «С'естная торговля способствовала влиять на ум». «В них был шарм». «Несколько цинизмов». Слово «l'artiste» везде упорно переведено «артист», (а не «художник», как нужно). Ученый-натуралист Жоффруа Сент-Илер распался на «драматического критика» (?) Жоффруа и с в. Гилера.

Несравненно лучше переведено «Подлинное приключение Христофора Колумба». Как и переведенная раньше на русский язык книга П. Доттена «Жизнь и приключения Даниэля Дефоэ», вещь М. Андрэ — скорей биография-разоблачение, чем просто биография-роман. Андрэ при помощи нескольких исторических до-

кументов беспощадно расправляется с «легендой о Колумбе». Не гениальный мореплаватель, великий открыватель, а беспомощный дилетант, самоуверенный невежда, жестокий авантюрист, работяга, фантазер, полубезумец, вслепую пускающийся на поиски золота, третьим пристающий к берегу Нового света и умирающий с уверенностью, что открыл Индию, в то время как всем было уже ясно, что открыт новый материк. Конечно, излишне идеализировать фалангу открывателей и завоевателей новых стран, «рыцарей наживы», толкаемых на подвиги и «подвиги» экономической необходимостью. Но М. Андрэ, увлеченный развенчиванием, быть может, и перехватил немного (Жанна д'Орлиак, одна из руководительниц женской «Сверхидеалистической лиги», одновременно с М. Андрэ выпустила книгу о Колумбе, где защищается традиционная «легенда» о Колумбе, которого одно время верующие пытались продвинуть в католические святые).

С историко-литературной точки зрения очень интересно замечание М. Андрэ о том, что авантюрист, фантазер, поэт, Колумб, не открывший Америки, ведя корабельный журнал, первым открыл поэзию экзотической природы и «человека природы», поэзию, которая не существовала для автора «Маллон Леско» и которую впоследствии вновь открыли Руссо, Шатобриан.

Обе книги снабжены дельными предисловиями («Жизнь Бальзака» — предисловием П. С. Когана, «Подлинное приключение Колумба» — небольшим, анонимным).

5. ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЛАРЕК

Фрол Скобев

По «Зеленым Горам»

Сидя за вечерним чаем, для интереса открыл «Зеленые Горы» Евдокимова (ЗИФ, 128), и вот, посмотрите, чего-чего я в этой книге не вычитал. Козьма Петрович, слушая, обсемялся и весь чай разбрызгал:

«...Они рвали вонючий (?) сельдь...» (стр. 212.)

«...Свалится луна с вершины на кустарик...» (Стр. 249.)

«...в биралон плечи в пальто...» (?). (Стр. 264.)

«...Дети под... взглядами мерцающих (!) над ними матерей...» (Стр. 274.)

«Чорт был как молчаливый пол (?)». (Стр. 300.)

«...Ноги у него были с копытами. Под (?) копытами висели брюки кле- шем». (Стр. 344.)

В автобиографии, открывающей эту книгу, Евдокимов хвастает:

«Годам к двенадцати я знал многие из смертных грехов...» (Стр. 14.)

Оно и видно!

* * *

Мохнатая фабрика

Некая З. Полякова в очерке о Большой Иваново-Вознесенской мануфактуре — «Улыбки ситца» («Огонек», № 1, 1928 г.), между прочим, пишет:

«Угрюмые мо х н а т ы е (?) корпуса... обступили... дворик...»

Надо думать, что необычайная мохнатость фабричных корпусов объясняется исключительно махровым воображением автора очерка.

* * *

110 лет на военной службе благодаря одной опечатке

В «Путеводителе по русской литературе XIX века» (изд. «Работник Просвещения», М. 1927), Ив. Н. Розанов дает о К. Н. Батюшкове такие сведения:

«Батюшков... с 1806 по 1916 гг. (с перерывами) служил на военной службе...» и дальше: «...он жид... в состоянии тихого помешательства...» (Стр. 25.)

Неискушенный читатель, узнав о десятилетней военной службе Батюшкова, несмотря на перерывы в ней, станет думать, что такое помешательство поэта объясняется исключительно столь долгим пребыванием его в рядах армии.

* * *

Главотношение

Под заголовком «Главискусство отвечает» в № 205 «Комсомольской Правды» помещена статья А. Свидерского «Что происходит с театром Мейерхольда», и в этой статье читаем:

«Ведь ни для кого не секрет, что

по отношению к театру Мейерхольда нет одинакового к театру Мейерхольда нет одинакового

о т н о ш е н и я

даже среди тех кругов, которые имеют общую установку

по отношению к основным вопросам культурной революции. Нет одинакового

отношения к театру Мейерхольда и в партийных кругах...»¹⁾.

Оказывается, русский язык вовсе уж не так богат, если само Главискусство (а ему и книги в руки!) четыре раза под ряд пишет одно и то же слово.

Конечно, все на свете относительно. Но пристрастное отношение т. Свидерского к слову «отношение», безотносительно к кому бы оно ни относилось, нам представляется относительно чрезмерным.

* * *

Викторина, или обыгрывание читателей «Огонька»

Как указано в № 8 журнала «Огонек» (1928): «Название «Викторина» образовано от латинского слова «Виктория» — победа». Название придумано редакцией «Огонька» в надежде, что игра поможет читателям одержать победу в борьбе за расширение своего умственного кругозора.

Все это очень хорошо. Но вот как эта «Викторина» расширяет читательский кругозор.

Сорок седьмым вопросом третьей серии «Викторины» было предложено назвать одно

«М л е к о п и т а ю щ е е с я (?) животное».

Как известно, таких животных наука не знает.

Если же товарищи из «Викторины», выпивая ежедневно по кружке молока, относят себя к млекопитающим, то это все же неверно. Даже они — млекопитающие.

— Сколько букв в русской азбуке после реформы орфографии?

¹⁾ Строки смонтированы мной. Ф. С.

спрашивает «Викторина» («Огонек», № 6).

— Двадцать восемь.

Такой на это дан ответ (№ 7).

Увы, увы! Их ровно 32!

Обращение «Викторины» с русской орфографией, даже после ее упрощения, слишком упрощенное.

Что такое «Домострой»?—спрашивает «Викторина» и отвечает: «Книга, изданная при Петре I» и т. д.

Викторину не смущает то обстоятельство, что «Домострой» был известен еще при Иоанне Грозном. Надо полагать, что самим составителям стало известно о «Домострое» лишь совсем недавно.

Спрашивается:

— Какой царствовавший русский император умер 12 лет от роду? («Огонек», № 9).

Отвечаем:

— Не было такого.

Однако в ответах к этой серии «Викторины» («Огонек», № 10) указано, что таким императором был Петр II.

Но Петр II родился 12 октября 1715 г., умер. 18 января 1730 года.

* * *

Новый русский писатель

На сон грядущий и в целях расширения слабых своих познаний взял почитать «Настольный словарь» (Изд. «Прибой», ЛНГ 1926) и вот на стр. 170 читаю:

«Мирбо Октав (род. в 1850 г.)—современный русский (?!!) писатель, яркая, острая сатира нравов, смелое и беспощадное обличение буржуазного быта».

Ну, сон, конечно, как рукой сняло.

До утра смеялся.

* * *

Нехорошее отношение к Гаршину

У В. Львова-Рогачевского в «Очерках по истории новейшей русской литературы» (1881—1919 г.г., изд. «Центросоюза») на стр. 29 читаем:

«...Гаршин в припадке безумной тоски (24 марта 1888 г.) бросается в пролет лестницы и разбивается на смерть»,

а на стр. 30:

«...19 марта 1888 г... в припадке безумной тоски он (Гаршин)... бросился с лестницы в пролет...»

Если сам Гаршин бросился 24 марта, то 19 марта его сбросил Львов-Рогачевский.

Нехорошо.

* * *

Когда родился Горький

Этот вопрос, оказывается, более сложен, чем можно было предполагать. За разрешением его мы обратились к трем календарям, и что же оказалось?

В перекидном календаре «Светоч» рождение его указано 27 марта 1868 г.

В отрывном календаре Госиздата, где дан нарисованный голландской сажей портрет Горького,—26 марта 1869 г.

Хуже обстоит дело в отрывном календаре «Светоч»: при тщательном его просмотре оказалось, что Горький вообще еще не родился, и, судя по этим данным, кажется странным, почему день его рождения праздновали 29 марта.

* * *

Кто писал, не знаю...

Глеб Алексеев в романе «Тени стоящего впереди» («Кр. Новь», кн. 3, 1928) уверяет:

«Это... напоминало ему чью-то (?) фразу о скульпторе (?), который «берет кусок жизни, простой и грубой, и творит из нее легенду» (стр. 7).

К сведению популярного автора сообщаем, что фраза эта не чья-то, а Федора Сологуба, и не о скульпторе, а о поэте, и читается она так: «Веру кусок жизни, грубой и бедной, и творю из него сладостную легенду, ибо я—поэт».

Ах, плохо знают иные русские литераторы, русскую литературу.

* * *

Ребят обдувают

В № 3 детского журнала «Мурзилка» (изд. «Рабочей газеты» 1928, стр. 4) М. Клокова напечатала такие стишки:

«Скачут по двору сороки,
Пруд как будто (?) у ворот...

Март веселый, чернобровый (?)
С крыш сосульками повис

К чему относится «как будто», — к пруду или к воротам, — и почему март — «чернобровый», этого не только ребята, но, вероятно, и сама Клокова не знает.

В другом детском журнале, «Еж» (№ 1, ГИЗ, 1928, стр. 29), стихами балуется Д. Хармс:

«Наклоняли, наклоняли,
Наклоняли самовар,
Но оттуда (?) выбивался
Только пар, пар, пар.
Наклоняли самовар,
Будто шкап (?), шкап (?!),
шкап (?!!),

Но оттуда (?) выходило
Только кап, кап, кап».

Я не берусь объяснить, почему Хармс не сравнил наклоняемого самовара с падающей Пизанской башней, но уверен, что для ребят это было бы столь же непонятно (а этого Хармс, видно, и добивался), как и данное им сравнение.

Стихи Клоковой и Хармса справедливо заключить двустишием:

«Написали, написали
Ерунду, ерунду!»

* * *

Выдержки из записок моего отца ¹⁾

V ²⁾.

Недостойный знаменитого критика ответ

Знаменитый критик российский Клеопольд Кавельбац, славный в литературе великим искусством лаю собачьему подражать, однажды, спрошен будучи, чем Кочубей, сидя в темнице Мазепиной, занимался, поспешил сочинение Пушкина, «Полтавой» именуемое, схватить и, оное раскрыв, прочел слова Орликовы, к Кочубею обращенные:

«Старик, оставь пустые
бредни...»

А посему, ни мало не смущаясь, отвечал на вопрос, ему заданный, что Кочубей ловлею рыбы в темнице занимался.

За оный, зело глупый ответ отведен был Кавельбац на с'езжую и там нещадно багогами бит, покудова не признался, что не токмо него сочинения никогда не читывал, но допрежь этого и в руках оного не держал.

¹⁾ До сих пор были известны только записки деда Кузьмы Пруткова, Федота Кузьмича.

²⁾ Нумерация подлинника.

6. НЕУГОМОННЫЙ РАДИЧ

Г. Сандомирский

Этот эпитет, если над ним подумать, лучше всего подходит к человеку, о котором за последнее время так много писалось в европейской официальной прессе и которого, несомненно, искренно оплакивает его страна. Для Радича в гораздо большей степени характерным является темперамент, чем его политические шатания. К этому человеку, по своей внешности типичному коренастому крестьянину, «пробившемуся в люди», решительно не походит

кличка политического ренегата. Он в равной мере не был искренним монархистом, когда в довоенной Австрии принимал участие в составлении монархического гимна, не был искренним республиканцем, когда присвоил руководимой их хорватской крестьянской партии наименование республиканской и, конечно, еще менее искренним, когда в силу подписанного с Николой Пашичем «сербо-хорватского пакта» и в угоду Александру Карагеоргиевичу из

наименования своей партии это слово, не задумываясь, вычеркнул. Но зато все, кто знал Степана Радича и приходил в то или иное соприкосновение с ним, ни на одну минуту не могут усомниться в том, что он оставался верен своему высшему, неизбежному лозунгу: борьбе за освобождение родного крестьянства. Именно в угоду этой высшей цели своей жизни Степан Радич менял свои политические этикетки, исправлял — в ту или иную сторону — программу возглавляемой им партии и, не задумываясь, то называл короля Александра типичным дегенератом, то преподносил ему свои книги с трогательными посвящениями.

Этот своеобразный человек, изменяя своим политическим лозунгам и программам, всегда оставался «честным с самим собой». Степан Радич был одним и тем же в хорватском подполье, в эмиграции, в белградской тюрьме, в подмосковном лагере пионеров или на посту югославского министра. Этот выбившийся в люди мужик был с хитрецей. Верность политическим лозунгам и отвлеченным теориям он считал дорогим капризом, доступным только городским «выдумщикам». Для того, чтобы перехитрить этих городских политиканов, всячески угнетающих родное крестьянство, не грех и схитрить. Его мужицкая сноровка — ромэновского Кола Бреньона — подсказывала ему, что «с каждым надо говорить по-иному». В хорватской деревне каждый митинг он начинал вознесением хвалы Иисусу; беседа в Лондоне с Макдональдом он, несомненно, поддакивал его христоролюбивым пацифистским лозунгам. Но, конечно, Радич был достаточно смышленным мужицким вождем для того, чтобы, гуляя по большевистской Москве, не креститься на кремлевские церкви...

Он умея на митингах с веселой мужицкой прибауткой на устах посмеяться над столичными правителями, которых ему удавалось так легко провести. Крестьяне гордились своим любимым вождем и хвалили его за мужицкую изворотливость, а больше всего — за радение об их интере-

сах, за неугомонную, отличавшуюся чисто мужицким упрямством борьбу.

Происхождение. Начало политической карьеры

Степан Радич был крестьянским вождем не только по своей идеологии, но и по происхождению. Он любил говорить, что он не знает высшего титула на свете, чем (на его хорватском диалекте) «крестьянский сын».

Степан Радич родился в 1871 году в деревне Трбарьево, в самом сердце Хорватии. Он окончил гимназию в Загребе, посещал среднюю школу в Карловаце (уже в то время эти два города были центрами деятельности хорватских националистов). Еще будучи на школьной скамье, Радич оказался замешанным в одном из политических процессов и был судим вместе со своими земляками. В конце концов, он вынужден был скрыться от преследования властей за границу и направил свои стопы в Париж. Здесь Радич поступает в высшую школу политических наук. Но этой школой его высшее образование не заканчивается. Из Франции он переезжает в Россию, где посещает лекции петербургского, московского и киевского университетов. В Киеве же он слушает лекции в местной духовной академии. Вообще Радич обладал выдающийся эрудицией, особенно в области философских и политических наук, неусыпно следил за историей крестьянского и рабочего движения, свободно читал и говорил чуть ли не на 10 языках.

Россию, ее народ, историю и обычаи он изучал с жадностью типичного Инсарова. Его отношение к России было проникнуто глубокими славянофильскими тенденциями. Это обстоятельство особенно характерно для первого периода его политической деятельности. Впоследствии его славянофильское отношение к России претерпело изменение. После октября 1917 года Радич, напуганный, как и очень многие его современники, грандиозным размахом русской революции, уже усомнился в том, что Россия мо-

жет быть «водителницей» всех славянских народов. Вообще, и в психологии, и в идеологии Степана Радича сказывается гораздо ярче типичный западный славянин, воспитанный в атмосфере буржуазного парламентаризма и демократической «законности», чем восточный славянин, склонявший свою шею перед самодержавием, но — об этом ниже.

По возвращении из России Радич провел несколько лет в Праге, здесь женился и отсюда вернулся на родину. В первые годы пребывания в Хорватии Радич вел среди своих соотечественников славянофильскую пропаганду, подчеркивая провиденциальную роль России в деле сплочения и освобождения всего славянства. Радич проповедывал также сближение между сербами и хорватами, как первый этап осуществления славянофильских идеалов. Но именно этот период его жизни в Хорватии, находившейся тогда под ферулой Австрии, меньше всего отмечен какой-либо политической последовательностью. Были времена (и даже незадолго до мировой войны 1914—1918 г.г.), когда Радич, в разрез со своими славянофильскими убеждениями, охотно поддерживал династию Габсбургов, которая была главнейшей угнетательницей населявших ее славянских народов.

Так продолжалось до 1904 года, когда старший брат Степана, Антон Радич, образовал хорватскую крестьянскую партию, вождем которой до последнего дня своей жизни и был Степан Радич.

Хорватская крестьянская партия

Содержание первоначальной программы этой партии, отличающейся от всех других крестьянских партий, не может претендовать на абсолютную идеологическую последовательность. Партия эта, а вместе с ней программа, возникла и строилась чисто эмпирическим путем.

По возвращении из-за границы Радич обосновался в Загребе, где открыл небольшую книжную лавку. Впоследствии эта лавка выросла в «Славянскую» книготорговлю братьев Радичей,

и ей суждено было превратиться в крупное культурное учреждение для всей Хорватии.

Лавка Радича стоит на главной площади Загреба, неподалеку от крестьянского базара, на который съезжаются селяки со всех концов Хорватии. Многие из них любили заходить в лавку, чтобы выбрать книжку, купить письменные принадлежности и заодно поболтать со словоохотливыми хозяевами, всегда бывшими в курсе последних политических новостей. Жена Степана Радича — приветливая женщина — любила Хорватию, как свою вторую родину. Она помогала Радичу в его работе культурного книгопродавца. При лавке было создано издательство, выпускавшее большое число популярных брошюр по разным отраслям знания.

Впоследствии издательство стало партийным и выпускало в свет нашу-мевшую партийную прессу¹⁾.

Партийная идеология строилась тем же стихийным эмпирическим путем, каким строилась и вся хорватская крестьянская партия.

Не трудно проверить это, остановившись хотя бы на главнейших пунктах программы.

Почти в каждом из памфлетов или партийных руководств Степана Радича вы найдете утверждение, сводящееся к тому, что именно крестьянство, а не какой-либо другой социальный класс, является «солью земли». А разве само крестьянство думает иначе? Разве не является типичным для большинства крестьян несколько презрительное отношение к горожанину, который сам не сеет и не жнет, а «ест его хлеб». Эта точка зрения не может не быть распространенной в самых широких крестьянских массах Хорватии, представляющих собою свыше 80 процентов в всего ее населения.

Это — существеннейший пункт всей программы Радича, который и позволил ему прийти к заключению, что вся власть должна принадлежать самому культурному классу — крестьянству. Отсюда и речи в программных брошю-

¹⁾ В период расцвета хорватской крестьянской партии центральный орган ее насчитывал свыше 1.000 постоянных сельхозоров.—С.

рах о пятом сословии (крестьянство), которое должно прийти на смену четвертому сословию (пролетариату). Отсюда и его разглагольствования в Москве, в 1924 году, на тему о том, что, в сущности, никаких разногласий между коммунистической и хорватской крестьянской партией нет, если не считать того, что первая стремится учредить везде рабоче-крестьянское правительство, а хорватские крестьяне стоят за крестьянско-рабочее правительство.

Крестьяне ненавидят войну, ибо они приносят в каждой стране самые большие жертвы во время войны. Отсюда — стопроцентный крестьянский пацифизм и антимилитаризм, лежащий в основе радичевской программы. Кстати сказать, это — самые запутанные и противоречивые пункты его программы. Если верно, что крестьяне ненавидят войну и всякий империализм, то не менее верно и то, что крестьянин готов встретить вилами каждого чужестранца, вторгающегося в пределы родной ему земли. Вот как звучат эти пункты о пацифизме и антимилитаризме в изложении самого Радича:

«Как известно, — пишет Радич в предисловии к брошюре Рудольфа Гердига: «Идеология хорватского крестьянского движения»¹⁾, — не может быть настоящей человеческой силы вне связи с истинной духовной силой. Тем менее можно опаривать тот факт, что каждая милитаристическая сила в гораздо большей степени является силой физической, чем духовной. Что еще хуже, это то, что благороднейшие духовные ценности исчезают при первом соприкосновении с милитаристической политикой. Это мы узнали из собственного опыта мировой войны, и мы с тех пор проклинаям милитаризм и империализм. Это, конечно, не значит, что современный человек должен оставить в полнейшем пренебрежении свои мускулы или лишиться всякой способности защищать свой очаг и свою родину... Каждый человек обладает опущенными ему природой здоровьем и силой, однако, он должен тратить их на продуктивную работу... Во всяком случае, мировая война до того переделала весь мир, что огненные все крестьянство, весь рабочий класс, мелкая буржуазия и значительная часть интеллигенции прониклись духом миролюбия и таким пацифизмом, что любое правительство, которое задумало бы возобновить войну, немедленно взлетело бы на воздух».

Но хорватское крестьянство не только не любит давать солдат государству, оно и не любит платить податей. Отсюда полу-толстовские полу-анархические пункты в программе Радича, сводящие к минимуму расходы по со-

держанию государства и, в соответствии с этим, освобождающие крестьянство почти целиком от уплаты податей.

Крестьянство не любит посылать своих детей на обучение за тридцать земель; кроме того, оно с недоверием относится к правительственным школам. Вот почему программа хорватской крестьянской партии выдвигает требование свободного и максимально децентрализованного обучения.

BUCHHANDLUNG
SLAVENSKA KNJIŽARA
ST. i M. RADIĆ
ZAGREB

Jurišićeva ulica broj 1.

Empfiehl ihr reichhaltiges Lager
von

Schulbüchern

Schreib- und Zeichenrequisiten,
Briefpapiere und Umschläge, Pa-
pierservietten.

Kaufmännische und
sonstige Bücher, Kalender, unter-
haltende und belehrende Schriften.

Mässige Preise.

Rasche und solide Bedienung.

Реклама „Славянской Книготорговли“
Стенана и Марии РАДИЧЕЙ в Загребе.

Если вы к пункту об отмене обязательной воинской повинности и подайте прибавите еще отмену таможенных пошлин, выборность всех властей, право самоопределения для всех национальных групп, входящих в состав децентрализованного государства, то вы получите остов программы Радича в том виде, в каком она была отредактирована в двадцатых годах текущего столетия. Нужно еще упомянуть о форме государственного правления, выдвигаемого программой. Что это форма — республиканская, видно из самой программы. По мысли тогдашних идеологов партии, государствен-

¹⁾ Загреб, 1923 г.—на немецком яз.

ные формы должны были постепенно отмереть, но до тех пор, пока оно существует, крестьянство, которое ничего общего не имеет с монархическими идеями, естественно, предпочитает форму децентрализованной, федеративной республики.

Каким путем предполагалось осуществить эту программу: социальной революцией или каким-либо другим способом? В теории Степан Радич был большим поклонником своего великого тезки — Степана Разина. Однако он не замыслил пойти по его пути. Этому мешал, по мнению Радича, целый ряд причин, в том числе и врожденный пацифизм крестьянства, который заставляет его идти к своей цели путем мирных завоеваний. Налет толстовства вообще лежит солидным пластом на тактической стороне программы.

Говоря о неизбежном отделении Хорватии от Югославии, Радич, очевидно, собирается осуществить его тоже мирным путем. В цитированной выше брошюре он говорит о сербах и словенцах без всякой злобы и ненависти:

«Мы считаем, что Сербия, Хорватия и Словения—три родных брата. Мы хотим, чтобы все они жили в мире и единении, но для этого совсем не нужно, чтобы все их три головы были слиты воедино. Мы предпочитаем, чтобы каждый из них сохранил свою собственную голову».

Но как быть, если видовданская конституция 1920 года не только слыла их воедино, но и подчинила Загреб и Любляны¹⁾ грубому сапогу Белграда? Что делать, если упрямый и злой старик Никола Пашич ни за что не согласится отпустить своих пленников на волю? Что же: нужно подготовить вооруженное восстание против Белграда или сидеть сложа руки? Радич—против социальной революции и вооруженного восстания, но он, вместе с тем, слишком неугомонный боец для того, чтобы сидеть сложа руки. И вот тут-то сказались та политическая подготовка, которую этот западный славянин получил в высшей школе во Франции. Ра-

дич высказывается за прямое участие в политической борьбе, раздирающей Югославию на части, и за завоевание депутатских мандатов в белградской скупшине.

Людей, далеко стоящих от балканской политики, должен заинтересовать вопрос,—чем же вызывается та острота сербо-хорватских отношений, которая привела к трагическому для Радича концу его неугомонную борьбу с сербами? Дело в том, что через все шатания Радича красной нитью проходит его непоколебимое убеждение в том, что сербское господство над хорватами распадается на три самостоятельных фактора: угнетение национальное, политическое и экономическое. Радич, с цифрами в руках, не раз доказывал, что велико-сербская система государственного управления Югославией приводит к тому, что львиная доля расходного бюджета падает на плечи хорватского народа. Он утверждает, что хорватский крестьянин платит за серба налоги, что серб пользуется железными дорогами, почтой, телеграфом, школами и пр. за счет хорватского крестьянства. Радич утверждал всегда, что вся финансовая политика Белграда строится именно на этом принципе. Белград для Загреба—символ не только безудержного полицейского террора, но и источник тройственного гнета, в тисках которого задыхается хорватское крестьянство.

Степан Радич и Никола Пашич

На арену парламентской борьбы Степан Радич выступает в качестве опытного, образованного и неугомонного борца. Со времени распада австро-венгерской монархии и образования на ее развалинах «королевства сербов, хорватов и словенцев» Радич открыто стремился к образованию федеративной республики, которая объединяла бы те же народы, но на совершенно свободных началах. Этот момент отмечен началом чудовищной по своему напряжению борьбы против Белграда, которая не раз приводила крестьянского вождя в тюрьму, знакомую ему еще со

¹⁾ Главный город Словении.

времен династии Габсбургов. Он был выпущен из нее в ноябре 1920 года, когда руководимая им республиканская крестьянская партия на выборах в учредительное собрание приобрела 50 мест. Радич, выпущенный из тюрьмы, с головой бросился в парламентскую деятельность. Однако, по его настоянию, партия наотрез отказалась вступать в какое-либо сотрудничество с белградскими правителями. На следующих выборах, в марте 1923 года, партия Радича получила 70 мандатов. Но и на этот раз партия оставалась при своем решении саботировать всякое сотрудничество с Белградом.

Описываемая эпоха должна быть отмечена, как период предельного обострения борьбы между двумя выдающимися балканскими политическими деятелями—Пашичем и Радичем. В своих личностях они воплотили ту непримиримую борьбу, которая не прекращается до сих пор между культурным и более мощным в экономическом отношении хорватским народом, с одной стороны, и более отсталым сербским народом, строящим свое благополучие за счет эксплоатации другого. (К национальной и политической розни присоединяются еще и религиозные различия между католиками-хорватами и православными-сербам.)

Оба противника, столкнувшиеся в жестоком единоборстве, обладали не только одинаковым темпераментом, но и чувствовали за собою столь мощную поддержку, что ни один из них не мог и не желал итти на уступки другому.

С одной стороны, властная фигура жестокого семидесятилетнего старика Николы Пашича, бывшего революционера и террориста, в молодости увлекавшегося Чернышевским и Бакуниным, приговоренного к смерти за заговор против сербского короля и кончившего свою жизнь служением самой свирепой, палочной реакции, Пашича, верного слуги сначала Николая II, а затем антантовского империализма, мечтавшего под его эгидой сделать Сербию жандармом Балкан.

С другой стороны, схватившийся в единоборстве с ним крестьянский вождь стал эмблемой антибелградских,

антицентралистических и антиимпериалистических тенденций.

Упорная и тягучая, эта борьба велась изо дня в день: в скупщине, в прессе, в партийных клубах, на митингах, в университетах и на улицах. Пашич пустил в ход бронированный кулак полицейского государства, дополненный целым синодиком тайных убийств, которые, по его приказанию, совершались всякого рода фашистскими и офицерскими организациями, в роде «Белой» или «Черной Руки». Радич же опирался на стоявшую за ним огромную армию хорватских крестьян, готовых ринуться в открытый бой со своими вековыми врагами—сербам по первому знаку вождя.

Но не только югославская и европейская общественность привыкли следить за этим единоборством. Оно превратилось в жизненную необходимость для его участников. Невозможно себе представить Николу Пашича в описанный период вне неутомимой борьбы со Степаном Радичем. Жизнь Радича, в свою очередь, оказалась бы лишеной всякого смысла и содержания, если бы в один прекрасный день ему пришлось оборвать эту борьбу.

Одно время казалось, что шансы на победу на стороне Степана Радича. Властный и нетерпеливый старик Пашич приобрел много врагов в рядах самой радикальной партии. Отколы от радикальной партии стали обыденным явлением. С Пашичем не мог ужиться старый и всеми уважаемый радикал Люба Иованович, которого сам Радич всегда аттестовал, как «честного человека». После группы Иовановича от радикальной партии откололось еще несколько групп, и Пашич рисковал остаться у разбитого корыта. Но беда в том, что разногласия между Пашичем и другими членами его партии отнюдь не происходили по линии «хорватского вопроса». Именно в этом вопросе они все об'единялись. В 1923 году Пашич сумел об'единить всех радикалов в одном решении, направленном против вождей хорватской партии. Было решено, что вожди эти «зарвались» и что в отношении их нужно принять ряд «внепарламентских» мер. В пер-

вую голову Радичу угрожал арест. Он узнал об этом и решил использовать оставшееся в его распоряжении время. Радич переходит на нелегальное положение и—на прощание с Пашичем—14 июля 1923 года созывает огромный крестьянский митинг, на который съезжается 150 тысяч селяков. Те, кто видели эти митинги, утверждают, что они производили неотразимое впечатление. Говорят, что от них веет средневековьем: в открытом поле, созываемые специальными эмиссарами, съезжаются со всех концов Хорватии на своих деревенских телегах десятки тысяч крестьян. Они окружают этими телегами место собрания, и полицейские, если и узнают о назначенном собрании, не смеют проникнуть через эту ограду телег, придающих митингу вид татарского становища какого-либо Чингис-Хана. Радич—по крестьянскому обычаю—начинал хвалой Иисусу и приветствием пришедшим его послушать, затем произносил свои громовые речи, прерываемые шутивными замечаниями и радостным откликом собравшейся толпы.

Так сделал Радич и на этот раз. Созвав митинг в день празднования Великой Французской Революции, Радич рассказал собравшимся крестьянам о важнейших эпизодах этой революции и весьма прозрачно намекнул на то, что рецепты, примененные к Людовику XVI и Марии Антуанете, придется применить и к Александру Карагеоргиевичу и его супруге. Это заявление плохо рекомендовало пацифизм Радича, но зато наэлектризовало слушателей. Под шум рукоплесканий и одобрений Радич скрывается в толпе и затем нелегально переходит границу. Так началась кратковременная жизнь Радича за границей в качестве политического эмигранта.

Эмигрант или пилигрим?

Белградские правители выходили из себя. Дело было не в том только, что Радич избежал тюрьмы. Пашич не сомневался в том, что рано или поздно Радич попадет в нее. Хуже было то, что такой неутомимый агитатор, как Радич, несомненно, сумеет использо-

вать свое пребывание за границей для дискредитации белградского правительства. Были подняты на ноги все пограничные власти, наряжено следствие; однако результаты последнего только прибавили новые огорчения Пашичу. Они показали, что у Радича было много друзей в самой Сербии и что они сумели обставить его побег всеми необходимыми предосторожностями.

Покуда в Белграде судили, рядили и возмущались, Радич очутился в Лондоне. Известие, появившееся об этом в газетах, как громом поразило Пашича и его полицию. Казалось возмутительным, что благонамеренный Лондон может приютить в своих стенах такого бунтаря, как Радич. В белградских офисах появились как-то нечленораздельные заявления, которые должны были напоминать собой дипломатические протесты Белграда, с робкими намеками на то, что Лондону следовало бы выдать Радича Белграду или, по крайней мере, выслать его из пределов Англии. Но эти протесты и намеки вызвали в Лондоне только смех. У Радича нашлись покровители в рядах рабочей партии, в то время готовившейся к захвату... министерских портфелей. Через несколько месяцев это стало фактом. Каковы были разговоры Радича и Макдональда и их результаты — об этом сейчас трудно сказать. Важно одно, что Радич, находившийся в то время в зените славы, меньше всего напоминал собою политического эмигранта, ищущего убежища в чужой стране. Его принимали министры, с ним были за простою лидеры политических партий, и по всему было видно, что в 1924 году Радич в Лондоне в гораздо большей степени представлял своей персоной королевство сербов, хорватов и словенцев, чем сам Пашич. Из Лондона этот «пилигрим» хорватского дела направил свои стопы в Париж и Вену. В Париже в то время у власти стоял левый блок во главе с Эррио, с которым Радич тоже беседовал о Хорватии и ее ближайших судьбах.

Однако побегом из Югославии не ограничились все сюрпризы, которые Радич заготовил на этот год.

Летом 1924 года вся европейская пресса, не говоря уже о балканской, была ошарашена сообщением, что Радич очутился в Москве.

Радич в Москве Личные встречи с ним

Трудно представить себе, какую обильную и пикантную пищу дал Степан Радич своей поездкой в Москву так называемой «большой прессе». Прежде всего, те, вся политика которых основана на подкупке, заговорили о том, что Радич «продался большевистской Москве». А так как в Москву он приехал со своим зятем, молодым и способным инженером Кашутичем, и с 17-летним сыном, воспитанником коммерческой школы в Праге, то ясно было, что Москва «купила их оптом».

Но Радича мало трогала эта клевета. Он верил, как никто, в здравый политический смысл крестьянства и верил, что оно всегда «во всем разберется».

Ему важно было лишь, чтобы его «селяки» ему верили. Его поездка в Москву была одобрена всей партией, а следовательно и крестьянством.

Радич держал себя в Москве как полномочный представитель этого крестьянства, представлявшего собою в его глазах вполне самостоятельное, хотя и не оформленное, государство. Свои письма и официальные бумаги он неизменно подписывал: «председатель хорватского представительства». Эта подпись звучала как «президент хорватской республики». На родине Радича всегда так и именовали: «наш президент». Таким представителем хорватского народа и держал себя Радич в Москве. В то время, до совершённой им измены, он имел на это право.

С другой стороны, этот «президент» прибыл в Москву как типичный крестьянский ходок, посланный своими земляками в страну Советов, о которой шло столько легендарных слухов тогда на Западе, с целью изучения ее. Тут надо сказать, что Хорватия в первые годы по окончании войны была связана с советской Россией своеобразными нитями. Дело в том, что

в венгерской армии было очень много хорватов, из которых многие попали в плен и, в качестве военнопленных, пережили в России Октябрьскую революцию и ближайший к ней отрезок времени. Затем они возвращались на родину и рассказывали про все виденное ими в советской России.

Хорватский ходок страдал сильной близорукостью, которая, говорят, перед смертью превратилась почти в полную слепоту. Однако этот недостаток не мешал ему пристально вглядываться во все своими большими, серыми, смешливыми глазами. Он жадно впитывал в себя все окружающее. Волна давнишнего славянофильского обожания России в первое время вновь залила его сердце. Я помню, с каким восторгом он мне рассказал в первую же нашу встречу о сильном впечатлении, произведенном на него... борьбой против барбаризмов в русском языке, которую принесла с собой Октябрьская революция! Это впечатление пересилило то ощущение неловкости, которое вызвало в нем незнакомство с общеизвестными сокращениями слов. Радич рассказал мне, что был так взволнован своим приездом «в русскую землю», что в первую ночь не мог сомкнуть глаз. Всю ночь напролет он читал московские газеты и был поражен той огромной стройкой новой жизни и нового быта, которая глянула на него со столбцов газет. Одно смущало его и не давало ему покоя: он понимал, что в одной статье, особенно его заинтересовавшей, шла речь о реформе образования, но не мог понять, что обозначает слово «вуз» и, когда я расшифровал ему это сокращение, он облегченно вздохнул и рассмеялся своим заразительным смехом.

— Зато великолепно, — говаривал он мне после, — что «самолет» вытесняет у вас «аэроплан», «самокатчик» — «велосипедиста» и т. д.

Я не мог не найти в этом преувеличении. Что же касается Радича, он строил на этом свою теорию какого-то возрождения самобытности в СССР в духе его славянофильских идей...

Не было ни одной стороны нашего быта и нового строительства, которая

не привлекала бы внимания этого образованного, но по-мужички упрямого и дотошного ходока-исследователя. Знакомство с прежней Россией, с русским языком значительно облегчали ему задачу. Но Радич не только смотрел, не только расспрашивал, но и читал запоем все, что ему ни попадало под руку. Трудоспособность его была изумительна. Он работал, как человек, целиком отдавший борьбу за освобождение родного крестьянства.

Его крестьянская психология сказывалась особенно сильно в его личной морали и личном быту. Религиозность Радича — сплошная легенда. Он в такой же малой степени являлся «верующим», как и каждый «Џола Бреньон», получивший к тому же образование. Он ненавидел поповство, религиозные поборы с крестьян, иезуитскую мораль католицизма, но, как типичный крестьянин, он мог креститься, божиться, призывать в начале своей речи божье благословение на слушателей, не вкладывая в это ровно никакого содержания. Это было только уловкой опытного агитатора, знающего, что эти внешние признаки христианского благочестия еще сохраняют свое значение для наиболее отсталых слоев хорватской деревни.

Но вы не могли бы заметить и малейшего признака религиозности в его домашнем быту. В гораздо большей степени оставался верующим католиком его сынок, находившийся, очевидно, в Праге под влиянием определенных кругов. Из беседы с последним я убедился, что он не совсем одобрительно относится к антиклерикальной позиции, которую его отец занимал в своих писаниях и политических выступлениях.

Радич, разговаривая с вами на самые сложные темы, никогда не напускал на себя серьезности. Жизнерадостность в нем всегда была ключом. Шутка и смех были его неразлучными спутниками и в парламентских дебатах, и на митингах, и в серьезных деловых совещаниях. Но еще больше он преображался в интимном кругу. Он как бы сбрасывал здесь с себя последние путы ненавистной ему городской

цивилизации и превращался в типичного хорватского селяка. Он обожал родное вино, родные песни и родную крестьянскую «тамбурицу» (балалайку), на которой он любил аккомпанировать самому себе и приехавшему с ним «молодняку», распевавшему вместе с ним любимые селяцкие песни. Он был сентиментален и выглядел совсем интимным мужичком в такие минуты. Радич боготворил свою жену и придавал огромное значение личной жизни каждого политического деятеля. «Хороший политик, — говаривал он мне, — не может не быть хорошим мужем и семьянином. Какое он право имеет взяться за устройство государственной жизни, если он не умеет поддерживать порядка в своей личной жизни?».

Но, говоря со мной о хорватском крестьянстве, Радич всегда избегал вопросов, связанных с классовой дифференциацией этого крестьянства. Он любил говорить о том, что хорватское крестьянство в целом страдает не только от политического, но и от экономического гнета со стороны сербов. В борьбе против Белграда он ставил своей целью объединить все крестьянство; подчеркивание классовых противоречий внутри хорватской деревни не могло ему быть по нутру. По нашей терминологии он принадлежал к той середняцкой верхушке, которая и по социальному укладу своему, и по всей своей психологии больше тяготеет к кулачеству, пользуясь большим влиянием в высших сферах хорватской политики. Конечно, он ни на одну минуту не мог забывать того, что беднота и рядовое середнячество составляют главное ядро его партии, главную базу его политической акции, от которой он не мог никуда уйти ни на минуту... Советский Союз с его диктатурой пролетариата, наложившей свой властный отпечаток на нашем политическом устройстве, на развитии нашей культуры, формировании нашего быта, естественно, не мог удовлетворить этого страстного и неугомонного барда и рыцаря полукулацкого крестьянства, которое — в его представлении — должно было стать, в союзе с буржуазной ин-

теллигенцией, полновластным хозяином всего мира.

Это нужно запомнить. Корни «разочарования» Радича в Советском Союзе—не в провале тех или иных политических комбинаций,—как бы ни клеветали по этому поводу прежде и теперь буржуазные рептилии,—а именно в том, что этому смышленому хорватскому селянку стало ясно, по какому пути идет первая в мире пролетарская республика.

Социальные корни его «разочарования» были ясны каждому, кто встречался с ним в Москве, поэтому с ним гораздо интереснее было говорить на другие темы. Враг Италии по чисто национальным мотивам, Степан Радич резко высказывался против итальянского и вообще международного фашизма. У меня сохранилась одна русская книга об итальянском фашизме, которую прочел Радич и снабдил своими пометками. Эти пометки изобличают в нем антифашиста типичной буржуазной закваски и... хорватского националиста. Типичный хорватский крестьянин затаил в своей душе много горькой обиды против фашистской Италии, обращаясь с его народом выскомерно и презрительно...

С большим увлечением Радич любил говорить в Москве о «вольной балканской федерации». Здесь ему приходили на помощь и его славянофильство, и та боязнь, которую фашистская Италия, пытающаяся играть роль прежней Австро-Венгрии, внушает всем балканским славянам. Радич мечтал объединить в этой федерации сербов, хорватов, словенцев, болгар, черногорцев, албанцев и балканских мусульман, с которыми он поддерживал всегда самые теплые и дружественные связи. Эта будущая «Балканская федерация» в его мечтах рисовалась ему первым оплотом крестьянской диктатуры во всем мире.

Когда Радич говорил на такие темы, вас иногда захватывал юношеский пыл этого пожилого 53-летнего человека, который выглядел куда моложе своего зятя и сына. В эти минуты перед вами

оживал давно сданный в архив истории тип славянофила, верившего в то, что освобождение славян приведет к установлению на земле счастливого мужицкого царства. Неудивительно, что этот вечный юноша мог зажигать сердца хорватских селянок несбыточными мечтами и—прежде всего—беспредельней верой в своего вожда.

Печальный конец

Политические события, связанные с личностью Степана Радича после его отъезда из Москвы, еще слишком свежи в памяти у всех, чтобы на них останавливаться слишком подробно. Он вернулся в Белград, где политическая конъюнктура сначала сложилась в его пользу. Победа Макдональда в Англии и Эррио во Франции получила свое отражение в Югославии в переходе премьерского портфеля в руки демократа Любы Давидовича. Это дает возможность и Радичу из пилигрима и эмигранта превратиться в министра. Но властный Никола Пашич не мог долго терпеть господства демократов. Он пускает в ход свои интриги и влияние на короля,—и вскоре сербо-хорватский «левый» блок терпит поражение. Давидович и Радич оказываются у разбитого корыта, а Пашич—у власти. Он решает упрятать в тюрьму своего старого врага. После долгих поисков, увеличивших легендарную популярность Радича на Балканах, белградская полиция находит его в помещении хорватского клуба, где он в специальном потайном убежище, для него устроенном, мирно проживал в добровольном заключении несколько месяцев. Когда полиции удалось, наконец, найти потайную дверь, за которой в замурованном виде проживал Радич, она застала Радича и его друзей, изредка навещавших его, за завтраком. Мирное питье кофе было прервано, и некоронованный диктатор крестьянской Хорватии был отправлен в тюрьму. Арестовав Радича, Пашич бросил перчатку всему хорватскому народу. В конце концов, у Пашича нервы оказались сильнее.

До сих пор для многих остается секретом, что побудило Радича пойти на соглашение с ненавистным ему Паши-

чем и на примирение с «дегенератом» — королем Александром: душевный ли перелом, неожиданно вызванный тюремным заключением, или... очередная «политическая комбинация»? Мы склонны принять второе объяснение. Он задумал этим «сербо-хорватским пактом» перехитрить Пашича. На самом деле он перехитрил только самого себя. Мастер политических компромиссов *par excellence*, он кончил, как и большинство этих мастеров, забывающих, что в компромиссах бывает определенная мера, которую перейти нельзя.

Радич перешел ее, и компромисс превратился в явную политическую измену. Хорватская крестьянская партия перестала быть республиканской, а ее центральный орган «Слободный Дом» превратился просто в «Дом». Неожиданный политический компромисс с Белградом, на который пошел Радич, способствовал ускорению неизбежного классового расчленения внутри его партии. Вскоре Радич полностью утратил свое право говорить от имени всего хорватского народа. Он с большим правом уже мог выступать только от имени буржуазии и кулачества, — хорватская беднота определенно отшатнулась от него.

Затем судьба принесла ему неожиданную радость: умер его старый враг, 80-летний Пашич, смерти которого он долго ждал, но на которую, в конце концов, перестал рассчитывать. Со свойственной ему экспансивностью, Радич не скрыл своей радости по поводу смерти того, кто и после заключения пресловутого пакта не переставал быть злейшим врагом хорватского народа, а следовательно и его личным врагом.

Со смертью Пашича, «вожди» оказались менее натянутыми. Расколы в радикальной партии с каждым днем учащались и ослабляли становой хребет великосербской реакции. «Крестьянский сын» — Радич, хотя и окончивший высшую школу политических наук в Париже и понаторевший в разных дипломатических и парламентских комбинациях, никогда не был большим «формалистом» по натуре. Поэтому со смертью Пашича, вынудившего его пойти на пакт, он стал считать, что

этот пакт больше не существует и, во всяком случае, не может связывать его деятельность. Постепенно Радич вновь начинает заострять свои лозунги. Его пропаганда готовится к новому периоду разобщенности между Белградом и Загребом. Его популярность растет вновь, и он опять получает право говорить от всей Хорватии.

Однако, осиротевшая со смертью Пашича сербская реакция еще достаточно сильна для того, чтобы не позволить ему это делать безнаказанно. Она объединяет свои ряды против «воскресшего» Радича, получает соответствующую поддержку и благословение со стороны англо-французского империализма и — в результате — хорватский вождь во время одной из парламентских схваток падает, сраженный несколькими пулями фашистского депутата Рачича.

Смертельно раненый Радич, в ожидании приближающегося конца, не только остается верным себе, но и вырастает в прежнего неугомонного, непримиримого врага Белграда. Лежа на смертном одре, он продолжает сосредоточивать в своих слабых руках все нити борьбы, организует сопротивление парламентской оппозиции той ратификации нетунских соглашений¹⁾, которого так энергично добивается от югославского правительства фашистская Италия. За несколько дней до смерти Радич руководит организацией в Загребе «хорватского парламента», т. е. того хорватского представительства, которое после покушения на Радича ушло из белградской скупщины.

Вечером 8 августа Радич, как общаются газеты, беседовал со своими родными и ближайшими политическими единомышленниками, пересыпая, как всегда, свою речь смехом и шутками. Смерть настигла его среди этой непринужденной беседы.

Вся Хорватия облеклась в траур. Умеренные цекисты его партии приняли все меры к тому, чтобы эта скорбь соотечественников Радича не вылилась

¹⁾ Серия итало-сербских конвенций, крайне выгодных для Италии и почти навязанных сербам.

в грандиозную враждебную демонстрацию по адресу Белграда. Они только отклонили всякие попытки правительства принять в той или иной форме участие в его погребении.

Но зато гораздо более внушительной демонстрацией оказались величественные молчаливые проводы Радича, на которые съехались сотни тысяч крестьян; и опять, как в дни его величайшей славы, необозримые ряды крестьянских телег, расположившиеся в открытом поле, напоминали средневековые становища переселяющихся народов.

Смерть популярного хорватского вождя сразу же развязала руки европейским империалистам. Теперь, после смерти Радича, становится еще более ясным, что этот хорватский патриот до известной степени был тем фактором, который заставлял европейских империалистов умерять свои аппетиты. Но натиск империалистов на Югославию так силен, что ему при жизни приходилось проявлять большую изворотливость, чтобы в известной мере играть на разногласиях, раздиравших вражеский стан.

Пашичевцы никогда не переставали ориентироваться на реакционные круги Франции. Ясно, что со своей стороны Франция поддерживала в Югославии двор, военщину, радикальную партию, русских белогвардейцев, состоящих на службе у самой крайней реакции. Естественно, что Радич ориентировался на Англию, особенно на ее рабочую партию. Английское влияние проникало в партию Радича еще и другим путем: дело в том, что, в противоположность сербской буржуазии (мелкой и круп-

ной), связанной с французским капиталом, зажиточная верхушка хорватского крестьянства была всегда связана с английским капиталом. Но отношения хорватов и англичан теряли характер сердечности, как только обнаруживалось, что Англия оказывает поддержку итальянским фашистам, на каждом шагу обижающим хорватов. Итало-хорватские трения образовали большую трещину в англофильской ориентации Радича. Это повело к тому, что навремя англичане и французы объединили свою «работу» в Югославии. Радикалы начали переговоры с Англией о займе. Заем был дан под тем условием, что сербы пойдут на немедленную ратификацию неттунских соглашений. Покуда Радич был жив, белградским правителям нелегко было провести эту «комбинацию». Но не успел еще труп Радича остыть, как неттунские соглашения оказались подписанными.

С убийством лидера болгарских земледельцев Стамболийского, с гибелью крупнейших деятелей македонского движения, со смертью румынского Братиану и двух непримиримых врагов — Пашича и Радича — Балканы «осиротели». В наши дни они не могут похвастать больше ни одной яркой, крупной политической фигурой. Англия и Франция, учтя все возраставшее влияние фашистской Италии на Балканах, решили, что пришло время опять взять в свои руки дело установления политического «равновесия» на Балканах. Мы не питаем никаких иллюзий насчет тех последствий, к которым может привести эта новая англо-французская гегемония. Мрачная ночь вновь нависает над Балканами, прорезываемая зарницами надвигающейся военной грозы.

Книжное обозрение

1. НИКОЛАЙ МОРОЗОВ. „Как я стал революционером“. Б. Горева.—2. А. И. ГУКОВСКИЙ. „Французская интервенция на юге России“. П. Китайгородского.—3. А. Н. ВОЗНЕСЕНСКИЙ. „Москва в 1917 г.“ А. Дивильковского.—4. З. БОЯРСКАЯ. „Женщина под гнетом капитала“ Р. Ковнатор.—5. „ПЕЧАТЬ И РЕВОЛЮЦИЯ“ № 6 за 1928 г. Д. Горбова.—6. Н. БАРШЕВ. „Большие Пузырьки“. Бор. Анибала.—7. Д. СТОЮВ. „Люди и вещи“. А. Шафир.—8. Л. ПАСЫНКОВ. „Атаман Серый“. В. Гольцева.—9. Дм. ЧЕТВЕРИКОВ. „Заиграй овражки“. М. Рудермана.

Николай Морозов. «Повести моей жизни». Том первый. «Как я стал революционером». (В начале жизни. У таинственного порога. По волнам увлечения). Стр. 287. Ц. 2 р. Том второй. «Из эмиграции в заточение». (Свободные годы. Дни испытания. Тюрьма и суд). Стр. 230. Тир. 4.000 экз. Ц. 1 р. 40 коп. Гиз. М.—Л. 1928.

Мемуары известного революционера-шليسельбуржца Морозова появляются не впервые. Мало того, они приобрели уже вполне определенную репутацию. Прекрасно написанные, читающиеся с увлечением, они в то же время носят характер не столько исторического памятника, сколько полубеллетристического произведения, в котором весьма причудливо перемешаны «Wahrheit» и «Dichtung».

Первый том посвящен детству автора (он был «незаконным» сыном богатого помещика и крестьянки), его гимназическим годам и первому, романтическому периоду 70-х гг. Полные приключений попытки «хождения в народ» 1873—74 г., встречи с будущими знаменитыми революционерами из кружка чайковцев, конспиративные квартиры, сыщики, передевания, организация побегов (правда, неудачная) и тут же зарождение юношеской любви,—все это читается, как интересный приключенческий роман и в то же время будит мысль юного читателя и облагораживает его.

Местами книга проникнута добродушным юмором автора и над собой (хотя ему, обыкновенно, все удается), и над окружавшей его революционной ерздой.

Итрой том, охватывающий первую кратковременную эмиграцию автора в Женеву (где он был одним из членов редакции бакунистского «Работника»),

его арест на границе при нелегальном возвращении в Россию, тюрьма, допросы, неудачные попытки побега, временное освобождение, новый арест и, наконец, суд по процессу 193, — отличается теми же чертами, что и первый, и читается с неменьшим, если не с большим еще интересом. Очерки, посвященные тюремным переживаниям автора, отмечены несомненной художественностью и психологической правдивостью. Интересны также внешние характеристики эмигрантов середины 70-х гг., в том числе Ткачева, а также Веры Фигнер, тогда еще студентки Цюрихского университета. Странно только, что при явных политических симпатиях к Ткачеву, какие, по словам автора, проявились у него при первом знакомстве с знаменитым бланкистом, — он, несмотря на это, стал редактировать явно анархический журнал «Работник», который — правда, уже после отъезда Морозова из Женевы — резко выступил против социалистического якобинства Ткачева.

Непонятно также, о каком новом тайном обществе или о каком возобновлении старого, т. е. кружка чайковцев, мог говорить Кравчинский с Морозовым после окончания процесса 193, следовательно, в 1878 г., когда с 1876 г. уже существовала организация «Земля и Воля», которая лишь пополнилась революционерами, освобожденными после процесса.

Это лишний раз свидетельствует, что, давая прекрасную художественную и психологическую общую характеристику революционных настроений эпохи, книга Н. Морозова не может все же служить точным источником истории движения 70-х гг. Третий том «Повестей моей жизни», под общим заглавием «С оружием в руках» (Про-

блески. «Земля и Воля». В Алексеевском равелине), уже печатается.

Б. Горев.

А. И. Гуковский. — «Французская интервенция на юге России» 1918—1919 г.». Госиздат. 1928 г. Стр. 267.

Книга тов. Гуковского представляет собою первую серьезную попытку дать научно-историческое освещение эпизода интервенции, руководившейся Францией на юге России в конце 1918 и в начале 1919 г. Автором использована почти полностью вся мемуарная литература, — советская и зарубежная, эмигрантская, равно как и журнально-газетный материал, имеющийся на русском языке. Не пренебрегал автор и архивом южных таможен, преимущественно одесской, и другими источниками, так или иначе помогающими ориентироваться в событиях, разыгравшихся тогда на юге России.

Шаг за шагом автор разбирает картину борьбы разных организаций — добровольческих, украинских и иных, ползавших на брюхе перед французским командованием в надежде снизить его благоволение и быть им признанными «единственными» представителями русского народа.

Особенно ярко автором обрисована роль большевистского подполья, этого крупнейшего фактора разложения французского оккупационного режима. Пропаганда и агитация среди французских солдат и моряков, проводившиеся областным комитетом партии, действовали сильнее дальнбойных орудий.

Вполне объективно и без всяких прикрас автор анализирует характер партизанского движения, сыгравшего не последнюю роль в подрыве оккупационного режима. Безусловно правильным является тезис автора о причинах возникновения партизанщины, порожденной процессом расслоения крестьянства, пролетаризованная часть которого смело стала в ряды борцов за советскую власть.

Вполне научно, по-марксистски, подходит автор к анализу причин, приведших к краху интервенции. Автор правильно указывает, что «неудача интервенции объяснялась не какой-либо при-

чиной, а совокупностью целого ряда причин». К этим последним относятся и классовая борьба между французской буржуазией и пролетариатом, и противоречия в лагере союзников. Не приходится умалить значения скрытого от постороннего глаза взаимного подсиживания англичан и французов, интересы которых не совпадали в вопросе об оккупации России, о сфере влияния.

Конечно, не все события охвачены автором с исчерпывающей полнотой. Но не будем слишком требовательны. Это прекрасная работа, и мы охотно ее рекомендуем.

П. Кутайгородский.

А. Н. Вознесенский. — «Москва в 1917 г.». ГИЗ. М.—Л. 1928 г. Стр. 196. Ц. 1 р. 75 к.

Книжка интересна главным образом теми фактами, которые она сообщает об историческом моменте между двумя революциями — Февральской и Октябрьской. При чем факты эти — о лагере врагов, так как автор, сейчас целиком стоящий на стороне советской власти, тогда боролся против большевиков. Все эти месяцы он работал в составе «общественного» градоначальства Москвы, а под конец управлял этим градоначальством. Не раз за это время ездил в Петроград, соприкасаясь с некоторыми министрами.

Тем любопытнее, конечно, и ценнее для будущего историка его показання, как свидетеля «с той стороны», свидетеля — надо согласиться с автором предисловия т. Мостовенко (тоже близким участником событий) — добросовестного и объективного. Тут ценно даже то, что автор книги до сих пор еще, повидимому, не замечает, как он и его тогдашние товарищи, соглашатели разных мастей, действовали, по существу, за счет и по указке буржуазии и международного империализма (группы Англия-Франция-Америка). У него весьма наивно выходит, что боевая позиция соглашателей против рабочего класса и большевиков была самостоятельной и свободной от влияния буржуазии, которая находилась будто бы в параличе.

Но, повторяю, это отсутствие продуманного, критического отношения к

своей прошлой роли в известной мере тем ценнее, что позволяет автору рисовать факты из его тогдашнего прошлого со всеми внутренними противоречиями, там остро обнаруживавшимися.

Ярче, чем где бы то ни было, черта эта сказывается у него при описании фактов корниловщины и затем, конечно, октябрьских дней в Москве. У него в памяти Корнилов остался, прежде всего, как враг Керенского, тогда как всем теперь известна недвусмысленная (или, пожалуй, двусмысленная) попытка последнего образовать «триумvirат диктаторов» вместе с Корниловым и Савинковым или Филимоновым. И только слишком явное фиаско корниловского похода на Петроград заставило Керенского сделать быстрый «маневр налево».

Октябрь в Москве до крайности живо отражен автором, конечно, опять «с того берега». Историки тех московских дней почерпнут не мало у него, в частности даже для картины колебаний в большевистском военно-револ. комитете, например, по вопросу об «обстреле исторических зданий», и мн. др. Но, главное, мы находим в книге разительное сопоставление преобладающих, подавляющих сил большевистской партии к моменту восстания и кучки, прямо сказать, горсточка людей у «Комитета общественной безопасности».

Эффектна картина трех или четырехдневной осады градоначальства, где борьба застала автора. Безнадежная перестрелка, упершаяся в нехватку амуниции и голодовку... Бегство руководящей головки тайком в соседний домишко. Рев стрельбы вдоль Тверского бульвара — от Александровского юнкерского училища, и поперек бульвара — от большевистской артиллерии и пулеметов. «Бенгальское» освещение от близких и далеких пожаров ночью...

Все это очень красочно, а главное — высоко научно исторически. Резюмируя горький опыт, автор справедливо заканчивает книгу изречением, написанным сейчас на стенах бывшей городской Думы (главного тогда приюта соглашателей): «Революция — вихрь, который отбрасывает назад всех, ему сопротивляющихся».

А. Дивильковский.

3. Боярская. «Женщина под гнетом капитала». — Гиз. М. — Л. 1927 г. Стр. 96. Тир. 20.000 экз. Ц. 25 к.

Маркс и Энгельс, вслед за великими утопистами XIX века, писали, что «степень женской эмансипации представляет естественное мерило всеобщей эмансипации».

Это положение остается в полной силе и для характеристики современного капиталистического общества.

Война неслыханно увеличила количество женщин, занятых в промышленности.

Война не только принесла сильное количественное повышение женского труда, но она уничтожила и старое разделение на «мужские» и «женские» отрасли труда. Женский труд получил сейчас повсеместное распространение; но вследствие своей меньшей организованности, распыленности, работница продолжает оставаться тем наиболее уязвимым, слабым существом, по которому направляются и первые удары. Так, и сейчас еще, как и раньше, капиталистическое хозяйство не знает равной оплаты за равный труд.

Труд работницы, несмотря на его количественную и качественную равноценность, все же оплачивается ниже труда мужчины.

Рабочий день невыносимо длинен. Ни одна капиталистическая страна не знает 8-часового рабочего дня. А в странах белого террора и фашизма положение еще хуже.

«В Польше женщины обычно работают 10-12 часов, в Финляндии—9-10 часов, в Болгарии—9-15 часов, в Литве—10-12, в Латвии—10-15, в Венгрии, Румынии, Италии—от 10 до 12 часов».

Буржуазия отказывается от «гуманных» увлечений своей собственной молодости, диктовавших ей необходимость охраны женского труда, борьбу с ночным трудом женщин и т. д.

Понстине чудовищную классовую близорукость и косность обнаруживает буржуазия в вопросе об охране материнства.

И не только в экономическом, но и в правовом и в бытовом отношении положение работницы очень тяжелое. В

чем можно упрекнуть тов. Боярскую, так разве лишь в чересчур уж схематичном изображении действительности.

Тов. Боярская для своего изображения знает лишь две краски: черную и белую (особенно выпукло и потому особенно бьет своей нарочитостью это в главах об «Условиях работы на предприятиях» (стр. 18), «Жилищных условиях» (стр. 23) и нектор. др.), между тем, конечно, капиталистическая действительность является гораздо более сложной, и в ней переплетается гораздо больше факторов.

Вообще, исключительно описательный характер брошюры, сосредоточенные едва на 100 страницах описания положения работниц, кустарок, крестьянок, женщин Востока и правового, бытового положения женщины, и работы отдельных компартий среди женщин, и результатов приезда делегатов в СССР, — все это обилие вопросов, естественно, не могло не послужить во вред брошюре и не превратить ее, в основном, в сборник более или менее удачно подобранных фактов.

Конечно, в таком виде брошюра т. Боярской все же полезна, как справочник.

Р. Ковнатор.

«Печать и революция». Журнал литературы, искусства, критики и библиографии. Книга шестая. ГИЗ. 1928 г. Стр. 224.

Среди юбилейной литературы о Толстом, которая успела стать почти необозримой, эта книга заслуживает быть отмеченной. Богатством материала, его значительностью и особенно обоснованностью своей критической исследовательской части «Толстовский» номер «Печати и Революции» представляется едва ли не единственным исключением среди других наших журналов. Последние либо ограничивались помещением статей на частные темы, либо главное внимание обращали на критику толстовства. Цельный образ Толстого, содержание которого все — целиком и без остатка — подлежит органическому усвоению нашей эпохой, оставался далеко не освещенным. Между тем, ответственная задача

критического овладения Толстым, поставленная в статьях В. И. Ленина, требует своего разрешения. Оно может осуществиться лишь на пути органического понимания толстовского наследства, как сложного единства жизненных противоречий, которые не могут быть расторгнуты без того, чтобы все явление в целом не ускользнуло между пальцев.

Именно по этому пути (направление которого отчетливо указано диалектической трактовкой В. И. Ленина) идут авторы двух центральных статей книги: Вяч. Полонский («Лев Толстой и марксистская критика») и Б. Горев («Социальное преломление идей Толстого»). Полонский производит анализ взглядов Ленина, Плеханова, Аксельрод на Толстого и противопоставляет их взглядам вульгаризаторов.

«Ленин как бы устанавливал два лица Толстого, связывая с ними две стороны его творчества, — говорит т. Полонский.— Значит ли это, что Ленин механически отделял художника от мыслителя? Нет. Ленин подходил к Толстому диалектически, а не механически. Утверждение двух сторон в Толстом приобретало смысл лишь в свете основного противоречия толстовского мировоззрения, противоречия, в котором отразилась не индивидуальная черта писателя, а известная историческая обусловленность».

Данный Б. Горевым анализ толстовского учения в его конкретном историческом развертывании служит прекрасной иллюстрацией к основной мысли Ленина об органическом единстве толстовского наследия, которое должно быть понято в его жизненном противоречии, как революционное и реакционное одновременно.

Остальные статьи книги написаны на частные, но очень значительные темы. Мы перечислим эти статьи: Анатолий Виноградов — «Происхождение и смысл военных картин у Л. Толстого»; С. Брейтбург — «Толстой и Грот» (по неизданным материалам); Ольга Немеровская — «Вокруг Анны Карениной»; Н. Замошкин — «Мотивы и приемы творческой работы Л. Н. Толстого» (опыт анализа рассказа-очерка «Боже-

ское и человеческое»); А. Греч—«Образ Толстого в русской живописи». Все эти статьи показывают, что журналу удалось сгруппировать вокруг себя ряд исследователей, ведущих над Толстым серьезную и деятельную исследовательскую работу.

Все эти статьи — совершенно самостоятельные исследования на темы, без освещения которых представление о наследии Толстого как об определенном историческом и эстетическом явлении не может быть полным. Особенно это относится к статьям Брейтбурга, Немеровской и Замошкина.

Брейтбург сообщает интересный эпизод из взаимоотношений Л. Толстого и философа Грота в связи с изданием трактата Толстого «Что такое искусство», бросающий яркий свет на цензурные условия царской России, с которыми приходил в столкновение Толстой. Немеровской удалось дать цельную и чрезвычайно выразительную картину литературной борьбы, возникшей в 70-х годах в связи с выходом в свет «Анны Карениной», и хорошо осветить фигуру Льва Толстого, как новатора в области литературной формы — обстоятельство, оставшееся вне поля зрения подавляющего числа писавших о Толстом в юбилейные дни. Умелый анализ «Божеского и человеческого», произведенный Замошкиным, является как бы продолжением работы Немеровской, поскольку освещает «второй период» творчества Толстого, непосредственно следовавший за созданием «Анны Карениной». Интересно также сближение батальной части «Войны и Мира» с соответствующим материалом у Стендаля, произведенное Виноградовым.

В отделе материалов богато представлена неопубликованная часть переписки Л. Толстого с С. Н. Толстым, Н. А. Некрасовым, Ю. Ф. Самариным, В. А. Гольцевым и М. Л. Оболенской. Комментарии к письмам М. А. Цявловского (а также и В. В. Гольцева), как обычно, строго деловые и прекрасно вводят в обстоятельства, связанные с эпистолярным материалом.

Иконографический материал книги очень богат.

Д. Горбов.

Николай Баршев.—«**Большие Пузырьки**». Книга рассказов. ГИЗ. М. Л. 1928 г. Стр. 229. Ц. 1 р. 50 к.

Баршев пишет о сереньких человеках, обывателях. Маленькое начальство станции «Большие Пузырьки», «станции не первоклассной, но сильно пьющей», бывшие люди, доживающие свой век ворча на революцию, и вполне законченные мещане—вот герои рассказов, собранных в этой книге.

Такие, исчезающие в наше время, типы прошлого изображены Баршевым не плохо. Гораздо хуже им нарисованы коммунисты, благодаря чему необходимого для его рассказов противопоставления двух миров не получилось. Из коммунистов автор устроил своего рода трамплин, от которого отталкивается каждый раз, когда нужно дать то или иное направление сюжета.

Баршевские коммунисты мало показываются читателю, неохотно подают свои реплики, а один из них так и остается где-то позади повествования, вместо него самого читателю преподносятся только разговоры о нем («Большие Пузырьки»). Их фигуры, пусть даже эпизодические, страдают излишней схематичностью, в изображении их есть многое от тех книжных революционеров, постоянно занятых на каких-то заседаниях и пускающих в ход какие-то машины, о которых автору, пожалуй, известно еще менее, чем читателю.

Темы, выбираемые Баршевым, несложны. Жизнь захолустной станции, вторжение в которую человека со стороны не изменяет сонного существования ее обитателей; рассказ о старике, стосковавшемся о своем сыне; анекдот о благородном жулике, в конце концов, укравшем шаль; житие пьяницы-попа, которого забодал козел, и жизнь его сына-коммуниста, повешенного белыми; анекдот о старом чиновнике, страдающем при советской власти из-за того, что на груди его вытатуирован Николай II; рассказ из эпохи гражданской войны о смене властей в городе; история любви коммуниста; мало вразумительный анекдот об одной расстроенной личности—вот каков круг тем, разработанных автором то более подробно, то более схематично.

Баршев—писатель молодой, неустановившийся и поэтому еще не в полной мере владеет своим материалом, пробует разные манеры письма, увлекается анекдотом.

Язык автора неровен, местами груб и не совсем точен.

С композицией у Баршева также не все обстоит благополучно: он затягивает концы, а для анекдотов, которых дано несколько в этой книге и слабость автора к которым очевидна, даже лишняя фраза становится тяжелым грузом.

Борис Анибал.

Дмитрий Стонов. — «Люди и вещи». Гос. Изд. 1928 г. Стр. 192. Ц. 1 р. 25 к.

Небольшая книжка рассказов Дм. Стонова отличается в смысле подбора материала тем единством темы, которое характеризует очень немногие сборники.

Отношение человека к вещи, к собственности — тема социально-психологическая, очень актуальная, тесно связанная с вопросом о реорганизации психики современного человека. Эту тему четко и остро поставил Дм. Стонов в своей книжке. Он показывает далеко не лучшие стороны нашей действительности. Но, рисуя образы и явления отрицательные, он не морализирует. Его художественный метод — показ явлений изнутри. Он действует доказательством от противного, и этот способ в общем ему удается.

Дм. Стонов создает живые образы: простодушного, честного коммуниста Южды, его отца, крестьянина-собственника, скопидома; обывателя — гаденького самодовольного Хруцова («Хрущов») и его духовного близнеца — раба своих вещей, своего «сундука с добром» — гражданина Макеты («Сундук»). Последние два рассказа построены на самохарактеристике героя. Герой сам самодовольно и пошло раскрывает свою сущность, а автор, выводя его, как главного рассказчика, получает возможность передать все тонкости и особенности его фразеологии.

Значительно слабее повесть «Семья Раскиных». В ней нет ни сюжетной, ни стилистической выдержанности, ни четкой целевой установки.

Несколько особняком стоит рассказ «Нечаянная радость». Помещенный в конце книги, он как бы противопоставляет тяготению к вещам биологическое чувство матери, побеждающее страх перед унижениями и оскорблениями, ожидающими ее, — крестьянскую девушку, родившую от неизвестного отца.

Здесь сказывается тяготение автора к некоторой вычурности и риторичности («...Хождение по канату над пропастью своей души... «Жизнь в прекрасном неизнаваемом повторении... «Она обрела счастье, покой, радость — извечную любовь»... и т. д.). Однако не этими неудачными фразами определяется художественная ценность этого рассказа, а общей эмоциональной насыщенностью и яркой передачей примитивных, почти зоологических переживаний.

Анна Шафир.

Л. Пасынков. — «Атаман Сergyа». Роман. Изд. «Зиф». М.—Л. 1928 г. Стр. 216. Ц. 1 руб. 60 коп.

Л. Пасынков, автор интересного романа «Голубой цветок», посвященного жизни горного Дагестана, выпустил свой новый роман «Атаман Сergyа». К сожалению, приходится сказать, что эта книга значительно слабее первой.

Романом в точном смысле этого слова ее назвать нельзя, ибо никакой «романической» интриги в ней нет совершенно. Действие происходит на кубанском берегу Азовского моря в период революции и гражданской войны. Несмотря на актуальность и современность темы, социальный смысл «Атамана Сergyа» остается неясным. Переход советской власти к мирному строительству и постепенное восстановление разрушенного хозяйства показаны неярко и неотчетливо. Отношение казаков и крестьян к советской власти также не выявлено.

В композиционном отношении книга совершенно неудовлетворительна. Единого тематического стержня в ней нет. Сюжет разворачивается крайне нестройно и несвязно. Одно событие хаотически нагромождается на другое. При этом читатель находит множе-

ство побочных эпизодов, несколько не способствующих развитию действия, а, напротив, задерживающих его. Некоторые сцены написаны настолько небрежно и неясно, что не всегда можно понять самый смысл происшествия. Случается, что одно обстоятельство противоречит другому. Например, в то время как Крым находится еще в руках Врангеля (см. стр. 73, 76), нач. морпродбазы т. Слепнев сообщает, что приезжала ревизионная комиссия из Керчи (стр. 100).

Почти все действующие лица (а их в книге чрезвычайно много) показаны небрежно и поверхностно. Психология их несколько не углублена. Все эти Пантюховы, Монте-Пасквале, Дутые, Саввы представляют собою бледные фигуры, беспорядочно мелькающие перед читателем. Лишь типы часовщика Шапирштейна и учителя Семенихина изображены довольно ярко и убедительно.

Язык Л. Пасынкова, страдавший некоторыми шероховатостями и в «Голубом цветке», в рецензируемой нами книге оставляет желать много лучшего.

«Атамана Серьгу» пришлось бы оценить, как заметный шаг назад от «Голубого цветка», если бы не даты, стоящие в конце книги: очевидно, она была написана еще в 1920 — 1922 гг. и лишь закачивалась в период 1926 — 27 гг. В таком виде ее выпускать не следовало. От такого писателя, как Л. Пасынков, можно требовать большего.

Викт р Гольцев.

Дм. Четвериков. — «Заиграй овражки». Роман. Изд. «Пролетарий». 1928 г. Стр 331. Ц. 3 р. 15 к.

Роман рисует историю семьи интеллигента-учителя в 1919 — 20 гг.

Один из сыновей Чердынцевых, Виктор, скитается в тылу колчаковской армии. Он совершенно случайно «работает» у белых. С таким же успехом он «работал бы» у красных. Он мучительно боится страдания и мечтает

только о том, чтобы поскорей отыскать свою жену, работающую где-то в Омске. Доминирующая черта Виктора — влюбчивость.

Любовь и женщины, собственно, и являются мотивировкой всех поступков нашего героя, начиная от командировки в Омск и кончая водевильным побегом с Таней.

Остальные персонажи романа показаны так же «физиологически», как и Виктор, т. е. в каждом из них выпячен прежде всего инстинкт пола и голода. Это все ничтожные и безвольные люди, в революцию пугливо прятавшие голову под крыло и искавшие кусок хлеба помятче. Если кто-либо из них и работал у той или другой из враждующих сторон, то работал по принуждению. Таков брат Виктора, Глеб Чердынцев.

Изобилие эротических отступлений и сцен убеждает нас в том, что в этом романе автор идет по линии наименьшего сопротивления, не справившись с психологической характеристикой своих героев. Для изображения духовного убожества Чердынцевых, убожества этого самого консервативного, самого ничтожного слоя интеллигенции, нужны более острые и смелые краски, чем те, какие мы имеем в романе. Здесь нельзя отделяться описанием попойки в белогвардейском кабаке. Здесь необходимо заостренное, почти сатирическое изображение. Необходимы обобщения, которых у Четверикова нет. В романе не чувствуется отношения автора к своим героям. В поступках героев нет внутренней оправданности, нет здравого смысла.

Роман композиционно растянут, не сложен.

Нельзя отказать автору в том, что отдельные картины белого тыла среди высшего офицерства и именитых граждан обрисованы ярко. Но это только яркий фон, на котором мелькают бледные, расплывчатые тени героев.

Мих. Рудерман.